Владимир Юрезанский

Покорение реки

роман

Советский писатель 1946

Владимир Юрезанский

# Покорение реки

роман

Советский писатель
москва
1946

Оцифровано и размещено в сети для общественной пользы
с разрешения и при участии правнучки автора
Юлии Сергеевны Юрезанской

# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Я видел огненные знаки
Чудес, рождённых на заре.

*Александр Блок*

## I

В конференц-зале Высшего Совета Народного Хозяйства в Москве всё было готово к открытию чрезвычайного совещания. По приглашению Куйбышева к семи часам вечера сюда собрались лучшие гидротехники страны для обсуждения вопроса, какими приёмами, какими методами осуществлять грандиозное строительство советской власти — Днепрострой. Проект Днепростроя был создан профессором Александровым, но практическая последовательность необычных работ, которые должны были уничтожить пороги и поставить на службу государству одну из величайших рек в мире,— всё ещё оставалась нерешённой.

Под потолком белым матовым сиянием светились фарфоровые чаши люстр. На обширных гладких стенах не было никаких украшений. С высоты стен смотрели два больших портрета — Ленина и Сталина. Ленин, подняв голову от груды книг, пристально, ожидающе, с блеском волнения в глазах смотрел в зал. Сталин, в военной шинели, неустанно движущийся вперёд, казалось, приближался к столу, как бы издали оценивая собравшихся.

За огромными окнами густо туманился мартовский вечер. Там, в синей весенней мгле, горели бесчисленные огни города, проносились автомобили, плыли, срывая с проводов зелёные феерические искры, трамваи, смутно темнела древняя Китайгородская стена. Над стеной поднимались в небо чёрные голые ветви лип.

Некоторые инженеры вполголоса переговаривались,

некоторые сидели молча, нелюдимо замкнутые, полные обиженного достоинства: их удивляло и задевало, что в столь выдающемся деле не они призваны играть первенствующую роль. Здесь были люди, строившие в старое время морские гавани, порты, маяки, крепости. Здесь были известные специалисты по подводным и береговым сооружениям. Но было человек пять и молодых инженеров, окончивших институты в годы войны и выдвинувшихся лишь в самое последнее время. Среди присутствовавших первое место занимал высокий красивый профессор Тихменев, назначенный главным инженером будущего строительства. Он оживлённо говорил с инженером Гуржеевым, который больше двух лет работал с ним на Волховстрое и только что приехал из Ленинграда.

Часы показывали без трёх минут семь, когда появились остриженные до самой макушки, с бесцветными ледяными глазами инженеры немецкой консультации. Немцы роздали советским инженерам составленный ими план строительства. План представлял собою книгу в роскошном красном переплёте, отпечатанную на великолепной меловой бумаге.

Ровно в семь часов с пунктуальной точностью в сопровождении двух инженеров вошёл Купер, глава американской консультации.

Это был известный заокеанский строитель плотин, давший в Нью-Йорке, наряду с другими гидротехническими фирмами, блестящий отзыв о проекте профессора Александрова. Купер так заинтересовался советским замыслом, что предложил, несмотря на отсутствие в тот момент дипломатических отношений между Северо-Американскими Соединёнными Штатами и Советским Союзом, организовать для осуществления Днепростроя необходимый капитал. Это предложение Советское Правительство отвергло, но самого Купера, как гидротехника, обладавшего всемирным опытом, пригласило в качестве консультанта. И вот он появился в конференц-зале, непроницаемо спокойный, неторопливый, знающий себе цену.

Это был плотный, широкоплечий, низкого роста, круглоголовый человек лет шестидесяти трёх. Ветры всех морей и континентов избороздили морщинами его бритое лицо. Морщины шли лучеобразно, горизонтальном вертикально, густым, сложным рисунком. Большие уши



Купера были тонки и дряблы, длинные рыжеватые брови топорщились, как хворост. Мешки под желтовато-зелёными глазами и устало поджатые губы придавали ему несколько угрюмый вид. Он сел в кресло и положил руки на стол. Руки тоже были морщинистые, в крупных шлёпках веснушек. Короткие плоские ногти напоминали чешуйки большой рыбы. На безымённом пальце левой руки блестел золотой перстень с огромным чёрным четырёхугольным камнем, вроде старинной печати. Купер отодвинул от себя лежавший на столе лист чистой бумаги, и в этот момент стало видно, что на левом указательном пальце у него не хватает одной фаланги.

Через минуту уверенной походкой, по-военному прямо вошёл Куйбышев. Он окинул взглядом инженеров, слегка поклонился направо и налево и занял председательское место. Наступила тишина.

— Мы начинаем грандиозное дело, которое технически и экономически было не под силу царской России,— сказал Куйбышев. — Мы хотим создать самую сильную в Европе гидроэлектрическую станцию на мощном, широком, многоводном Днепре, создать плотину, которая на протяжении шестидесяти пяти километров затопит пороги, подобных которым нет ни на одной реке земного шара.

Гуржеев первый раз видел Куйбышева. За столом стоял человек, сражавшийся в огне гражданской войны против банд генерала Дутова, против армий Колчака, взявший Симбирск, Бузулук, Бугульму, верный исполнитель приказов Ленина и Сталина, уничтоживший совместно с Фрунзе восставших в Туркестане белогвардейцев и басмачей, тот легендарный батырь Койбаши, о котором в Бухаре дехкане пели песни.

Куйбышев твёрдо продолжал:

— Уже сама по себе обширность задачи требует, чтобы был избран такой метод строительства, который дал бы наилучшие результаты в смысле прочности и долговечности сооружений и в смысле выигрыша времени. Необходимо поэтому воспользоваться новейшим строительным опытом Америки и Германии, стран, где гидротехнические сооружения ведутся сейчас с наибольшим размахом. Прощу вас, господин Руммель, изложите нам ваш план.

Встал высокий, хорошо упитанный, моложавый инженер и

с видимым удовольствием приподнял отлично переплётённую книгу.

— Германская инженерная мысль предлагает следующий способ постройки,— к удивлению всех, начал он по-русски.

И с ораторским нажимом в голосе, не без гордости стал развивать свой план. Суть плана сводилась к тому, что плотину надо поднимать не сплошной глухой стеной, а временно оставлять внизу, над фундаментом, широкие донные отверстия, через которые свободно проходили бы воды реки до тех пор, пока не будет закончена вся работа. Чтобы отвести воду и создать для работы сухие котлованы, надо поставить разборные перемычки и закрыть их массивными подъёмными щитами из стальных балок Грея, залитых бетоном. Котлованы делать узкие, не захватывая большого пространства. Для бетонировки установить портальные краны с пролётом в шестьдесят восемь метров для плотины и в сто четыре метра для гидростанции.

Инженер Руммель говорил о густой сети узкоколейных подъездных путей, которые позволили бы лучше вписаться в тяжёлый профиль местности, о декавильках с совершенно узкой и лёгкой колеёй, по которой побегут вагонетки, о канатной тяге для щебня из камнедробильных заводов, о доставке цемента с пристаней на склад посредством подвесных воздушных дорог.

Руммель кончил и с победоносным видом сел.

— Ваше слово, мистер Купер. — сказал Куйбышев.

И опять стало тихо в зале. Гуржеев почувствовал, что сейчас начнётся поединок, поединок упорный, беспощадный

Купер — неожиданно для всех — предъявил только четыре синьки, четыре простых технических чертежа.

— Это всё? — невольно спросил кто-то, и в голосе послышалось недоумение, даже обида.

— На первое время достаточно,— с достоинством ответил Купер. — Здесь основы. Мелкие детали можно будет дать потом. Дело решают не они.

И спокойно, методично, пункт за пунктом начал разбивать, ломать то, что только что предлагал в своём докладе Руммель. Он говорил по-английски, но его речь тотчас же излагалась переводчиком по-русски.

— Прежде всего на такой могучей реке, как Днепр,



нельзя пытаться строить плотину с донными отверстиями, потому что заделка этих отверстий на огромной глубине представит феноменальные трудности.

Купер всем корпусом повернулся к Куйбышеву. Слова его звучали с такой чёткостью, точно он на глазах у всех ловко, без малейшей задержки стрелял в тире по целям, расставленным Руммелем.

— Допустим, мы придумаем хорошей конструкции щит и под его прикрытием заделаем одно отверстие,— говорил он.— Вода перед плотиной несколько поднимется. Заделаем второе: вода поднимется ещё выше. Не забывайте, что в конечном итоге она должна подняться на тридцать семь с половиной метров. С каждым новым шитом, вода будет быстро итти вверх, и чем дальше, тем опускать шиты станет всё труднее и труднее: напор у Днепра будет резко возрастать. Заделка последних трёх отверстий представит уже задачу чрезвычайную. На одной реке в Америке я восемнадцать раз опускал щиты, и вода выбивала, ломала их, как щепки. Сначала в стальные рамы я вставлял сосновые брёвна, залитые цементом. Сила напора была так велика, что толстые брёвна разворачивались и разрывались, подобно детской игрушке. Вместо сосны я взял дуб,— и дуб вылетал со дна обломками, точно сам дьявол ломал его там через колено. Река оказала чудовищное сопротивление, и притом — река сравнительно небольшая. Днепр к моменту закрытия последнего донного отверстия будет поистине страшен. Уничтожение люков в глубине его измучит нас всех. Оно потребует столько времени, что всё строительство задержится не меньше, чем на полгода... Кроме того, при заделке донных отверстий получится неизбежная усадка нового бетона. Как бы искусно мы его ни укладывали, всегда произойдёт некоторое отслоение между старым бетоном и свежим, уложенным не на открытом воздухе, а под водой. Это создаст опасность фильтрации. Фильтрация же по щелям кладки под колоссальным давлением реки будет очень быстро увеличиваться.

Купер доказывал, что плотину надо строить сплошную, глухую — от подножия до самого верха. Место, выбранное для постройки, имеет счастливую особенность. Там со дна реки поднимаются два узких гранитных острова – Чёрный и Стрельчий, которые делят русло на три

почти равных по ширине протока. Островами этими надо воспользоваться как упорами. Сначала оградить перемычками правый и средний протоки, чтобы всю воду Днепра направить в левый проток. На ограждённом участке возвести устои, или быки, и на некоторую высоту выложить бетоном пролёты между ними. Затем повернуть Днепр вправо, в пролёты между быками среднего и правого протоков, и ставить быки в левом протоке. Когда они будут построены до своей проектной высоты, тогда начать постепенно наращивать плотину на всём её протяжении последовательно запирая пролёты щитами на глубину, которая нигде и никогда до самого окончания работ не будет большой. Перегораживать протоки надо тоже всплошную — и не бетонными перемычками, а ряжами, то есть двойными рядами деревянных брусьев, сложенных в клетку. Для водонепроницаемости с наружной стороны ряжей поставить металлические шпунтовые стены. Котлованы делать не узкие, а широкие, чтобы было просторно работать и по выемке гранита для фундамента и во время самой бетонировки.

Купер только воодушевлялся немецкими возражениями.

— Никаких узкоколеек и декавилек! Непременно всюду, на всех участках, широкая колея, непосредственно связанная с общегосударственной железнодорожной линией, чтобы легко можно было маневрировать паровозами и подъёмными паровозными кранами. Масштаб работы огромен. Потребуется переброска больших масс материалов. Тут некогда путаться с канатной тягой и с воздушными подвесными дорогами. Никаких громоздких портальных кранов на строительстве не должно быть. Они слишком сложны и малоподвижны. Да и куда их потом деть? На слом? Разрубить и бросить в мартеновские печи на переплавку? Основным механизмом для подъёма грузов надо принять паровозные краны — самые удобные, самые быстрые, самые выгодные подъёмники. После окончания Днепростроя этих безотказных тружеников возьмёт любое новое строительство: они пригодятся везде.

Купер коротко черкнул карандашом по бумаге снизу вверх, точно скинул, отшвырнул что-то ненужное, и продолжал:

— Бетон брать отнюдь не литой, не жидкий, а только пластичный, тестообразный.



— Почему? — перебил Руммель и удивлённо вскинул брови.

— Бетон должен быть высшей марки.

— Но литой лучше!

— Нам это неизвестно.

— Из-за того, что качества литого бетона вам неизвестны, ещё не значит, что Днепрострой должен выбрать пластичный.

— Нам известно другое,— скосив взгляд в сторону Руммеля, ответил Купер. — Непрерывно в течение ряда лет частные и государственные лаборатории Америки исследуют свойства бетона. В результате этих опытов самые ответственные стройки военного ведомства категорически отказались от литого бетона. Вам этого достаточно?

Краска залила лицо Руммеля. Он пылко заспорил. К нему присоединился тучный инженер Драхенфельс, из его же группы. Они доказывали преимущества литого бетона, но в словах их чувствовалось скорее упрямство, чем убеждённость. С бетона они перешли на остальные возражения.

Купер скептически поджал губы. Его морщины выражали твёрдую, непоколебимую неприязнь.

Вечер превратился в технический бой двух консультаций.

В заключение Купер сказал:

— Метод работ, выдвигаемый мистером Руммелем, требует высококвалифицированной рабочей силы. Мы же опираемся на широкую доступность наших механизмов, на лёгкость управления ими. Немецкая техника выросла из кустарного мастерства, из тщательно хранимых секретов изобретательства и индивидуальных ухищрений. Наша система, наоборот, крайне открыта и рационалистична. Никаких секретов, никакого волшебства! Мы стремимся дать такие машины, какие, в идее, работали бы правильно даже в том случае, если машинист случайно ошибся и сделал не так. У нас в Америке это называется «страховкой от дурака». Предлагаемые немецкой консультацией замкнутые циклы подачи материалов потребуют больших кадров безукоризненно опытных, великолепно знающих своё дело рабочих. Откуда их взять? Из Германии? Из Америки? Или мастеров найдёт сам Советский Союз?

Тонкий часовой механизм циклов создаст огромную зависимость всей системы от каждого отдельно взятого участка. Стоит выйти из строя одному какому-нибудь звену, хотя бы тем же самым портальным кранам,— и всё строительство остановится. А надо так поставить дело, чтобы в случае какой-нибудь аварии в одном месте все остальные участки продолжали работать, будто ничего не произошло. Вот в чём суть нашей системы.

Руммель снова запальчиво и страстно принялся возражать. Ссылаясь на технические авторитеты, на академические курсы лекций, на формулы, цифры, справочники, он хотел повалить, уничтожить доказательства, только что широко расставленные Купером в защиту своего плана.

В одиннадцать часов ночи Купер решительно отодвинул от себя лист белой бумаги, на котором у него было размашисто поставлено карандашом несколько птичек.

— В результате четырёхчасовой беседы. — иронически заявил он,— достигнуто полное соглашение только по двум пунктам. Во-первых, нам ещё ни разу не приходилось сталкиваться с таким расхождением в методах работы по гидравлическому строительству, как в данном случае. И, во-вторых, ни одна из деталей, предложенные немецкой консультацией, не говоря уже о крупных вопросах, не могла бы быть одобрена или принята нами, равно как ничто из того, что предложено нами, не могло бы быть одобрено или принято немецкой консультацией.

— Ваше мнение, профессор? — обратился Куйбышев к Тихменёву.

Борьба, вспыхнувшая между американской и немецкой консультациями, не была неожиданной для Тихменёва. Он её предчувствовал и предвидел. Ещё в самом начале переговоров с германскими фирмами немцы неприязнено отнеслись к мысли, что на строительстве будут две консультации. Им хотелось быть единственными советчиками без какой бы то ни было критики со стороны столь опытных гидротехников, как американцы. «Вы знаете, герр Тихменёв,— недовольно заявил однажды Руммель ещё в Берлине,— настоящий мастер не любит, когда на его работу смотрит другой мастер»... Возможное присутствие американцев заставляло немцев говорить ревнивые, часто несдержанные слова.

— Конечно, обе схемы имеют весьма интересные



предложения,— сказал Тихменёв.— Но предложения мистера Купера для нас ближе по своей простоте и доступности для масс. Мы именно и ищем простоты, ищем таких механизмов, с которыми, несмотря на всё их совершенство, сумели бы обращаться даже малоподготовленные рабочие. Что же касается порядка закрытия протоков, то здесь я не согласен с мистером Купером. По-моему, перемычки надо ставить одновременно с обоих берегов — в правом и в левом протоках — и затем уже перегораживать средний. Наступление на реку с берегов, с двух фронтов сразу, даст нам возможность сэкономить почти год времени.

И Тихменёв с привычной профессорской обстоятельностью и убедительностью стал доказывать верность своей мысли. Говорил он ясно, увлекательно, привёл в пример новейшие, созданные уже после мировой войны испанские плотины Трёмп и Камарасу, сослался на итальянский опыт, на гидротехнические работы французов на Роне, близ Марселя, и даже на постройку последних немецких гидростанций в Баварии и Бадене. Широта его познаний удивляла, обоснованность доказательств была исчерпывающей. Гуржеев испытывал чувство гордости, видя, с какой почтительностью немцы и американцы слушали Тихменёва.

На этом заседание кончилось. Было решено, что советские инженеры и обе консультации в ближайшие дни, не дожидаясь спада весеннего половодья, отправятся в Кичкас и работы начнутся немедленно.

Когда Гуржеев вместе с другими продвигался к двери, к нему подошёл секретарь.

— Валерьян Владимирович просит вас остаться,— вполголоса сказал он.

Эти слова взволновали Гуржеева. Приглашение Куйбышева свидетельствовало о том, что его ценят, надеются на него и ждут, что он даст что-то большое, хорошее, нужное, талантливое.

В просторном кабинете председателя Высшего Совета Народного Хозяйства так же, как и в конференц-зале, было только два портрета — Ленина и Сталина. Сбоку от стола висела огромная, во всю стену, многоцветная карта Советского Союза.

Тут оказалось восемь инженеров. Всё это были люди,

которым предстояло ехать на Днепрострой. Гуржеев увидел среди них Тихменёва, геодезиста Нестерова и высокого, с шишковатой бритой головой Сухонина. С остальными он раньше не встречался.

Куйбышев появился внезапно — из двери, которой сначала никто не заметил. Он посмотрел на инженеров серо-синими глазами, полными весёлого оживления, и сказал:

— Ну, вот, товарищи, вы видите, какие резкие противоречия могут заключаться в методах строительства. Это значит, что ошибиться очень легко. Мы должны выработать такой способ, который дал бы наилучшие результаты. Нам нельзя ошибаться. Нельзя слепо следовать советам иностранцев. Надо внимательно их выслушивать, а думать и решать надо самим, своей головой, самостоятельно. Вам поручается величайшее дело. Вы должны выполнить его, как самое главное дело своей личной жизни. Буржуазный мир не верит, что русский народ может построить колоссальную плотину через Днепр, через непокорную, дикую реку, от тьмы времён гремящую бешеными порогами, не верит, что у нас хватит знаний и умения осуществить задуманную проектом бесподобную гидростанцию. Скептическое неверие иностранцев надо разбить, опрокинуть, чтобы они не задирали носа. Вы всё имеете для этого. Гидростанция нам нужна не меньше чем хлеб и воздух, нам нужны заводы, которые как можно скорее должны пойти на силе днепровского тока. Я был сегодня в Кремле. Товарищ Сталин спрашивал меня о каждом из вас и просил передать, что он желает вам успеха.

Куйбышев встал.

— Поезжайте не откладывая. Если будет нужно, по любому вопросу пишите прямо мне.

Гуржеев ощутил крепкое пожатие большой сильной руки и вышел в гулкий высокий коридор.

На улице на него пахнуло свежим холодом мартовской ночи. Под ногами, в ямках между булыжником мостовой, потрескивал тонкий ледок. Воздух был морозно-чист, пахло тающим где-то в полях снегом. Вокруг простиралась Москва, древняя, непомерная, могущественная, загромождённая колокольнями, церквами, тупиками, глухими складами, оставшимися от купцов и лабазников.



Гуржеев шёл по Варварке к «Гранд-Отелю», охваченный чувством молодости и смутными мыслями о будущей работе. Начиналась новая жизнь. Новая судьба открывалась ему. Днепр, степи, следы тысячелетней истории, необычайная плотина, которая должна подняться усилиями инженеров и рабочих, сказочный труд и сказочные возможности. «Да, там будет счастье...» — приподнято думал он, идя по тёмным узким улицам, в ночной свежести начинающейся весны.

Перед глазами вырос Кремль, величественная, овеянная легендами стена, Спасская, Никольская, Боровицкая башни с чёрными орлами на шпицах, тусклые очертания золотых куполов за стеной и мраморный мавзолей снаружи. От Лобного места до Исторического музея площадь была пуста. Кремль казался флагманским кораблём, плывущим вдаль. Над ним плескалось освещённое снизу большое огненное знамя. Холод волнения пролетел по спине Гуржеева.

... Около часа ночи он спустился из номера в ресторан «Гранд-Отеля». Золотистые зонты шёлковых абажуров знойным светом освещали белоснежные скатерти, салфетки, тёмные бутылки вин, раскрасневшиеся, возбуждённые женские лица. Приглушённый говор, стук посуды, позвякивание ножей и вилок, вкрадчивый звон бокалов, смех — всё это клубилось гулом и жужжанием непрерывных звуков. По бесшумному ковру гуттаперчево сновали белые официанты.

— Степан Андреевич, присаживайтесь! — позвал вдруг знакомый голос.

Гуржеев оглянулся: слева, в простенке между окон, сидел Нестеров и показывал на свободное место рядом с собой.

— А-а! — обрадовался Гуржеев. — Вы уже здесь?

В эту минуту запели скрипки и виолончели. Ресторанный гул отхлынул, уплыл.

— У меня такое впечатление, будто я отправляюсь в неисследованные страны,— сквозь скрипки сказал Нестеров. — Вольно, приподнято и просторно...

— Говорят, геологи нашли в районе порогов стоянки доисторического человека, которым свыше десяти тысяч лет.

Нестеров улыбнулся.

— Недаром Иван Гаврилович Александров, когда ездил туда, брал с собой томик стихов Блока.

— Да, необыкновенные чувства... Наклонившись к Гуржееву, Нестеров задумчиво говорил:

— Лет пятнадцати я мечтал стать юнгой,— отправиться на каком-нибудь пароходе в кругосветное путешествие — в Сирию, в Египет, Индию. Потом пришло увлечение астрономией. Жюль-Верн, Фламмарион, затаённая надежда открыть новую, ещё никем в мире не найденную звезду. По окончании института я три года работал в Пулковской обсерватории, следил за туманностям Млечного пути. Бессонные ночи у телескопа, таинственные, загадочные сонмы звёзд — с вечера до рассвета, что может сравниться с бесконечными странствованиями по вселенной! И вдруг... Да, вдруг, когда стали писать о Днепрострое, я понял, что мои мечты теснейше связанны с землёй, с нашей, вот с этой необъятной, близкой, родной землёй, с тем, что можно сделать геодезическими приборами для плотины и гидростанции. И я ушёл...

Рано утром севастопольским поездом Гуржеев и Нестеров выехали на строительство.

## II

Из черниговского села Горицы по Десне плыли два длинных плота. Ровные, как свечи, сосны и ели, связанные в три наката лозинами, шли по воде, точно днища заложенных где-то на далёких верфях кораблей. На плотах были плотники и лесорубы, валившие под Горицей лес для Днепростроя,— они составили артель в двадцать шесть человек и ехали на новое строительство.

Берега, горы, синевшие в весеннем тумане леса, яры, балки,— всё плавно отступало назад. Молодые парни Ивась Баганча и Семён Волошко стояли по бокам переднего плота и мерно гребли большими бабайками, сделанными из толстых жердин. Бабайки были вставлены в скрипучие деревянные уключины. На корме рыжебородый Махоткин, старший по артели, ответственный за сплав, управлял рулевым стерном, вытесанным из длинной тонкой



слеги. Откинувшись назад и зорко оглядывая встречные берега, он то и дело покрикивал:

— Правым наддай! Правым. Правым! Ещё правым! Семён-умён! Кому команда? Давай правым! Так... Так... Ловко!

— Илья Максимыч, ты же нас угробишь! — взмолился наконец Семён Волошко.

— Я-то ничего, а вот Днепр проглотит, того и жди. Тут, если не вилять, пропадём. Без хитрости не доплыть.

— Да ведь рубаха взмокла.

— Обсохнет! Приедем на место, отдохнёшь. Вон Ивась гребёт,— глаза радуются. Ивась! Про обед не вспомнил?

— А рыбы наловил?

— Мои ловцы не спят! Только-только два ятеря полных вынули.

— Пусть уху заводят.

— Эй, Витька, Костя, Пересада! Ваша очередь кашеварить.

Плотники и лесорубы плыли весело, дружно. Река расстилалась перед ними, быстрая и мутная, ещё не осевшая после половодья. Извилины и частые повороты заставляли смотреть в оба, чтобы не налететь на какой-нибудь береговой каменный рог или на затопленную вербу. Убогими тёмными шапками проплывали мимо соломенные сёла, ещё в голых, сквозных садах. Изредка вырастали, как призраки, бывшие помещичьи дома, мелькали ограды, обвалившиеся беседки. С востока дул холодный ветер.

Вечером Махоткин выбрал для ночёвки тихий затон. Плоты уткнулись в берег. В тальнике и осиннике щебетали опьянённые весною дрозды. На кирпичах, уложенных около рубленой будки на переднем плоту, Ивась развёл костёр, сварил в котле крупеник с салом. После ужина все улеглись на тесных нарах спать. Но, возбуждённые плаваньем, рекой, лесами, грачиным криком над деревьями и щебетом дроздов, плотогоны долго не могли заснуть, весёлый, лёгкий на выдумку Махоткин начал рассказывать деревенскую сказку про Малого Малышку, невзрачного крестьянского сына, который после трудных и страшных приключений оказался умней, удачливей и счастливей своих сорока старших красивых братьев.

Семён Волошко, Витька Савичев, Костя Макаренко и

гармонист Пересада жадно слушали длинную волшебную повесть, а Ивась, знавший сказку почти наизусть, под мерный, неторопливый голос Махоткина вспоминал свою жизнь, тоже богатую разными тяжёлыми и необычайными событиями. Двадцать два года исполнилось ему, а сколько пережито, сколько испытано за это время! В детстве, сиротой, ходил он поводырём со слепым бандуристом Чеченей, пел под тынами думы и псальмы, вторил глубокому басу старика, вторил восхищённо и благоговейно, видел десятки сёл, множество рек, вместе с нищими и уродами сидел, скорчившись, на бесчисленных церковных папертях, протягивал глиняную чашечку к идущим мимо людям, голодал, мечтал, ждал от жизни чего-то необыкновенного. И вдруг летом двадцатого года за Гуляй-Полем попал в плен к дикому атаману Махно, который с чёрными знамёнами над войском шёл неизвестно куда и за чем. Махно заставлял Чеченю славить себя песнями, хотел, чтобы старик складывал о нём новые думы, возвеличивал его так, как был возвеличен когда-то безвестный удалец Ганжа Андыбер, ставший баснословным гетманом казацким. Но строгий, праведный – в бедах и лишениях Чеченя не сумел или не захотел, отказался. Это случилось в страшный ночной час, и пьяный караульный казак из махновской стражи, в угоду самовлюблённому атаману, тут же зарубил строптивого слепца. Боль, горечь, ужас обожгли душу Ивася! В смятении он едва успел убежать со двора, схватив только бандуру деда.

Глухой байрак, темнота, колючие кусты терновника, непролазные заросли жёсткого молодого дубняка окружали его всю ночь. Исцарапанный, измученный, он скитался несколько дней по незнакомым полям, пока не набрёл на какого-то безродного пастуха. Пастух научил его плести корзины и печь в золе накопанную в чужих огородах картошку. Потом он вступил добровольцем в красноармейский полк, наступавший против Врангеля. Тяжёлые походы, бои, пулемётная и артиллерийская стрельба, неистовые холодные ветры, Перекоп, туманы, сырая, щемящая стужа, грязь, голод, вонь гнилого Сиваша, кровь, бесчисленные смерти близких, душевных ребят, ночной огненный штурм — и победа, победа! Сколько всего вошло тогда в сердце! Ивась прислушался. Махоткин кончил рассказывать.



Плотогоны молчали. Кто-то в темноте курил,— красная точка цыгарки то разгоралась, то меркла. За окном шумела, журчала, плескалась река, плот зыбко покачивался, колыхался на грани неведомого завтра...

На рассвете, в дыму неподвижного молочного тумана, плоты снова тронулись в путь. Опять шли навстречу поля, леса, сёла, облака. Потом Десна внесла плоты в широкий, неоглядный Днепр. Точно сон или видение, проплыл на горах Киев. За Киевом пошли степи, и в степях, когда обогнули Екатеринослав, у Лоцманской Каменки послышался тяжёлый, непрерывный гул.

Показались жёлтые гривы первого Кайдакского порога. Пенистые гривы вскипали, вскидывались, бесновались, вихрились над выступами сизого гранита. Второй плот с Пересадой и Витькой Савичевым отстал почти на версту, чтобы в случае внезапной остановки первого не наскочить на него сзади. Связанные ивовыми прутьями, накаты брёвен казались кучей щепок, брошенных в пучину. Вдруг плот, на котором стоял Ивась, стремительно потянуло вперёд. Сильный рывок сразу дёрнул всю массу брёвен словно в трубу. Плот полетел стрелой. Казалось, все скрепы моментально порвутся, лопнут, разлетятся и брёвна беспорядочными поленьями рассыплются по реке. От страха плотники и лесорубы плохо понимали лоцмана и почти ничем ему не помогали. Перепадам не было конца. В гуле волн, разбивавшихся о скалы, человеческих голосов не было слышно. Со всех сторон кипели и бились дикие буруны.

Когда вырвались на ровные струи и можно было, не страшась гибели, оглянуться, сивоусый лоцман объяснил: — Девять больших порогов у нашего батька да тринадцать забор. А заборы — те же пороги, только не через весь Днипро легли: бывает до половины, бывает и больше. А плыть грозой ещё много: от Кайдака до последнего Вильного порога двое суток, если ветру не будет. А шарпанёт ветер — и за неделю не пробьёшься! Плоты гнало, швыряло с одного перепада на другой. С Кайдакского порога на Сурский, с Сурского на Лоханский, с Лоханского на Воронову забору. С полдня началось то, чего боялся лоцман: поднялся ветер. Покатились косые боковые волны. Днепр посинел, стал мрачным,

грозным. Не доходя до Звонецкого порога, лоцман пристал к берегу.

— Переждём ночь, а то разобьёт!— решительно сказал он.

Скоро подошёл и второй плот.

Ночь была холодная. Зелёные острые звёзды зловеще шевелились вверху. Течение всё время пыталось оторвать плоты от берега,— приходилось без передышки работать бабайками и шестами. Никто из плотогонов не заснул ни на минуту. Только к рассвету ветер упал, и лоцманы заторопились:

— Пошли, хлопцы, пошли! Час!..

Звонецкий порог оглушил плеском, звоном, шипеньем сшибающихся волн. Острые скалы дробили воду на мелкие части. Вода казалась похожей на разбиваемый в тысяче ступок бурый лёд. Над этим кипучим льдом носились острокрылые чайки. В высоте кружил огромный чёрный орёл.

Во второй половине дня послышался такой рёв, какого ещё не было от самого Кайдака. Сивоусый лоцман обеими руками осадил на голове шапку:

— Дед! — предостерегающе крикнул он, и голос его осёкся. — Ненасытец!..

Гул вырывался как будто из преисподней. Грохочущие водяные вихри стали перехлёстывать через плот то спереди, то сзади, то слева, то справа. Порог оглушительно ревел. Он сбивал людей с ног, заставлял их на карачках цепляться судорожными руками за брёвна, обнимать верхний накат. Плотогоны со страхом смотрели на лоцмана.

Когда Ненасытец остался позади, солнце уже стояло над голубым краем степи. Красноватый свет играл на обрывках пены среди реки, и река сделалась лилово-синей, бездонной, грозно красивой. Лоцман опять повернул к берегу.

— Сушись, хлопцы, у кого душа жива!

— Птицы небесные! — с облегчением проговорил Махоткин.— Так и думал — смерть пришла... Аминь тебе, рыжая борода, думаю! Ни дна бы, ни покрышки не было. И куда занесло меня, ум потерял!..

Все были довольны, что смертельная опасность пролетела мимо. У лоцмана сохранились в кожаном кисете неподмоченные спички. На кирпичах запылал жаркий огонь,



вокруг огня появились на кольях мокрые штаны, рубашки. Ивась, переодевшись, заснул, как камень. Но его скоро разбудили: надо было работать шестами, отталкиваться от скал, от берегов.

С утра опять зашумел сердитый восточный ветер. Хмурая рябь побежала по Днепру. Река взъерошилась, почернела. Далеко над степью синими начёсами повис дождь.

Извилистый Волнигский порог измучил своими прихотливыми вывертами. Он продолжал шипеть в ушах, даже отступив на север.

— Этот стервец Ненасытцу внук! — сказал лоцман, кивнув через плечо назад.— Ну, одначе, до Деда ему далеко.

— Тот зверь! — согласился Махоткин.— Зверь, будь он неладен, анафема. Не иначе, чортовы тартарары под ним. Рычит, как над пустой бочкой.

— А ты чёрное слово на реке не поминай!..— опасливо остановил лоцман. — Их, знаешь, сколько сидит здесь?..

Махоткин неуверенно посмотрел на крутящиеся мутные воронки и, точно поперхнувшись, крякнул.

Начало пригревать солнце. От ветра Ивасю неудержимо хотелось спать. Дремота смыкала веки. Берега, плот, волны,— всё на мгновение пропадало из глаз, а потом в зыбком мелькании всплывало опять «исчезало снова.

— Не спи! — крикнул лоцман. — А то Будило раз будит!..

И действительно: Будиловский порог, густо усаженный скалами, загремел каменным грохотом. Плот задёргался, задрожал. Ивовые связки напрягались, как вытягиваемые невидимыми колёсами жилы. Это продолжалось минут двадцать. Затем грохот ослабел, скалы ушли под воду,— показался широкий Таволжаный остров. На острове цвели густые заросли верб,— отлогая кромка земли желтела, точно сбившееся в кучу стадо пушистых гусенят. За Таволжаным вырос Орловый остров — гнездовье степных орлов,— за Орловым небольшой, но высокий Перун-остров, похожий издали на полуразрушенную гранитную крепость.

— Змей на Перуне! — с боязливым удивлением воскликнул лоцман. — Песок – кишмя кишит! Не остров, а змеиное кодло.

На Лишнем пороге сломалось стерно. Вместо стерна Ивась и Махоткин, едва держась на ногах, вставили запасную слегу. Когда вышли на тихое разводье, Махоткин затесал новое стерно с комля, как лопату. Скоро забушевал последний — Вильный порог.

— И на Вильном гадов тьма-тьмущая! — опять почти с гордостью крикнул сивоусый лоцман. — От них и порог зовут Гадючим. Гадючий и есть.

Старый казацкий Днепр вольно шумел в беспорядочном нагромождении скал.

К вечеру четвёртого дня мытарств в порогах, на десятый день плавания от Горицы, плоты подошли к Волчьему Горлу — к узким каменным воротам, после которых начиналась просторная гладь до самого моря. Версты через две ниже Волчьего Горла, на правом берегу, в оранжевых отсветах заката открылся Кичкас с островерхими крышами из красной черепицы.

Плотники и лесорубы вышли на берег. Земля показалась им после порогов необыкновенно прочной, незыблемой, полной спокойной тишины.

— Ну, ребята, теперь до самой смерти страху не будет! — счастливым голосом сказал Махоткин. Он сдвинул со лба свою заячью шапку и осанисто поднял голову.— Вот оно где — царство наше!

— Уж не ты ли в цари метишь, Илья Максимович?

— Определённо! По всему видать — нас ждут.

— Как же! Только и думушки у инженеров, когда Махоткин с артелью припожалует.

— А то нет? Смотри — пусто. Плотники тут первейший народ будут!

Кичкасские жители, проходившие по дороге, с нескрываемым удивлением смотрели на плотогонов. В Кичкасе ещё не верили, что начнётся строительство, посягающее на непокорный, необузданный Днепр.

— Бараков тут нет, корчму закрыли, а к себе спать никто вас не пустит,— угрожающе сказал ворчливый, гладко выбритый старик в меховой куртке.

— Не пустят, не надо,— ответил Ивась. — В порогах не потонули, на сухом не пропадём.

— А! Храбрец нашёлся!.. Скрутит тебя лихорадка, согнёт в три погибели, тогда узнаешь.

— Да ты не беспокойся, дедушка.



Первую ночь плотники и лесорубы провели на краю городка, у самого въезда, под узловатым, как будто из железа отлитым дубом. Сырой холодный ветер гудел в чужих неприветливых садах. Плотогоны составили на земле свои самодельные сундучки, свалили котомки, развели в стороне костёр. Огонь ярко заколыхался на ветру. Люди разувались, сушили портянки, онучи, постолы, лапти, грели зазябшие ноги. Около костра с недоумением и неприязнью останавливались хмурые, явно встревоженные хозяева островерхих черепитчатых домов. Это были немцы-колонисты, предки которых поселились тут ещё при царице Екатерине. Недружелюбно подходили и кряжистые селяне. Один из них, плотный, коренастый, по виду мельник или хуторянин, с опущенными вниз чёрными, похожими на подкову усами, вызывающе спросил:

— Чого вы приихалы до нас?

Ему никто не ответил.

— Чого прилизлы сюда, пытаю? — повторил он громче, опираясь на высветленный руками батожок.

Махоткин поднял огненную при свете костра бороду.

— Плотину строить, папаша. Гидростанцию. Слыхал такое дело?

— Вы будете строить?

— Не только мы. И другие приедут.

— А я вам так скажу, кацапы: тикайте до дому, поки лапти цилы! Днипро вас усих пожере.

— Ну?

— Вот хрест святой. Ни одного кацапа не помилует!

— Да у нас украинцев больше, чем кацапов.

— Всё одно пожере. Накормит вашими потрохами сомов в провальях.

Махоткин задорно тронул руками заячий треух.

— А тебе что — от водяного телеграмма была?

— Тьфу! — плюнул человек с висячими усами и, постукивая батожком, пошёл прочь.

— Куркульска пташка!— засмеялся Ивась, подмигивая.— Ишь, залетал, як ворона перед бурей.

На следующий день плотников и лесорубов приняли на работу и направили в лодках на левый берег. Там им выдали доски, и они начали строить себе временный курень.

## III

Едва началась весна двадцать седьмого года, как отовсюду на Днепрострой потянулся народ. Люди ехали из курских, киевских, орловских, харьковских сёл, из Мелитополя, Павлограда, Херсона, Одессы, Гомеля, Полтавы, Кременчуга. Брянские и смоленские плотники, белорусские и мордовские пильщики, волынские каменоломы, московские штукатуры, владимирские маляры, тамбовские печники, киевские землекопы, днепропетровские грабари,— все устремились на новое строительство.

На станции Запорожье из вагонов высыпали котомки, мешки, сундучки, плотничный, столярный инструмент, замотанные в дерюги пилы. В вокзальных дверях гремели закопчённые чайники и котелки, среди котомок мелькали жёлтые балалайки и чёрные, туго застёгнутые на крючки гармони-четырёхрядки. В лаптях, постолах, сапогах, ботинках, в кожухах, свитках, зипунах, чуйках, армяках, поддёвках, бешметах приехавшие шли вереницами через город и степь к Днепру, к Кичкасу.

На правом берегу, в двух километрах от кичкасского железнодорожного моста, была спешно построена в степи новая станция. Туда ежедневно прибывали длиннейшие поездные составы с грузом леса, кирпича, толя, железа, извести, алебастра. Леса шло такое множество, что грузчики приходили в изумление:

— Куда столько брёвен гонят? Что они, в уме? Не деревянную же плотину ставить будем?

— А лес какой! Смолевой, чистый, ровный. Хоть мачты строгай.

Брёвен и кряжей накатали около новой станции огромные горы, а лес всё поступал и поступал. Он шёл и по железным дорогам и бесконечными караванами плотов по Днепру.

Однажды утром на базаре Ивась слышал, как бабы, приехавшие из дальних сёл, робко переговаривались:

— Казалы люди, шо ничого не буде. А, дывись, починаеться...

— Старый Назар, як той Илля-пророк клявся: «Поки свит стоить, каже, ниякои гребли через Днипро нихто не побудуе!»

— Невже справди шось зроблять?



— Хто зна...

— Це ж чудо!

— А наш дид Киндрат шепоче: «Там, каже, бил Хортицы скризь запорижоки скарбы закопаны — золото, дукачи, талеры. На цих скарбах, каже, страшне закляття покладено. До них, грозится, жодна людына приторкнутысь не може».

— Ой, дивонька, приторкнутся! Откроют.

— А то нет?

— Ни бога, ни чорта не боятся, ни сказу, ни сглазу не верят, ни знаменья, ни попередження знать не хотят. Вон мой Панас заломил чуба, свистнул и пошёл. «Ты бы хоть поцилував на прощанье, бугай пустолобый!» — кажу ему. А вин тильки зареготав: «Э, каже, моё вид мене не втече. Не прокисне!»

— Вот пёс!

— Ще и який.

Рабочих с каждым днём становилось всё больше Приезжали и в одиночку и целыми артелями, со своими кухарками. Кичкас уже не в состоянии был вместить человеческого потока. На обоих берегах спешно возводились деревянные бараки. Некоторые рабочие раскидывали в степи палатки, ставили курени и начинали жить прямо на земле, застелив побуревшую за зиму траву соломенными матами. Строительство приобрело вид табора. По вечерам пылали костры и крепко пахло смолистым древесным дымом.

На правом берегу начали строить трёхэтажный каменный дворец — управление Днепростроя.

— Почему так далеко в степь ушли? — недоумевал Ивась, глядя, где закладывался фундамент. — Управление надо бы поближе к реке поставить.

— А ты думаешь, инженеры не ошибаются?— подкинув рыжий клинышек бородки, сказал Махоткин. — Ще как! Тут простое соображение говорит: ставь управление у Днепра, у работы.

По берегу проходили производившие измерения и разбивку местности геодезисты. Махоткин не вытерпел, спросил:

По какой-такой причине, товарищи инженеры, управление на гору убежало?

Нестеров увидел прищуренные, насмешливые глаза рыжебородого плотника.

— По простой. Днепр поднимется вон до каких пор. И он указал на вбитые в землю белые столбики, которыми отмечался район будущего затопления. Столбики цепочкой бежали очень высоко от реки.

— Откуда же столько воды взять? — недоверчиво удивился Махоткин.

— Воды хватит.

— Неужели тут, где мы стоим, дно будет?

— До самых столбиков.

— Птицы небесные!

Столбики, как белые гуси, бежали по степным возвышенностям далеко за Кичкас, за сады, за огороды.

Днепр шумел широкой весенней водой. Около Чёрного и Стрельчьего островов, у скал правого берега и у сизых левобережных обрывов вскипали жёлтые пенистые гребни.

По берегам прокладывали ширококолейные подъездные пути. Пути должны были соединить строительство со всеми подсобными предприятиями и с пересекавшими у города Запорожье магистралями.

На левом берегу, вблизи Днепра, была построена вторая железнодорожная станция, которой предстояло обслуживать работы по сооружению шлюза и левой части плотины. Станцию назвали Шлюзовой. Гуржеев получил распоряжение проложить трассу и приступить к постройке ветки от Шлюзовой к будущей плотине.

По озими забелели колышки. Среди изумрудной зёлени всходов простегнулся пунктир железнодорожного полотна. Степь раздвинулась на юг и на север, следы пустынности — кусты колючего терновника и заросли кудрявого глёда — исчезли под топорами, точно, застарелая паутина, сметённая щёткой. Вдоль намеченной трассы закопошились сотни землекопов и грабарей. В желтовато-серых напластованиях миллионолетних речных наносов заблестели железные лопаты. Проволочно жёсткая, побелевшая от зимних морозов полынь затрещала, как хворост. Киевские и черкасские грабари приехали на своих низкорослых сельских лошадках, запряжённых в короткие деревянные легко опрокидывающиеся тележки. Тележки называли колымажками или грабарками. Они длинными, непрерывно движущимися бусами растянулись по пашням и



неезженой целине. Люди нагружали в грабарки срезанную с береговых горбов землю и увозили в овраги и балки. Скрипели колёса, ржали кони, по степи жёлтым дымом летела густая горячая пыль.

На правом берегу, на подступах к тому месту, где предстояло воздвигнуть плотину и гидростанцию, высились огромные гранитные скалы — Любовь и Богатырь. Их необходимо было снести, чтобы соединить участки железнодорожной колеёй с камнедробильным, бетонным и лесопильным заводами.

Механических станков для бурения строительство ещё не имело, их ещё не успели доставить из-за границы. Чтобы не терять времени, приходилось бурить вручную. Десятки каменоломов облепили мощные скалы. По стальным клиньям застучали тяжёлые молоты. Гранит был неимоверно твёрд. Работа шла медленно. Скважины в скалах едва удавалось продалбливать на полметра в глубину. Подрывники заряжали их коричневым, похожим на яблочную пастилу динамитом или серым порошкообразным аммоналом. Взрывы производили ручным способом, посредством бикфордова шнура. Шнур зажигали обыкновенной табакурной сноровкой — от спички. Гром, грохот, гул сотрясали берега.

Однажды со скалы Сагайдачного прибежал бледный, испуганный Витька Савичев. Зрачки его серых глаз были широко раскрыты.

— Гадюки, Ивась!— крикнул он и взмахнул рукой назад.

— Где?

— Там. Ползут! Идут колесом!.. Как грянули взрывы, так и пошли.

— Тебе показалось.

— Какое! В глазах рябит: снуют, мелькают, плывут по земле, по песку, по камням. И всё в одну сторону.

— Куда же?

Витька опять махнул рукой.

— Туда. На полдень.

— Вдоль берега?

— Прямо к плавням.

От змей оторопь охватила многих рабочих. Шофёры грузовиков рассказывали, что по дороге вдоль реки они раздавили своими толстыми колёсами множество больших

и малых гадюк, уползавших в камышовые топи плавней. Змеи бежали от взрывов целыми стадами. Это длилось несколько дней. Скоро их не стало совсем,— редко-редко где-нибудь на согретом солнцем песке показывался зловещий, затаившийся пёстрый жгут, но и его сейчас же побивали камнями.

И справа и слева от Днепра шло строительство бараков, общежитий, каменных домов. В степи, у плотины должен был возникнуть новый город — Большое Запорожье. Высоко над рекой влево от управления поднимались английские коттеджи для иностранных специалистов. На правом берегу, там, где ещё осенью шелестела широколистая кукуруза и торчала густая пшеничная стерня, разбивались улицы, тротуары, сады, скверы, парки, прокладывались шоссейные дороги. Сотни каменщиков, плотников, штукатуров, кровельщиков и маляров сновали по участкам. Работа, не затихая, шла от зари до зари. Со всех сторон слышались певучие голоса:

— А ну, раз! Подняли!

— Ещё разок. Поехали!

— Взялись, взялись,— поставили!

— А ну дружней! Подвинули...

Артель, с которой приплыл Ивась из Горицы, построила барак для слесарей, потом большой барак для себя и несколько общежитий для десятников, механиков, бухгалтеров. Каждое новое здание выходило у них лучше и аккуратнее предыдущего.

Из казанских и чистопольских деревень приезжали татары. Гортанный говор, быстрые непонятные слова зазвучали в разных концах стройки — и в каменных карьерах и на распиловке леса, и на кладке каменных домов. Молодой каменолом Магомет Тарифов подружился с Семёном Волошко. Его и другого татарина — Хабибуллу Мухтарова, землекопа, песенника, умевшего играть на губном, нежно жужжавшем кабызе и показывать ловкие фокусы со спичками и с завязанной узлами верёвкой,— Ивась и Волошко назвали к себе в барак. Они поставили у самого входа последние топчаны, которые ещё можно было поставить — пятьдесят восьмой и пятьдесят девятый.

В первый же день Магомет Тарифов научил Ивася татарскому счёту до ста и трём приветственным словам:



селям – алейкум — здравствуй, ипдаш — товарищ и ипдашляр — товарищи.

— Якши, ипдаш!— изумлялся Тарифов, как чуду, когда Ивась, несмело произнося татарские слова, перебирался с одного десятка на другой и не сбивался до самого конца.— Бик якши,— шибко хорошо!

В стороне от реки стоял барак, населённый одними татарами. Когда догорал закат и со степи надвигалась ночь, из татарского барака доносилось монотонное пенье. Дух кочевья, просторы, топот верховых коней, гулкие походы под палящим солнцем слышались в этих непонятных песнях, оставшихся, быть может, ещё со времён Чингиз-Хана, Батыя или Тамерлана. Но вдруг татары обрывали тягучую мелодию и начинали петь что-то яркое, грозное, радостное. Ивась выходил на крыльцо и спрашивал Гарифова:|

— О чём они поют?

— Тут говорит, как наша татарский люди бил колчаковский офицер. Бил, прогнал, сам жить советский закон пошёл.

В выходной день Семён Волошко, Ивась и Тарифов взяли рыбацкий «дуб» и переплыли на Хортицу. Высокий остров почти весь был засеян пшеницей, только над береговыми кручами росли дикие травы с невиданными жёлтыми и лиловыми цветами да белый ковыль шелковисто струился под ветром. Ивась, вспомнив величавые казацкие Думы, которые он пел, скитаясь с Чеченей, искал место, где стояла некогда Запорожская Сечь,— покрытые конскими шкурами курени из заплетённых ивовых прутьев, столб с сечевым колоколом, укрепления... Но никаких следов прошлого нигде не было, только глубокие рвы с северо-запада таинственно прятались в траве.

За день все трое нарвали целые охапки ковыля. В белых развевающихся от ветра косах было что-то древнее, веющее детскими сказками.

— У вас в казанской стороне ковыль растёт? — спросил Ивась у Гарифова.

— Ой, растёт! — обрадовался Магомет, сразу представив заволжскую степь под Казанью. — Такой растёт... Май месяц время кажный изба ковыль ставит, кажный крыша будто белый грива играет, старинный праздник наша,

куда посмотришь — ковыль, ковыль!.. Звезда видит, месяц видит, девушка песни поёт.

Вечером, вернувшись домой, Тарифов водрузил на коньке барака тонкий деревянный шпиль и украсил его белым, пушистым, чуть зеленоватым ковылём. Серебристо-шёлковый пук текуче закланялся по ветру в сторону соседних бараков.

## IV

На левом берегу грабари копали шлюз. Они запрягали лошадей в плуги и выпахивали мягкую песчанистую землю там, где по плану были намечены шлюзовые уступы лестницей спускающиеся вниз, вдоль Днепра. Три шлюзовых камеры должны были врезаться в грунт на громадную глубину: уровень воды перед плотиной предполагался выше уровня реки за плотиной на тридцать семь с половиною метров. Путь судов и плотов из камеры в камеру, как по ступеням, шёл, пересекая скалу Сагайдачного и скалу Дурную, к спокойному синему простору, уже совершенно свободному до самого Чёрного моря. Этот путь прокладывался не по руслу реки, а в береговом массиве. Левый берег в верхних своих слоях состоял из глубоких напластований древнего лёсса, а в недрах представлял серо-голубой гранит неведомой толщины, застывший при отвердении земной коры миллионы лет назад. Это было дальнее, ушедшее в землю крыло могучих Карпат.

Выемку грунта для шлюзовой лестницы намечалось произвести гидромониторами и экскаваторами. Гидромониторы сильными струями воды, бьющими под большим давлением, должны были смыть лёссовые толщи, подобно тому, как это делалось на гидротехнических работах в Америке. Экскаваторами предполагалось прогрызть в нижних пластах такую выемку, которая дала бы шлюзовому ходу проектную глубину. Но гидромониторы и экскаваторы запоздали. Запоздала также обслуживающая строительство тепловая электрическая станция, которая должна была дать ток экскаваторам и гидромониторам. Наступило лето. Времени терять было нельзя, и работа на шлюзе началась вручную, без машин.

Работами руководил Гуржеев.

Несколько лет назад он строил железные дороги в Сибири и в Донбассе, прокладывал одноколейные ветки через



горы на персидской границе и на Кавказе. Там такого множества земли не вынимали, но грабари и каменоломы выполняли над кручами задачи, казавшиеся с первого взгляда непреодолимыми. На Волховстрое Гуржеев уже руководил всеми земляными выемками. Механизированных работ Гуржеев никогда не вёл и даже не видел. Он испытывал перед машинами нечто подобное страху. Человеческие руки и их возможности были ему хорошо известны. Лопаты, кони, телеги, грабарки, тачки,— всё это отлично укладывалось в мыслях и послушно действовало, этим он мог управлять и командовать. Работа с машинами представлялась, наоборот, тёмной, запутанной, не поддающейся ни уму, ни воле. И Гуржеев с разрешения Тихменёва поставил на шлюз сотни грабарей.

Люди и кони засновали по левому берегу, точно муравьи. Распаханная и раскопанная земля грузилась лопатами в грабарки, и грабарки увозили её в степь. Колымажки ползли с горы на гору, с увала на увал, ленты десятикратно пересекавшихся дорог испещряли берег. Из-под ног лошадей катились клубы насохшей горячей пыли. Наполненные возы сомкнутыми цепями тянулись к оврагам и балкам. Там они один за другим опрокидывали свой груз с крутых откосов вниз,— и земля, шурша, текуче сыпалась в глубокие пустые байраки.

Горячие июньские ветры поднимали тучи жёлтого мелкого песку. Пыль летела ураганами, застилая солнце с утра до вечера.

Однажды на шлюз пришёл Купер. Невысокий, полный, непроницаемо угрюмый, он раздвинул полы своего пиджака и упёрся руками в бока. Белоснежная мягкая рубашка на тугом животе казалась неестественно чистой в жаркой пыльной мгле. Лёгкий галстук-бабочка раздражённо встопорщился у него под подбородком.

Купер долго смотрел на хаотическую картину земляных работ. Множество людей и лошадей копошилось перед ним в непрерывном движении. Движение шло сложными, петлистыми, непостижимыми потоками. Мелькали высветленные песком до серебряного блеска лопаты. Ржанье лошадей, крики возчиков, скрип деревянных колёс наполняли начатый шлюзовой канал.

— Так могли строить скифы и сарматы две тысячи лет назад,— осуждающе сказал Купер переводчику.

Затем он, как на музейного вождя давно исчезнувших племён, посмотрел на Гуржеева.

— Вы управляете этой армией?

— Я.

Купер вынул платок, вытер взмокший лоб и потную тучную шею. Его морщинистое лицо стало строгим.

— Нужны машины, экскаваторы, а не лопаты и кони. Десять, пятнадцать экскаваторов на один шлюзовой канал! Сорок, пятьдесят самоопрокидывающихся думпкаров. Думпкарами, а не тележками землю вывозить! Что ваши тележки! Спичечные коробки!

Гуржеев скромно пожал плечами.

— К сожалению, ни думпкаров, ни экскаваторов пока нет. А время не ждёт.

Купер ещё раз вытер со лба пот и хмуро пошёл со шлюза к моторной лодке, чтобы вернуться на правый берег.

Гуржеев посмотрел ему вслед и быстро направился на нижние шлюзовые участки делать дополнительную разбивку, производить замеры, расставлять только что прибывшие новые артели, подгонять техников и десятников. Он чувствовал себя, как полководец в битве, его глаза успевали всё во-время заметить, распутать, усилить, пустить полным ходом. По его указаниям в ближайшие округа посылались расторопные вербовщики за новыми грабарями. Он спешил собрать огромные полчища подвод. Число артелей с каждым днём росло. Шлюзовые уступы всё глубже и глубже уходили в береговые недра. Черкасские, киевские, днепропетровские и обоянские грабари ставили поближе к воде курени, служившие им жилищем. Многие ночевали прямо под грабарками, рядом с жующими корм лошадьми. По вечерам оба берега на далёкие километры светились кострами. На кострах варилась свежая рыба, картошка или густой «чумацкий» крупеник с салом.

Орловцы, брянцы, нижегородцы, костромичи, сменившись после плотничных работ, заводили свои песни, то плавные, протяжные, широкие, то размашистые, стремительные, плясовые, бессонно звеневшие над Днепром. Тёплая ночь отовсюду журчала сверчками. Над речной гладью слышались внезапные тяжёлые всплески рыб.



В бараке рабочкома седобородый геолог Свечин читал лекцию о первобытной старине запорожских степей. Ивась сидел в третьем ряду, недалеко от стола, на котором чернел волшебный фонарь. Ему хорошо была видна повешенная на стене рядом с белым экраном карта с изображением Днепра — от тоненьких синих истоков до широкого устья, вливающегося в Чёрное море ниже Херсона.

Поправляя на переносьи золотые очки, Свечин рассказывал о происхождении земли, о смене геологических эпох, о том, как в туманных, невообразимо далёких тысячелетиях прошлого создавались грунты теперешнего Поднепровья. Он говорил, что пороги представляют собою гранитное ответвление Карпатского кряжа, что их подняли первозданные горообразовательные силы в огненном дыму и вулканических громах первых времён остывания земного шара, что через толстую гряду этих ушедших в землю скал в Венгрии прорвался к морю Дунай, а у нас Днепр, несравненно более дикий и яростный, чем Дунай. Ивась изумился, когда услышал, что Днепр принимает в себя от истоков до Хортицы семьсот сорок семь рек и речек, великое множество неиссякаемых, то тихих, то быстрых, то чистых, то мутных, богатых рыбою вод.

Свечин рассказывал о работе геологов по исследованию крепости днепровского дна и берегов. Всюду, где намечены сооружения, был гранит, прочность, мощь, несокрушимость. Только здесь и строить, только здесь и возводить гигантские сооружения, для которых сама природа создала у Хортицы идеальные условия.

Идя вверх по реке, геологи нашли около Ненасытецкого порога большой могильник, придавленный сверху циклопическими камнями. Камни были сложены кольцом. В могильнике оказались остатки человеческих погребений: это был некрополь неведомого народа. Полуистлевшие скелеты лежали в скорченном положении. Около них виднелись следы красной краски. Красная краска являлась в незапамятные времена символом обожествлённого огня, и Свечин утверждал, что около шести тысяч лет назад в этих местах жили огнепоклонники. На островах Три Столба. Похилый, Перун и Кресло Екатерины нашли стоянки доисторического человека новокаменного века.

Свечин зажёг волшебный фонарь и стал показывать раскрашенные картины и фотографии. Тут были мамонты,

голые диковолосые люди, люди в звериных шкурах, фантастические леса, летающие ящеры, снимки раскопок прибрежных курганов, могилы, каменные топоры, молотки, ножи и жалобно скорченные, как зародыш в яйце, беззащитные скелеты.

## V

С конца мая начались подготовительные работы по установке ряжей. В Кичкасе, на правом берегу, возле пристани, были навалены груды брёвен, пришедших плотами по воде через пороги из белорусских, брянских и черниговских лесов. Десятки пар пильщиков сколачивали козлы, накатывали на них брёвна и опиливали каждое на четыре канта, чтобы получить нужные для ряжей ровные прямые брусья квадратного сечения. Широкие стальные пилы, как шмели, неустанно жужжали на пристани, где принимался лес, и густой дух сосны, ели и дуба смешивался с пресным и влажным, отдающим рыбьей чешуёй запахом реки.

Артель никопольских судовых плотников делала понтоны, на которых подвозили брусья к месту сооружения перемычек. Доставка леса иным способом была немыслима: по берегу вдоль воды тянулись гранитные скалы, не дававшие проложить железнодорожных путей. Судовые плотники сделали шестнадцать понтонов и шесть лайб, похожих на баркасы.

Старшим среди плотников был Микола Бойчук, коренастый, сивоусый мастер, человек горячего сердца и железного упорства. Гуржеев поручил Бойчуку изготовить большой вместительный «дуб», с которого водолазы могли бы начать работы по обследованию дна. Плотники построили катер с крытой каютой посредине и с якорным воротом на корме. В каюте был стол, две вделанных в стены скамейки и ящик для хранения водолазных костюмов. Слесарь Кучугура установил перед каютой мотор.

— Да вы настоящий корабельщик, Микола Яковлевич! — сказал Гуржеев, когда новенький, выкрашенный в голубую краску катер побежал по сверкающему Днепру.

Бойчук удовлетворённо тронул рукою свои густые запорожские усы.

— Корабль, может, и не сумею, а речной пароход построю. Давайте чертежи,— сейчас верфь заложим.



— Я вам пока поменьше задачу поручу. Сделайте срочно промерный плот.

— Дно выяснять? Можно.

Прежде чем ставить ряжи, надо было очистить дно от песчаных наносов. Гидротехники на Днепре больше чем где-либо знали, что строить на песке нельзя. Вода могла вымыть из-под ряжей любые толщи песку. Это повлекло бы перекос или сдвиг ряжей, а в некоторых случаях — при сильных ливнях или во время половодий — даже и опрокидывание. Требовалось освободить дно от наносов настолько, чтобы открылась основная скалистая поверхность русла. Речь шла не о полной очистке дна, какой в текучей воде достигнуть было бы невозможно, а о таком удалении наносов, благодаря которому ряжи плотно соприкасались бы нижней своей частью с гранитными выступами, то есть плотно «причертились» бы ко дну, как говорил Тихменёв.

Были пущены в ход землесосы. Землесосы запыхтели, застучали своими нефтяными двигателями, втягивая в широкие трубы слои ила и песку. Скалистый гребень дна под водой начал открываться.

Настоящим распорядителем гидротехнических работ на левом берегу был Гуржеев, на правом — инженер Сухонин, высокий, бритоголовый человек с иконописными византийскими глазами. Гуржеева и Сухонина считали здесь основной технической силой, подлинным начальством. Так относились к ним рабочие, так относились и инженеры, которых с каждым днём становилось всё больше и больше. Из разных высших учебных заведений приезжали молодые, не имевшие никакого опыта специалисты, мечтавшие о Днепрострое, как о личном счастьи. Среди этой молодёжи Гуржеев скоро выделил Тернаву, Загоруйко и Ченцова, как наиболее способных. Румяный острослове Тернава, электротехник, через некоторое время ушёл на тепловую электрическую станцию, Загоруйко получил назначение на монтаж камнедробильных заводов. При Гуржееве остался только Ченцов, партиец, и его он сразу сделал своим ближайшим помощником.

В разгар лета приехали из Ленинграда водолазы. Их было три человека: Воронков, Легейда и Аниканов. Приезд водолазов произвёл большое впечатление: никто из рабочих никогда раньше не видел людей, которые могут

опускаться в речные глубины и работать под водой целыми часами. Когда водолазы первый раз появились на своём моторном дубе, на берегу собралась большая толпа. Молодой синеглазый Воронков на виду у всех надел на себя резиновый водолазный костюм — серый просторный скафандр. Скафандр не был похож ни на одну знакомую одежду и сразу сделал Воронкова каким-то особенным, почти загадочным. Кисти рук Воронкова Легейда и Аниканов перевязали белыми тесёмками, чтобы через рукава не проникала вода. Тяжело ступая надетыми на ноги свинцовыми калошами, Воронков подошёл к краю дуба, где спускалась в воду маленькая лесенка. К груди ему прикрепили свинцовый груз тяжестью в пуд. Такую же пудовую лепёшку привесили на спину.

— Вот вам щуп,— сказал Гуржеев, протягивая тонкую стальную палку, напоминающую длинный штык. — Проверьте, не осталось ли где мягкого грунта над донным гранитом.

— Голову давай! — крикнул Легейда в каюту.

Аниканов вынес большой медный шлем, похожий на огромную архиерейскую митру. Шлем осторожно опустили над Воронковым и наглухо привинтили к медному кольцу скафандра. На дубе вместо Воронкова стояло серое медноголовое чудовище с большими стеклянными глазами. Чудовище приблизилось к лесенке и начало по ступеням уходить в воду. Скафандр погрузился в Днепр, медная митра исчезла. Над тем местом, где она пропала, забурлили бесчисленные пузыри. Из воды выставлялся только рубчатый шланг, через который подавался Воронкову воздух, да тонкая сигнальная верёвка. У водолазов было шестнадцать различных сигналов, напоминавших собою телеграфный код. Посредством этих сигналов Воронков мог давать знать о себе со дна реки.

Легейда стоял на воздушном шланге, Аниканов — на сигнале.

— Смотри, не утоп ли? — забеспокоились в толпе.

— Жив!

— А почему так долго нет? Он ведь не рыба. Простоишь тут стукан-стуканом, а он и захлебнётся.

— Я же слышу! — насмешливо возразил Аниканов.— Верёвка-то вперёд просится, идёт из руки.



Приблизительно через час, когда катер был на середине левого протока, Аниканов различил сигнал: – Поднимай наверх!

Аниканов потянул верёвку. Скоро из воды показался огромный медный шар. Серое, сверкающее на солнце мокрое чудовище взобралось по лесенке и ступило тяжёлыми металлическими ногами на палубу дуба. С широкого скафандра стекала вода. Аниканов и Легейда бросились отвинчивать шлем. Открылось розовое, немного утомлённое лицо Воронкова.

— Всё видели? — спросил Гуржеев.

— Всё до Чёрного острова.

Воронкова увели раздеваться в каюту. В каюте он рассказал, где и на какую глубину лежит по дну песок. Сейчас же опять были пущены в ход землесосы — по всей обследованной Воронковым полосе.

С постройки домов и бараков Ивась перешёл на заготовку ряжей. В бригаде у него были Витька Савичев, Семён Волошко и гармонист Пересада. Азартно взялся за новую работу и Махоткин.

— Теши кряжи, вяжи ряжи, себя кажи! — приговаривал он. — А ну, плотницкая душа, подтянись!

Топор играл и звенел у него в руках.

— Люблю дерево, ребятушки, у дерева дух бессмертный, особливо у сосны. А как щепа ломится — сердце замирает!..

Плотники соорудили два широких стапеля — два помоста из брёвен. Каждый стапель половиной своей находился на берегу, второй же частью держался на козлах, над водой. На этих стапелях начали рубить и сшивать ряжевые клетки. С лесной пристани пошли на понтонах и лайбах брусья. Около стапелей брусья выгружались и складывались в кучу.

— Давай, давай, хлопцы! Шевелись веселей, время не ждёт,— подбадривал Ивась.

— А куда торопиться? До вечера ещё год. Утопаешься,— беззаботно отзывался кто-нибудь.

— А рыбу ловить!

— Поедешь?

— Обязательно! Лодка есть. Сеть я выпросил, Закинем вон у того красного камня. Такую артельную уху закатим, только ну!..

— С луком, с перцем?

— Со всеми прикрасами! Да покруче, погуще, пожирней,— настоящую запорожскую! Вчера мы с Семёном попробовали, сварили. Вот уха была! Рыба большая, гулевая, сытая,— язык проглотишь.

— Погоди, не рассказывай. Есть захочу!— кричал Махоткин. — Погоди, кончим.

Брусья шли быстрей, топоры стучали звонче, буравы сверлили жарче.

Рыжебородый, курносый, пружинистый, Махоткин был в непрерывном движении. Зеленоватые глаза его светились такой напористой, такой нетерпеливой силой, будто он готов был сразу всё схватить и сразу, в один день, всё сделать. Недаром, нет, недаром прошла для него жизнь в черниговских лесах!

Махоткин указывал молодым ребятам, вошедшим в его бригаду:

— Сделай щёчку почище, сними бочок у бруса. Да со стороны, как петух, не заглядывай, а то скривишь. Смотри на бородку. Не в обух,— обух слепой. Только на бородку. Тогда пойдёт, как по отвесу.

Или вдруг замечал неисправность у другого парня:

— Ты что же, Николай, топор не подточил? Он у тебя жуёт, а не рубит. Куда это годится? Будто корова обжевала,— смотреть на твой брус тошно.

Третьему он наставительно говорил:

— Слушай, Тарас. Вот ты топорище дубовое сделал. Это же смех! Топорище у настоящего плотника всегда должно берёзовое быть. Берёзка в руке мягка, ловка, гладка, уёмиста. Её не слышишь. Клён тоже гладок, да отдача жёстка. А дуб куда же,— он и для колуна терпуг!

Брусья ложились ровно и прочно. Ряж поднимался, как светлый дом. Над стапелями горело жаркое солнце. Днепр ослепительно сверкал прямо в глаза.

## VI

Ряжи собирались в клетку. Брусья скреплялись друг с другом длинными железными штырями, которые назывались нагелями. Нагели забивались кувалдами в просверлённые дыры в местах пересечения продольных и поперечных брусьев. Верхние венцы ряжей соединялись винтовыми



глухарями в полметра длиной. Сверление дыр в брусьях было трудным делом. Оно отнимало много времени. Забивка каждого нагеля требовала до сорока ударов тяжёлой кувалды.

К стапелям приходил из партийного комитета Косачёв, бывший путиловский рабочий, быстрый, вёрткий, всегда озабоченный человек, с жёлтыми соломенными усами. Под ногами его хрустели свежие щепки.

— Ловко вы прошиваете брёвнышки! — говорил он, здороваясь.

— Бьём, как из пушки.

— Не раздёрнутся?

— Куда! Крепости им на сто лет теперь хватит.

— Как жизнь?

— Летит! Летит, как дым, ничем не поймаешь,— хоть бы к счастью приворотила,— горячо ответил однажды Махоткин.

— Чего нехватает?

— Да ведь ты не дашь!— задорно возразил Махоткин и воткнул топор.

— А вдруг?

— Ни вдруг, ни понемножку, никак не дашь. Мне бы вот годков сбавить, красоты додать да голос хороший,— я бы все ночи наскрозь до самой зимы песни играл.

— Ты и так хорош. А с красотой да с молодостью, да ещё с голосом, пожалуй, затмение ума у девчат произведёшь.

Когда первый ряж построили доверху, его на катках покатили со стапеля в реку. Чтобы обеспечить движению равномерность, к углам были прикреплены стальные тросы, разматывавшиеся с ручных лебёдок. Желтовато-белый высокий ряж, душисто пахнувший хвоей, плавно съехал в воду. Лебёдками его подвели на нужное место и начали погружать на дно. Для этого ещё на стапеле квадратные клетки или банки, как называли их плотники, были зашиты снизу, через одну, горбылями. По ряжу уложили доски, и грузчики стали подвозить на тачках битый камень. Камень сбрасывали в глухие банки, и ряж медленно оседал всё ниже и ниже. В это время верх ряжа плотники наращивали новыми венцами. Водолаз Воронков оттянул на верёвках все подпиленные снизу брусья, и

ряж опустился в реку как раз по выступам и углублениям дна. Тогда тачечники стали загружать все банки подряд. Сыпавшийся из сквозных банок камень заполнял неровности дна, подклинивая ряж со всех сторон, придавая ему незыблемую устойчивость.

Когда Воронков поднялся из воды и Легейда отвинтил с его головы шлем, Ивась с любопытством спросил:

— Ну, как? Угадали?

— Будто в футляр сел.

— Ай да плотнички! — не удержался Махоткин. — Я же говорил — первейший народ на Днепрострое будут. Так оно и выходит.

Он, как двадцатилетний парень, лихо сбил на макушку кепку.

— Ладно, ладно, Махоткин. Посмотрим, что ты запоёшь, когда бетонщики придут! — насмешливо крикнул Пересада.

— А бетонщики без плотников шагу ступить не смогут. Хо! Тогда нам самый почёт и начнётся. Ты что, не в бетонщики ли нацеливаешься?

— Может, и нацеливаюсь.

Э, малохольный! Плотник — артист, дерево душе его — игра! Для меня топор — что для тебя гармонь. Как же можно от этого отступиться?

— А если интересно?

— Нашёл интерес! Деревом деды-прадеды наши занимались. Дерево жизнь украшает. А бетон что? Каменная грязь, только и всего.

На следующий день в Днепр спустили второй ряж и соединили его с первым. Перемычка начала быстро расти.

Там, где на дне реки оказывались крутые зубцы скал, приходилось прибегать к помощи подрывников. Водолазы выясняли размер гранитных выступов, подрывники заготовляли соответствующий заряд. Держа в руках коробку динамита с хвостом электрического провода, водолаз опускался в глубину реки и закладывал заряд под скалу. Затем он поднимался наверх, и подрывник включал ток. Взрыв глухо лопался под водой, река над этим местом вскипала мутными бурлящими ключами. Водолаз опускался снова, чтобы осмотреть, снесены ли выступы. Если оставался мешающий рог, закладывался новый заряд.

Самым искусным подрывником на правом берегу был



Дробот. Невысокий, деловито сосредоточенный, молчаливый, с маленькими умными глазками, он сидел, составляя заряды, как охваченный счастливой мыслью изобретатель. Он чутьём соразмерял силу динамита с препятствием И всегда угадывал, сколько надо взять этой коричневой, повидлообразвой массы, чтобы сбить те или иные камни. Ему помогал молодой парень Татаренко, недавно пришедший из Волынского лесного села. Татаренко был полон взволнованного любопытства к тайнам подрывного дела, как к захватывающей дух игре. Казалось, всё внутри у него горит беспокойной, ни на минуту не утихающей жадностью к вещам, к инструментам, к приборам,— ему всё хотелось потрогать, пощупать, понюхать, чтобы узнать, как и из чего это сделано.

На средине правого протока Воронков неожиданно обнаружил гранитный рог высотой около двух метров.

— Готовь лунку. Я сейчас,— сказал Дробот. Воронков снова пошёл на дно, а Дробот принялся укладывать в коробку динамит. Татаренко, присев на корточки, следил за каждым его движением.

— Легейда, вызывай Воронкова!— объявил через несколько минут Дробот, приподнимая обеими руками тяжёлую коробку.

— Готово?

Дробот ничего не ответил и направился к концу ряжа, к тому месту, где должен был вынырнуть из воды Воронков. Сев осторожно на крайний брус над самой рекой, он поставил коробку с динамитом между ног, слегка сжимая её коленями, чтобы не выпала.

— Татаренко, друг! — спохватившись, озабоченно сказал он.— Беги, проверь провода. Да посмотри, есть ли соединение с детонатором.

Татаренко неуклюже взмахнул руками, вскочил и готовно, как-то по-куриному побежал. Хорошую нашёл он работу! Многие в селе, там, на Волыни, подивились бы и позавидовали ему. Шуточное ли дело — орудовать громовыми взрывами, от которых скалы разлетаются щебнем!..

Провод был в порядке. Татаренко ощупал его нетерпеливыми пальцами. Наконец нашёл и детонатор. Провод как бы врастал в него. «А може, не действует? — внезапно испугался Татаренко.— Може, испытание зробить?.. Дроблю включение... Чорт его душу знает, бува якась там

размычка. Ще скажуть: «Не догадався»... А цикава штука, эта электрика. До неё без головы не подступайся!»

Рубильник чернел перед ним, как жезл власти. Он схватил его рукой. Головокружительное колебание налетело откуда-то снизу, из глубины груди. Но через мгновение Татаренко заглушил, поборол его. Он вжал рубильник в щит. И тотчас же потрясающий удар грома качнул, подкинул под ногами землю. Татаренко успел оглянутся: столб огня, дыма, пыли, чего-то чёрного фонтаном взлетел над ряжем в небо. Волной воздуха Татаренко сбило на песок. Холодея от ужаса, он попробовал подняться, но онемели, отнялись, не слушались ноги. Наконец удалось вскочить, и он побежал по щепам за накаты брусьев и брёвен в степь.

За минуту перед взрывом, подбив на дне под скалой лунку, Воронков начал подниматься наверх. Верёвка Легейды мерно тянула его. Чем выше, тем вода становилась всё светлее и яснее, будто занималась над головою заря. Мелькнула стая крупных рыб. Они серой молнией пронеслись мимо глазных стёкол скафандра. И вдруг что-то тупо ударило сверху, будто с большой высоты тычком упало толстое бревно. И сразу ослабела, оборвалась верёвка и перестал поступать воздух. «Что такое? Беда?..» Воронков ощутил, что опускается на дно. Он схватился за брус ряжа и, как по лестнице, начал карабкаться по клеткам. Свинцовые калоши мешали, привешенный к спине груз тянул назад, опрокидывал. Воздуху не стало, шланг опустел, дышать было нечем. Воронков из последних сил хватался руками, поднимал отяжелевшие ноги. Свет мерк у него в глазах. Задыхаясь, теряя сознание, высунулся из воды на поверхность. Сквозь стёкла он увидел на брусьях кровь. «Кого это убило? Кто погиб? Не Аниканов ли? Кусок человеческой руки с растопыренными пальцами топорщился на окровавленном дереве. Воронков повалился на ряжи.

Со стапеля подбежал Ивась. Он неумело стал отвинчивать шлем. Открылось бледное, помертвевшее лицо. В эту минуту подоспели Волошко, Савичев, Пересада. Вчетвером они перенесли Воронкова на берег.

— Качай руки! Делай дыхание! — крикнул Махоткин.

От Дробота остались только брызги красного мяса да обрывок левой руки.



Воронков скоро пришёл в себя.

— Легейда... Аниканов!.. — испуганно позвал он.

Водолазов, стоявших на шланге и на сигнале, силой взрыва отбросило метров на двадцать в сторону. Они лежали на берегу без всякого движения. Около них суетилась высокая белолицая девушка, которую Ивась видел несколько раз в артели землекопов. Это была Надя Ракитная из-под Кременчуга. Она сорвала с себя косынку, передник, намочила в Днепре и, не выжимая, прикладывала к голове то Аниканову, то Легейде. Со всего берега к ряжам сбегались люди.

— А где этот чорт пучеглазый? — крикнул Семён Волошко.

— Кто?

— Да парень, который с Дроботом работал? Татаренки нигде не было.

— Убил человека и смылся.

— Теперь его не найдёшь, проклятого...

— И фамилии никто не знает.

Но подрывники знали.

— Татаренко фамилия ему! И родина известна. Из-под земли достанем!

Прибежал Гуржеев. Он отправил Легейду и Аниканова в больницу и сейчас же позвонил в милицию. Потом вернулся на стапель. Воронков сидел, прислонившись к готовому для спуска ряжу.

Ну, как, Сергей Фёдорович? — спросил Гуржеев.

— Жив.

— Хорошо, что раньше из воды не вышли.

— Плакала бы теперь жинка...

— Дело горит из-за беды из-за этой!

— Дайте отдышусь немного.

— Пойдёте?

— Не итти теперь нельзя.

Тогда Гуржеев совершенно новым, дрогнувшим голосом обратился к Ивасю и Семёну Волошко:

— Ребята! Сергей Фёдорович пойдёт в Днепр. Ряж обязательно надо спустить сегодня. Становитесь на сигнал и на шланг вместо водолазов.

Воронков, сидевший на брусьях, поднялся. Лицо его было бледно.

— Подрывники, делайте новый заряд,— распорядился он тихо.

Потом обернулся к Ивасю:

— Ты, брат, возьмёшь сигнал. Слушай верёвку, понимай. Вот так буду дёргать,— пускай дальше. А вот так,— тащи назад. А ты, Волошко, бери шланг, подавай мне воздух.

Старший подрывник набил большую коробку динамитом.

Воронков потрогал коробку и кивнул Ивасю:

— Навинчивай шлем.

— Осторожно, не урони!.. — предупредил подрывник.

Воронков бережно, будто дорогую спелую дыню, принял динамит и пошёл в воду. Река над круглым шлем сомкнулась. Густо забулькали пузыри. Некоторое время верёвка из зажатой руки Ивася всё уходила и уходила вниз. Наконец остановилась, онемела.

Прошло минут десять.

— Что у тебя? — спросил Волошко.

— Молчит.

— Хоть бы чуть-чуть шланг шевельнулся.

— А если обморок под водой?

— Пропадёт...

— Гуржеева бы позвать...— сказал Ивась.

— Куда он в такое время отлучился?

Сигнал оставался в неподвижности минут двадцать. Потом вдруг — дёрг, дёрг! Верёвка быстро забилась в руке. Ивась, волнуясь, потянул её на себя.

Воронков вынырнул возле лесенки. Вскарабкался по ступеням и утомлённо сел на брус.

— Лунка была мала,— сказал он, когда Ивась отвинтил шлем. — Пришлось ломиком поддалбливать. Включай подрывник, ток!

Взрыв глухо стукнул под водой. В кипучих бурунах со дна всплыла оглушённая, убитая щука. Её понесло течением к Хортице. Воронков снова спустился на дно.

— Не снесли, а сбрили,— сказал он, поднявшись. Глаза его удовлетворённо сияли. — Теперь можно ряж подводить.

Плотники покатили со стапеля высокий новый ряж. Круглые катки под тяжестью его загудели. Брусья шумно всплеснули воду. Натянутые лебёдками тросы повели ряж на место.



## VII

Солнце сверкало по Днепру, берега за бараками зеленели густой степной травой. С юга дул тёплый ветер. День был жаркий и светлый.

— Ребята, событие! — крикнул Витька Савичев, прибежав из партийного комитета. — Куйбышев приехал.

— Кто? — переспросил Махоткин.

Председатель Высшего Совета Народного Хозяйства... Слыхал?

— Может, ты не слыхал. А я его в Киеве на митинге вот так, рукой подать, видел. Где ж он, в конторе?

— Был в управлении, сейчас, говорят, берега осматривать поедет.

— А ну, хлопцы, давай поворачивайся! — сразу подтянулся, приосанился Махоткин.— Может, и у нас побывает.

День разгорался ослепительно ярко. По берегам сочно стучали топоры, пахло свежим смолистым тёсом, сосновыми опилками. Густо шумели продольные пилы, резавшие брёвна.

Куйбышев отказался от автомобиля. С Буровым, Тихменёвым, Сухониным и Косачёвым он обошёл правый берег, посмотрел на работу каменоломов, на сооружение временной тепловой электрической станции и компрессорной, спустился к реке, сел в моторный катер, переехал на левую сторону. Там его встретил Гуржеев. На берегу ещё видны были следы скалы, которую народные легенды связывали с именем кошевого запорожского атамана Сагайдачного.

Куйбышев остановился.

В синеве журчали жаворонки... Казалось, само летнее солнце звенело и пело над берегами.

— Вот где жизнь построим! – сказал Куйбышев, оглядывая с высоты начатые работы.

В волнении он снял белую фуражку. Горячий степной ветер взвеял его густые вьющиеся волосы.

— А, пожалуй, крайние протоки загородите в этом году! Честное слово, загородите.

— Мы рассчитываем больше сделать,— сказал начальник строительства Буров. — Все подсобные постройки хотим поднять до морозов.

— Не много ли загадываете?

— Если не запоздают паровозные краны и экскаваторы, справимся, Валерьян Владимирович.

— О, это был бы успех!

— Остановка только за машинами и за деньгами.

— Деньги дадим.

Куйбышев подошёл к плотникам.

— Здравствуйте, товарищи! Что лучше — дом строить или ряжи вязать?

Махоткин оглянулся на Семёна Волошко, на Ивася, на соседних бородачей, лёгким движением воткнул топор в бревно.

— Что дом, что ряжи,— дерево зовёт одинаково. Дерево душе играет всегда. Домов мы понастроили, слава те господи, как грибов. А тут новое,— никто во сне не видел раньше. Понятно, заманивает.

— Интересно?

— Лес хорош. Чист, бел, запашист. Прямо воску ярого лесины попадают. И опять же уйма его нескончаемая. Подойдёшь утром,— птицы небесные! Горы! А главное — река принимает, бунту не делает. Какой ряж ни подведём на линию — любой берёт.

— Имейте в виду: к осени, к ледоставу, надо успеть запереть и левый проток и правый.

— Ничего хитрого. Запрём.

— Надо поставить по две стены ряжей, чтобы внутри получились отгороженные участки для котлованов.

— Ну-к что ж. Пусть инженеры правильно распорядятся, а мы всё сделаем.

Куйбышев улыбнулся.

— Значит, дело за инженерами?

— За вами, Валерьян Владимирович, и за инженерами. А рабочий человек всё может. Смотрите, чего наворочали! Разве не любо глазом окинуть?

И действительно, оба берега были похожи на огромный город, строящийся по какому-то волшебству несметным воинством плотников и землекопов.

В дощатой конторе Гуржеева, прилепившейся на самом береговом обрыве, Куйбышев выслушал доклады инженеров. На выстроганных тесовых стенах висели синьки, испещрённые тысячами белых линий. Каждая линия, каждый изгиб, каждое пересечение были стократно исчислены и



стократно проверены математической мыслью. Сложнейшие узоры синек звучали, подобно оркестру, со всех сторон.

Вечером Куйбышев пришёл на собрание комсомольцев. Войдя в переполненный зал в одном из старых кичкасских домов, он прислонился к стене около двери, чтобы послушать, какие дела решает молодёжь. Но его тотчас же узнали. Радостные рукоплескания вспыхнули и полетели по залу. Комсомольцы встали, как один человек, и стоя продолжали греметь ладонями.

— В президиум! В президиум! — закричали отовсюду. Куйбышев, улыбаясь, прошёл к столу.

— Завидую вам, товарищи,— сказал он. — Так и хочется взять топор или пилу и войти в ваши весёлые ряды. Вы будете строить замечательную плотину и величайшую на нашем материке гидростанцию. По-моему, именно вы, комсомольцы, должны стать здесь самой главной созидательной силой. Я надеюсь, что скоро партия и правительство услышат о ваших успехах.

Куйбышев говорил о значении Днепростроя, о силе электрической энергии, преображающей жизнь. Высококачественная сталь, алюминий, магний, ферроманган, всё, что нужно для хозяйственного укрепления советской страны, может быть получено на мощных заводах, которые приведёт в действие днепровский ток.

— Развитие техники в капиталистических странах с каждым днём идёт вперёд, и мы ни в чём не должны отставать,— говорил он. — Чем совершеннее машины, орудия, станки, приборы, тем строже требования конструктора к металлургу: ему нужен металл всё более и более высоких механических качеств. Препятствием к широкому применению высококачественной стали в машиностроении является слишком большая цена этой стали. Дешёвый электрический ток даст нам возможность изготовлять самые замечательные стали. В этом смысле Днепровская энергия есть революционная энергия: она откроет перед нами новые, неизвестные доселе формы производства. Задачи чёрной и цветной металлургии являются для нас сейчас основными. Алюминий, никель, магний нужны в целом ряде ответственейших производств. До революции этих металлов у нас не выплавлялось ни одного грамма. А марганцевый чугун — ферроманган! Он имеет огромное значение при варке особо твёрдых,

броневых и быстрорежущих сталей. Ни один сталелитейный завод в мире не обходится без ферромангана. Царская Россия не умела делать хорошего ферромангана. Богатейшая, совершенно бесподобная по своим свойствам чиатурская марганцевая руда, добывающаяся у нас на Кавказе, продавалась за границу. Оттуда русские металлопромышленники ввозили готовый ферромарганец на свои южные и уральские заводы и платили за него чистым золотом. Новые заводы, которые мы построим здесь около Днепровской гидростанции, по замыслу Иосиф Виссарионовича Сталина должны дать свой собственный советский ферромарганец, не уступающий в качественном отношении самым лучшим европейским и американским маркам. У нас будет отличная инструментальная сталь, приближающаяся по твёрдости к алмазу. Свёрла, резцы, станки, машины, делающие машины,— всё даст нам днепровская сталь. И всё это можете сделать вы. Надо немедленно начать учиться разным специальностям, чтобы как можно скорее построить плотину и гидростанцию, чтобы у вас не было таких несчастных случаев, как с Дроботом.

Куйбышев просидел с комсомольцами целый вечер. Его большие, потемневшие от возбуждения глаза светились неиссякаемой молодостью.

Рано утром, на восходе солнца, он уехал *в* Москву.

## VIII

Сколько раз вспоминал Косачёв декабрьский вечер двадцатого года, когда он делегатом Восьмого Всероссийского Съезда Советов сидел в зале Большого государственного оперного театра в Москве, вечер, который переломил, по-другому направил всю его судьбу.

Он только что приехал с фронта, как и сотни других людей, которые в заношенных солдатских шинелях заполнили театр до последних рядов. Левая его рука была забинтована, её ещё жгла рана от врангелевской пули. Подошвы сапог на фронте проносились. В ходьбе по снежным лужам московских улиц у Косачёва весь день мокли и стыли ноги. Он привёз с собой в кармане только небольшой кусок чёрствого хлеба. Голод томил его



с самого утра. Много бедности и нищеты видели глаза в пути, на станциях и даже в Москве.

Но начался вечер, небывалое волнение наполнило сердце, и картины скудости жизни потускнели, стёрлись, отодвинулись куда-то далеко. Делегаты ждали выступления Ленина, ждали человека, которого почтительно любили, ещё никогда не встречаясь с ним. А Косачёв видел его раньше, видел поздней осенней ночью в девятьсот семнадцатом году на Путиловском заводе в Петрограде, когда Ленин неожиданно приехал проверить, как идёт изготовление пушек и броневиков, нужных для подавления белогвардейских восстаний.

С тех пор Косачёв с винтовкой в руках бился под Гатчиной, под Орлом, под Воронежем, под Харьковом, под Ростовом, в донских станицах и на Перекопе. Усталость от боевых скитаний, от постоянной напряжённости, от непрерывной нервной настороженности испытывал он во всём теле, сидя в кресле нетопленного театра. Гул вражеских пушек, беспощадный стук пулемётов, налёты бронепоездов, бессонные ночи в степи, в лесу, в болотах, разведки, засады, фланговые обходы, прорывы, кровавые бои — всё это ещё было живо в памяти.

Кругом алел бархат лож, мерцала позолота резных барьеров, приглушённое жужжанье голосов наполняло гигантское здание. Косачёв сидел, тесно прижавшись к спинке кресла, чтобы было теплее, и невольно думал о жене Аннушке, о сыне Петюшке. Он оставил их с тремя рублями денег за Нарвской заставой в Петрограде и ушёл защищать революцию. Как часто сжималось тоской всё его существо, когда он вспоминал Аннушку, тихую, безропотную, ласковую, трудолюбивую, умевшую жить в мире даже с самыми тяжёлыми соседями, и бледного, худенького Петюшку! Но жизнь требовала борьбы, самоотверженности, настойчивости, мужества, победы.

И вот, наконец, после бесчисленных лишений, после всяческих опасностей победа достигнута. Вражеские армии разгромлены, раздавлены, смешаны с землёй.

На сцене висела от потолка до пола, невиданных размеров карта Советской России. Карта говорила о необъятности освобождённых пространств, о силе народа и о бескрайности нужды, которая, подобно болезни, сковывала жизнь.

Внезапно вышел Ленин, вышел быстрой деловой походкой. Говор сразу смолк, жужжанье голосов оборвалось, тишина на мгновение погасила все звуки. Даже сердце захолонуло у Косачёва. А потом громом раскатились рукоплескания. Ленин положил на трибуну папку с материалами, вынул из папки маленький листок бумаги. Желтели в хрустальных подвесках старинные люстры, отражавшие слабый накал ламп. Ленин взглянул в зал, в бесчисленность устремлённых к нему человеческих лиц и глаз, провёл обеими руками по вискам, точно приглаживая волосы или успокаивая кипение мыслей, и начал говорить.

Все трудности борьбы с врагом, с хозяйственной разрухой, сложность международного положения и наличие злых, ещё не обезвреженных сил внутри страны были показаны Лениным с необыкновенной убедительностью. Делегаты смотрели на него с восторгом, с надеждой, с непоколебимой верой, как на мудреца и друга, который выведет их из всех бед и напастей. Ленин говорил об электрификации России, о новой судьбе страны, о победе жизни над злобой и тупостью старого мира. Он говорили о великих строительных задачах, стоящих перед трудящимся человеком. Лицо его было бледно, голос звучал пророческой силой, что-то проникновенное, покоряющее светилось во всём его существе. Сила Ленина увлекала, зачаровывала зал. Она взяла тогда всего Косачёва. Видение будущего предстало перед ним в неожиданном великолепии, он почувствовал осуществимость недостижимого, того, что казалось чудом.

Потом говорили инженеры, разработавшие по указанию Ленина план электрификации. Днепровская гидростанция была самым ярким пунктом в этом плане. Рассказ о покорении древних порогов казался в тот вечер каким-то волшебством. Во время доклада на карте, висевшей на сцене, вспыхивали лампочки, показывавшие, где именно возникнут электрические станции. Лампочки звёздами зажигались среди сёл и городов. Это был свет будущего, свет счастья и благоденствия. Слух с жадностью ловил слова, перечислявшие источники богатств, которые скоро начнут служить людям.

— Волховская станция будет вырабатывать энергию; на силе реки Волхова. Шатурская — на торфе. Штеровская — на угле.



Днепровская — на падении порогов. Угличская, Самарская и Камышинская — на мощном движении Волги ...

Нищая, измученная страна наполнялась небывалым сиянием. Косачёв смотрел на преображение родины изумлёнными глазами. Слишком тяжела была окружающая жизнь. Вся советская земля пребывала в разорении, исхлёстанная пулями белогвардейцев, интервентов, бандитов, «батек» и «полубатек». Грязь, нищета, сыпняк, голод душили города. Не было ни дров, ни угля, ни света. Рабочим Москвы и Петрограда выдавали по восьмушке хлеба в день.

И в эти неслыханно трудные годы началось осуществление плана электрификации. Именно тогда приступили к постройке Шатурской, Каширской и Волховской электрических станций.

Сейчас же по окончании съезда Косачёв был послан на Шатуру. Через год он переехал в Каширу, а из Каширы попал на Волхов.

На Днепрострой он приехал с семьёй. У него было уже пять человек детей — все сыновья. Старший, Петюшка, учился в седьмом классе новой школы на левом берегу, следующий за ним, Димка, в первом, а трое младших ходили в детский сад.

И сыновья давали Косачёву радость, только нехватало времени ими заниматься. Сыновей вела Анна Сергеевна, Аннушка, попрежнему неутомимая и ласковая, как и за Нарвской заставой, когда Косачёв работал слесарем на Путиловском заводе. На Днепрострое он с первых же дней был избран в бюро партийного комитета, все силы его уходили на организацию основных строительных кадров. С утра до ночи приходилось носиться по участкам то на одном берегу, то на другом, чтобы знать каждого добросовестного труженика, чтобы вовремя помочь там, где помощь была необходима. И в этой новой работе он нашёл много крепких, хороших молодых ребят, к которым испытывал почти такие же чувства, как и к своим собственным сыновьям.

## IX

В городе Запорожье, в двенадцати километрах от Кичкаса, открылась биржа труда. Через неё должны были проходить все, кто хотел работать на строительстве. Скоро послышались раздражённые жалобы на заносчивых регистраторов, сидевших за фанерной перегородкой:

— Крутят, чума их задави! И чего хотят, не поймёшь. Не то лисьи, не то волчьи думки в уме держат.

Приехал с Шатурской электрической станции бывший матрос Балтийского флота, Прокоп Зернов, румяный, широколицый, ясноглазый, он вошёл в проплёванное и прокуренное помещение биржи и подал в окошечко свои документы.

— Какой специальности? — спросили его из-за перегородки.

— Электрик.

— Губернии?

— Родился в Саратовской, а жил везде. За окошечком пошептались.

— Электриков нам не треба.

Решительная рука вышлепнула документы обратно.

— Как это не треба?— изумился Зернов. Он почти всунул свою круглую, коротко остриженную голову в четырёхугольную узкую прорезь регистрационного окна. — Электрическая станция строится да электриков не треба?

— Вот построим, тогда, может, потребуются. А зараз совсем другие специалисты нужны.

— Я работал на постройке Шатурки. У меня опыт есть.

— Всё равно.

— Да вы что, ребята?

— Тут не ребята, а биржа праци!

— Здорово! — ошеломлённо проговорил Прокоп Зернов.— Это в какую же страну я заехал?.. А слесари вам нужны? Я могу слесарем работать.

— Документы есть?

— Ставьте на пробу. Любую пробу выдержу, не сходя с места. Меня здесь инженеры знают, которые Шатурку построили.

— Инженеры?



— Все шатурские инженеры могут рекомендацию дать.

— Тут рекомендации недействительны. Советская власть протекций не признаёт.

— Я дрался за советскую власть и очень хорошо знаю, чего она не признаёт. Я в бою был ранен, чуть не погиб от белогвардейцев, а ты что делал в то время, скажи, пожалуйста?

— Проходи, проходи, не разводи демагогию.

— Чего же тебе надо?

— Землю копать — возьмём.

— Это электрика-то землю копать? Слесаря? Давай сюда заведующего.

После долгих разговоров Прокопа Зернова в конце концов записали и направили на правый берег. Он вышел из биржи, как из бани.

— Тьфу ты, чорт! Хоть бы вас ветром свежим каким обдуло!..

На улице Прокопа Зернова косо встретила кучка людей, сидевших на корточках у деревянного забора. Хмурые запорожские мещане неторопливо покуривали чёрные люльки. Один из них, озорной, быстроглазый, вызывающе спросил:

— Шо, хлиб наш приихав йисты?

— Чей это ваш?

— Ну, звычайно, украинский. Зернов рассердился.

— Я свой хлеб ем! Вот этими руками заработанный. Вот этими мозолями! Видишь? Руки мне хлеб дают, а не ты. Руки да голова. А твоего я не едал и есть не буду.

— О?..

— Давай, становись со мной на работу. Посмотрим, что ты умеешь. Люльку спалить да языком трепать?

— Поезжай, звидки приихав!

— Воя как!..

— А ты думав як?

— Ну, знаешь, таких лопухов я давно не видел. Кто в тебя глупости столько накачал, просто даже удивительно. Не то Махно, не то Петлюра, не то какой-нибудь батько болотный. Тот, за окошком, как петух талдычит, ты тут со своей люлькой десять лет проснуться не можешь. Ой, брат, смотри, ошибёшься! Просидишь, как Емеля с куделей, под забором!..

Поступив на работу, Зернов с недоумением увидел много непонятного. По каким-то упрямым причинам в бараках создавались отдельные группировки, недоброжелательно относившиеся одна к другой. Таких группировок, по наблюдениям Зернова, было три: одну составляли волховстроевцы, другую — шатурцы, третью — местные запорожцы. Первые пришли на Днепр с Волховского строительства, где хорошо сработались и хорошо узнали друг друга. Это были главным образом рабочие и мастера гидротехнического отдела, переехавшие за Тихменёвым, за Гуржеевым и за Сухониным. По опыту, полученному на Волхове, по численности, по общему объёму работ, какой отводился в первые годы гидротехническим сооружениям, волховстроевцы полагали, что именно им, а не кому-нибудь другому должна принадлежать ведущая роль на Днепре.

Но горды, самонадеянны были и шатурцы. Большинство их составилось из электротехников, успешно смонтировавших Шатурскую торфяную электрическую станцию на Петрово-Козельских болотах близ Москвы. Свой опыт и свои практические знания они ставили очень высоко.

Местная, запорожская группа главенствовала в центральных механических мастерских. Это были слесари, токари, кузнецы, формовщики, литейщики. Среди них встречались вышедшие из зажиточных селянских семей.

В начале мировой войны, когда запорожские и кичкасские заводы находились в руках мелких владельцев, расторопные мужички из окрестных сёл, чтобы спасти своих сыновей от фронта, бросились с поклоном к заводчикам. Кроме поклонов, они вели и везли коров, свиней, поросят, овец, бочки масла, мёд.

В течение войны, пока другие погибали от снарядов и пулемётов, догадливые парни получили хорошую квалификацию и в революцию вошли под видом рабочих-металлистов, хотя по своим настроениям и имущественному положению были коренными собственниками. Устроившись теперь на строительстве в центральных механических мастерских, они считали иногородних рабочих нежелательными конкурентами, пришлым, посторонним людом.

К концу лета глухая борьба между группами стала выливаться в стычках отдельных самолюбий, в ненужных конфликтах.



Обвиняли друг друга в производственных неполадках, в промахах, недоглядах, с каким-то злорадством и торжеством перечисляли чужие ошибки, пререкались у верстаков, спорили из-за инструмента, из-за неправильно выданного наряда. Слепая непримиримость доходила у некоторых до дикости, до чёрной, ожесточённой вражды.

Парторганизатор Косачёв метался по строительству, стараясь найти, обнаружить, уличить ошалелых подкопщиков друг под друга.

Производственные совещания нередко превращались в арену групповой борьбы, в схватку для сведения личных счетов. Это вызывало вспышки досады, даже злости и у Косачёва и у Зернова.

— Коммунистов, Прокоп, мало, фундаменту крепкого нет. Базар! Не разбери-бери... — жаловался Косачёв.— Примечай честных, работящих людей. На них надо опираться, им рост давать.

Они испытывали тёплые дружеские чувства друг к другу, эти два крепких, неутомимых человека. Горячее отношение к жизни сблизило их между собою с первых же дней.

А когда однажды вечером, вспоминая прошлое, Прокоп Зернов сказал, что в ночь на двадцать пятое Октября в семнадцатом году он участвовал в штурме Зимнего дворца, Косачёв вскочил с места, заулыбался, засиял, будто вдруг узнал в матросе брата, с которым находился в безвестной разлуке много долгих лет.

— Ты откуда же шёл, друг? Какой дорогой?— воскликнул Косачёв, схватив Прокопа за плечи.

— От Балтийского экипажа, прямо от гвардейских казарм.

— А я от Нарвской заставы, через весь Невский. Потом повернули под арку, мимо главного штаба...

— Батюшки! Мы же рядом были, Никита Матвеевич! Ты возле Александровской колонны полз? Юнкерские пули над головой у тебя свистели? Я ведь тогда всю ночь в карауле во дворце простоял.

— Чорт возьми! Мы же встретиться могли. А, как министры за круглым столом под зелёной лампой сидели, видел?

— Господи!.. Будто заколдованные петухи!..

И они, волнуясь, начали вспоминать подробности той огромной ночи, которая по-новому решила судьбу страны и судьбу их самих. Им казалось, что они кровно связаны навек, соединены нерасторжимо. Это их радовало, наполняя общностью больших чувств, которые, казалось, нужны были здесь не меньше, чем в незабвенную октябрьскую ночь.

А народ всё прибывал и прибывал. Тысячи людей за недостатком бараков жили в куренях, шалашах и балаганах вдоль реки. Тут были костромичи и вятичи в добротных лыковых лаптях, белорусы в дубачах, сплетённых из драни молодого дуба, туляки в чунях и шептунах из тонких пеньковых верёвочек. Тут были татары в волосяшниках из конских хвостов и грив, волынские и подольские крестьяне в постолах, сделанных из сырой, по-особому прокопчённой в берёзовом дыму кожи. В женских бараках встречались молодые пензенские бабы в писаных лаптях, заплетённых по краям узорной подковыркой из крашеного оранжевого лыка.

Начали поступать из Америки паровозные краны, экскаваторы, деррики и другие механизмы, требовавшие подготовленных, знающих кадров.

С монтажом кранов долго мучились. Никто не знал, как вести сборку частей. Чертежей не было. Обнаружилось, что при заказе забыли включить в договор пункт о том, чтобы к каждому разобранному крану были приложены особые сборочные схемы. Сотрудники куперовской консультации ничем помочь не могли: это были строители, гидротехники, но не механики. Немцы заявили, что с паровозными кранами они никогда не работали и конструкции их не знают. Советским инженерам и мастерам пришлось приступить к монтажу незнакомых кранов самостоятельно, почти вслепую, как к решению головоломного ребуса.

Только для сборки экскаваторов приехал из Нью-Йорка специально присланный фирмой монтёр. Экскаваторы прибыли в разобранном виде, в ящиках разной величины. Молодой, в зелёном комбинезоне, монтёр вышел на площадку, быстро рассортировал по надписям ящики и заявил:

— Мне нужен кран. Инженер Ченцов, ведавший монтажом кранов, почувствовал неловкость.



— С кранами у нас получилась заминка,— сказал он. — Где-то в пути задержались отдельные части. Нехватает деталей крановых корпусов.

Американец развёл руками:

— Придётся тогда сборку экскаваторов отложить. Без крана ничего нельзя сделать.

Он закурил трубку и ушёл. Душистый запах бразильского кепстена остался на площадке.

Разговор происходил в присутствии слесаря Кучугуры. Кучугура, неожиданно для всех, попросил Ченцова:

— Дайте я попробую!

— Что? Собирать?

— Чем чорт не шутит! А вдруг соберу?

Кучугура был на Волхове хорошим паровозным машинистом. Экскаваторы очень его заинтересовали. Кучугура увидел в руках Гуржеева американский журнал и прейскурант, где экскаватор был изображён стоящим на выставке и показан в действии: сильный хобот четырьмя гигантскими стальными когтями скрёб обрыв огромного холма с такой лёгкостью, точно это была не земля, а гречневая каша. Механизмы всегда привлекали Кучугуру, тянули, как магнит. Он был малограмотен, но очень способен и до всего доходчив. На Волховстрое работал порывами: то со страстью и увлечением, то вдруг остывал, становился равнодушным и начинал «гулять», напиваясь любой жидкостью, содержащей спирт: самогоном, брагой, травником, денатуратом, водкой. Ему много пришлось когда-то жить под началом подрядчиков. От них он научился лихому рвачеству, пристрастию к техническим фокусам и загадкам. Стоило кому-нибудь сказать, что есть возможность хорошо заработать, «снять настоящую деньгу», как Кучугура моментально брался за какое угодно аварийное дело и часто действительно делал невозможные, очень трудные, удивительные работы. Но самое главное — ему нравилось выступать в роли знахаря по части механизмов, нравилось поражать, изумлять, восхищать окружающих,— это его вдохновляло больше всего, больше даже, чем деньги.

— Давайте попробую!— настаивал Кучугура.

— Как же вы голыми руками соберёте? — недоверчиво проговорил Ченцов.

— А смекалка на что?

Кучугура смастерил из трёх брёвен примитивного «козла», самую обыкновенную треногу, взял стальные тросы и домкрат. Вооружившись этими приспособлениями, он приступил к сборке. Он сидел над грудой распакованных металлических частей, как шаман, забыв весь окружающий мир.

— Ворожишь? — насмешливо спросил его каменолом Олефиренко, проходя мимо.

— Не мешай! — огрызнулся Кучугура.

— Ворожи, ворожи... Может, какой блохобой составишь.

Один раз около Кучугуры остановилась Надя Ракитная. Он раздражённо поднял глаза и в замешательстве только крякнул: перед ним стояла высокая ясноглазая девушка, румяная, крепкая, сильная, и её спокойная красота была полна простодушного, открытого интереса к нему.

— Неужели тут понять что-нибудь можно? — участливо спросила Надя.

— А вот сижу, думаю.

— Трудно?

— Да потрудней, чем сорочку вышивать.

— Говорят, американец отказался.

— Барин! Привык, чтобы ему по всякому пустяку машины помогали.

— А ты? Неужели справишься?

— Приходи через неделю, увидишь. Действительно, через неделю после этого разговора экскаватор был собран и, к удивлению всех, начал действовать — запыхтел, зачохкал, пошёл гусеничной своей походкой. Кучугура нетерпеливо искал глазами Надю Ракитную, видел десятки захваченных любопытством людей, но Нади среди них не было. И это его огорчило.

Пришёл американский монтёр. Остановился, осмотрел экскаватор, выбил из трубки о толстую подошву жёлтого ботинка дымящийся табак. Монтёр был молод, жизнерадостен и не знал высокомерия.

— Файн джоб! Великолепная работа, чорт возьми!— воскликнул он, улыбнувшись. Белые ровные зубы блеснули за пухлыми губами. — Прекрасно, мистер Кучугура.

И протянул руку.



— Меня зовут Чарли.

— А меня — Ваня.

— Ваня? Гуд! Хороший имя.

Кучугуру торжественно премировали деньгами и в тот же день назначили вторым инструктором по сборке экскаваторов. Первым был американец.

Когда, после настойчивых усилий слесарей и инженеров, паровозные краны были наконец смонтированы и пущены в ход, сборка экскаваторов пошла значительно быстрее. Тут американец показал настоящее мастерство. Но и Кучугура работал, не отставая.

— Ловко ты додумался!..— растроганно сказала Надя, встретившись с ним.

— Подожди, ещё не то будет. Моя черепушка до многого дойти может.

— Я так обрадовалась, когда ты добился! Так хорошо это...

— Верно?

Кучугура оглянулся. Тропинка была пуста. Далеко над плавнями узким малиновым крылом гасла вечерняя заря. И он вдруг взял Надю за плечи.

— Ой, что ты?..— изумилась она.

Кучугура с дерзкой силой притянул Надю к себе. В борьбе он на мгновение коснулся губами её губ. Но Надя отклонила голову, отстранилась, отступила с тропинки на песок.

— Не надо, не надо... Люди...

На тропинке действительно появились какие-то женщины.

— Приходи завтра! Приходи на это же место...— срывающимся шопотом заговорил Кучугура.

— К такому дикому? Ни за что на свете!

— У меня голова закружилась. Я не дикий, нет. Если хочешь знать, ты мне здорово помогла, когда я экскаватор этот по суставам складывал. Не будь тебя, я бы его, может, через день бросил.

— Ладно. Не заговаривай зубов,— строго сказала Надя.

И, взглянув через плечо на приближающихся женщин, она торопливо пошла прочь от Кучугуры.

Экскаваторы начали работать в карьерах, на выемке взорванной скалы. Кучугура в пылу удачи вызвал Чарли

на состязание, предложил ему помериться в уменьи управлять машиной: кто скорее загрузит думпкары, вывозившие камень.

— Согласен!— крикнул американец.

— Дюжина пива?

Чарли посмотрел на переводчика.

— На Днепрострое сухой закон: партийный комитет запретил русскую горькую, запретил и пиво.

— Вот беда, подумаешь! В Запорожьи сухого закона нет. Что мы — не доедем?

— Идёт!

В карьер ввели два экскаватора, два тёмно-синих «Мариона». Сбоку от них поставили на железнодорожной ветке думпкары. Кучугура и американец сверили часы и сели в кабинки для машинистов.

Кучугура горел задором. Он оглянулся. На берегу карьера, у самого обрыва, пестрела толпа каменоломов, землекопов, девчат с носилками и лопатами. И вдруг среди белых и красных косынок улыбнулось знакомое румяное лицо. Надя Ракитная вскинула руку и помахала ею. Она хотела, ждала его удачи! Сердце Кучугуры на мгновение похолодело.

«Марионы» сразу торопливо зачохкали. Хоботы опустились, плоские стальные зубья ринулись в битый камень и поползли понизу, как ковши. Быстрый скрежет взлетев вверх. Хоботы сделали разворот на четверть круга и остановились над пустыми думпкарами. Они разжали стальные когти,— на платформы посыпались камни. Хоботы снова метнулись к недрам карьера и снова вынесли каменный град к думпкарам. Кучугура весь превратился в ловкость и вдохновение. Он был в этот момент наездником, укротителем, охотником, ощущавшим все свойства и возможности своей машины. Под его руками экскаватор горячо жил, дышал, работал, выполняя малейшие веления рычагов.

И Кучугура обогнал американца.

— Есть, Чарли!— закричал он.

— Алло?

— Готово! Спускайся. Твоя карта бита. Мои думпкары полны.

Выпрыгнув из кабинки, он подбежал к Чарли и, как победивший борец, протянул ему руку.



Вечером, пригласив переводчика, они поехали в Запорожье, нашли маленький ресторанчик. Американец потребовал дюжину пива.

— Пей, Ваня! — смеясь, сказал он. — Сегодня ты выиграл. Но имей в виду: это случайность.

— Как случайность?

— Выигрывает только тот, кто выигрывает каждый день.

— Чепуха! Ты лучше сознайся: печёнка с досады горит?

— При чём тут печёнка?

— Ну, как по-вашему? Гордость?

— Ничего не горит.

Принесли и поставили пиво — сразу все двенадцать бутылок.

— Нет, погоди. Так не годится,— поднял руку Кучугура. — Ещё дюжину! Самого свежего, со льда! Я отвечаю.

— Олл райт! — усмехнулся американец.

— Ну, вот видишь, ты весёлый. Чорт с ней, с печёнкой. Мы с тобой настоящую дружбу заведём. Давай ещё раз померяемся: кто скорее свою батарею усидит. Ты двенадцать и я двенадцать. Кто победит, тому бутылку коньяку.

— Есть!..

Часов в десять вечера к Гуржееву пришёл Ченцов. Он встревоженно доложил:

— Кучугура увёз американского монтёра в Запорожье. Как бы чего не вышло.

— Что значит увёз?

— Да опять схватились бороться: кто больше пива выпьет.

— Жаль парня.

— Ваню?

— Американца! Ваню пивом не свалишь. Утром действительно оказалось, что Гуржеев был прав; победа осталась за Кучугурой. Чтобы поразить окружающих, с любопытством следивших из-за соседних столиков, он после пива, смеясь и торжествуя, начал пить выигранный коньяк.

— Пей, Чарли! Пей друг!.. – угощал он притихнувшего соперника.

— Не могу. Не заставляй. Коньяк после пива – медведь!

— Какой медведь? Протри глаза. Это я, Кучугура. Пей — прояснит.

— Нет. Конец: Точка.

— Сдаёшься?

— Сдаюсь! Сдаюсь, Ваня.

— А-а!.. Не выдержал? То-то... За побеждённого! За чемпиона Чарли, который мне друг!..

Кучугура с удалью опрокидывал рюмку за рюмкой в свой красный рот, светился довольством, восхищался своей крепостью. Облизывая неслушающимся языком поминутно пересыхавшие губы, жестикулируя, он восторженно кричал в лицо американцу:

— Ты ещё не знаешь меня. Не знаешь, Чарли! Никто не знает моей силы! Любую машину соберу. Соберу и пущу! Любую. Хоть американскую, хоть африканскую, какую хочешь. Никому не поддамся. Котелок варит. Котелок у меня на двести процентов уродился, веришь?..

В тот же вечер в женском бараке, когда погас свет, Надя без конца рассказывала о Кучугуре своей соседке по койке, Зине Богдашовой.

— В плечах широкий, сильный, могутный, будто борец. Хоть не молодой, а дуже хороший. Приду я Зиночка, стану возле площадки, где он собирает, а у него глаза так и засияют. От радости сам не свой сделается.

Сердце Нади было полно гордостью.

— Мне молодые хлопцы меньше нравятся. Сколько нахалов из молодых, никому поверить нельзя! А этот день и ночь над машиной сидит, только про работу и думает.

— Ты счастливая... — вздохнула Зина.

— Пойду завтра, опять увижу его. Теперь, после такой победы, что-то скажет он.

— Конечно, скажет. Ждёт, наверно, не дождётся, когда покажешься перед ним.

Утром в обычный час, минута в минуту, американец пришёл на работу, свежий, бодрый, как ни в чём не бывало. Он осмотрелся по сторонам. Кучугуры ещё не было,

Чарли въехал на тёмно-синем экскаваторе на площадку,



на которой предстояло выкопать огромный котлован для гидростанции. За ним толпой теснились парни и девчата, недавно пришедшие из приднепровских, полтавских и черниговских сёл. Они не отрываясь смотрели на ловкие движения этого чорта-иностранца, который быстро, точно играя, начал грызть зубастым хоботом твёрдый высокий берег.

Надя Ракитная говорила знакомым и незнакомым парням:

— А вчера наш на такой же машине работал. Вон она под горкой стоит. Ну, работал! Американца обогнал.

— Кто?

— Наш. Кучугура ему фамилия. Машинист замечательный. Всю машину сам собрал, от первого винтика до последнего! Сейчас, наверно, и он начнёт.

— Кто-о?..

— Фу ты, глухой какой! Что тебе, бугай уши отъел? Сказано — Кучугура.

— Пьяный, без памяти, спит твой Кучугура. Надя побледнела.

— Кучугура?..

— Ну да! Лежит в бараке, как бревно.

— Брешешь ты...

— Ха! Поди, проверь.

Надя замолчала, стараясь затеряться в толпе, чтобы никто не увидел её смущения и растерянности.

Вечером в барак пришёл Косачёв. Он остановился между топчанами Семёна Волошко и Витьки Савичева.

— Что, ребята, загадал загадку американец?

— Ловкач, чорт его дери! — А мы хуже?

— Зачем хуже?..— смущённо пробормотал Витька Савичев, и губы его перекривились обиженной усмешкой.

Подошли Пересада, Ивась и ещё несколько парней. Савичев посмотрел на Косачёва.

— Мы, может, лучше, только как подступиться? Глаза не понимают, руки не умеют. Больно штука хитра. Зверь! Живой зверь!

— Есть люди,— покажут.

— Кто?

Косачёв сел на табурет. Молодёжь обступила его теснее.

— Завтра будет вывешено объявление. При рабочкоме открываются курсы.

— Я пойду,— твёрдо сказал Савичев.

— Я тоже,— присоединился Семён Волошко.

— Да тут много желающих найдётся,— заговорили, со всех сторон.

Пересада, Магомет Тарифов, Хабибулла Мухтаров,— все заинтересовались курсами.

--- А ты, Ивась?— спросил Косачёв.

— Обязательно. Тут весь барак, кроме бородачей, поднимется.

— Мы люди бедные,— сказал Косачёв. — Нам надо учиться хорошо и быстро. Американцы предлагают выписать человек пятьдесят мастеров от них, из Америки, и всю работу с машинами отдать им, а наши только чтобы чернорабочими были. Вчера Купер на заседании прямо сказал: «Выписывайте скорее, не теряйте времени. Другого пути для вас нет. Нельзя, говорит, требовать чтобы человек, который ещё день тому назад работал с волами и лошадьми, сегодня вдруг начал управлять кранами, дерриками, экскаваторами. Большинство ваших людей пришло в лаптях: это крестьяне, землеробы...

— Ну, так что же, что в лаптях? — глухо и раздражённо сказал Ивась. — В лаптях, значит, не человек?

Косачёв обвёл глазами собравшихся.

— Теперь всё зависит от вас, ребята.

— Мы ему лапти эти припомним! — угрожающе проговорил Семён Волошко.

— Кроме лаптей у нас и головы есть! — добавил Витька Савичев, и большие серые глаза его жёстко блеснули.— Что они, заколдованные, машины эти? Не волшебный же ключ надо найти!..

Косячев снова оглянул барак.

— Завтра после работы собирайтесь в рабочкоме,— сказал он тихо, словно передал в боевую линию пароль.

## X

Научиться работать на паровозных кранах и экскаваторах было чрезвычайно трудно. Никто из днепростроевцев машин раньше не знал. Старая Россия все свои строительные работы вела вручную, примитивными дедовскими способами,



большие масштабы ей были неизвестны. Днепрострой явился первым крупным строительством, и механизация труда, убыстрение простых, но требующих огромных усилий процессов, борьба за время должны были сыграть здесь совершенно исключительную роль.

В первое время происходили частые, не имеющие никакого оправдания, нелепые аварии даже с обыкновенными железнодорожными паровозами. Один паровоз с четырьмя гружёными вагонами при въезде на земляную свалку сбил рельсовый упор. Оторвалось два вагона. Они перевернулись и слетели под откос глубиной в тридцать метров. Машиниста вызвали в рабочком и потребовали объяснений. Измазанный сажей и маслом, простодушный румяный человек с чувством полной своей правоты заявил:

— Я в это время на водомерное стекло смотрел. Чорт его знает, как упор перед колёсами очутился. Прямо будто из-под земли выскочил.

— А где помощник был?

— Уголь в топку кидал.

— Выходит, вы оба, разинувши рты, ехали?

— Зачем? Рты у нас в порядке были. Сами незнаем, как случилось. Момент такой вышел.

Другой паровоз с составом в девятнадцать вагонов, ударившись в тупик, полетел под откос к Днепру и разбился вместе с одиннадцатью вагонами.

— Тормоза оказались не в исправности,— оправдывался машинист. — Я торможу, а паровоз идёт. Я нажимаю, а он летит не своим духом.

— Заступая в смену, тормоза ты проверил?

— Нет.

— Почему?

— В ум не пало... Я считаю, раз это машина, значит, у неё всё на полную совесть должно быть.

Один кран, загружая платформу арматурой для временной тепловой станции, дал слишком большой вылет стреле. Стрела подхватила несоразмерный груз, попробовала его поднять, но при развороте центр тяжести оказался вне кранового кузова. Кран дрогнул, точно силач, у которого вдруг подкосились ноги, и опрокинулся. Стрела с размаху тяжело ударилась о платформу вагона и погнулась.

— Как это произошло? В чём дело? — опрашивал потом машиниста Косачёв в кабинете председателя рабочкома.

— Такелажника у меня не было.

— Как же ты без такелажника выехал?

— Думал, управлюсь.

— Почему же не управился?

— Вес груза не сумел угадать.

— Тебе известно, что чем больше вылет стрелы, тем меньше должен быть груз?

— Известно.

— Как же ты определяешь вылет?

— На глаз.

— А прибор, показывающий угол наклона стрелы у тебя есть?

Машинист молчал. Он не в состоянии был пользоваться приборами. Они его пугали, сбивали с толку, вызывали растерянность и страх.

Другой кран при передвижении по путям в ночное время запутался стрелой в электрических проводах высокого напряжения. Несколько проводов порвалось,— на целых участках мгновенно погас свет.

— Куда тебя погибель занесла? Паразит! — крикнул дежурный электрик.

— Разве тут нельзя?

— Не видишь? Куда ты, чорт, как дышлом въехал?.. Что у тебя на плечах, капуста?

— Такелажник не сказал, что стрелу надо опустить.

— А у самого соображения нет? Кругом сеть проводов, а ты будто дурная кобыла, задравши хвост, крутишься. Чумовой!

Некоторые аварии были слишком странны. У Косачёва являлось невольное подозрение, что вызваны они не неуменьем, а злой волей.

Однажды балластный поезд, потеряв управление, вскочил в депо, где стояли паровозы, и повредил семь новых американских паровозов. Был поздний час. Пока сторож кинулся к поезду, машинист успел убежать. Его не нашли ни ночью, ни на следующий день.

Кучугура несколько дней не видел Надю Ракитную. Беспокойство овладело им.. «Уж не перевели ли её на правый берег?»



Он обошёл огромные земляные ущелья будущего шлюза и, ничего не узнав о Наде, направился на прокладку железнодорожной ветки, которая уходила вниз по Днепру за балку Сагайдачного. Белые, бордовые, красные и жёлтые косынки женщин двигались, цвели в конце линии. Мелькали лопаты. По росту, по плечам Кучугура скоро узнал Надю. Он уверенно свернул к ней. Как бы чувствуя на себе его взгляд, Надя подняла голову, но, словно наткнувшись на что-то острое, тотчас же отвела глаза в сторону.

— Ты что сердитая такая?— с шутливым задором спросил Кучугура.

Надя промолчала. Безостановочно врезаясь лопатой в землю, она, казалось, не замечала его.

— Надя!

— Некогда мне.

— Да ты что?

— Нема часу балачки заводить.

— Какая муха тебя укусила?

— Меня что! А вот тебя какая, прямо понять нельзя. Напился и два дня с похмелья валялся.

— Когда это?

— Отпираться станешь?

— Неужели рабочему человеку выпить нельзя?

— Эх, ты! А ещё хвастался: «Американца обгоню».

— И обгоню!

— Он уже раз в десять больше твоего сделал. Ты вовек с ним не справишься.

— Ну, пусть будет по-твоему. Пусть американец горы ворочает, а я на два дня сплоховал. Но зачем же горячиться?

— А затем... Затем, что я поверила в тебя. Думала, ты необыкновенный мастер, замечательный человек...

— А если обыкновенный слесарь и машинист!

— Обыкновенных тут молодых хлопцев много, да ещё яких гарных!

— Надя...

— Для кого-нибудь Надя, а для тебя у меня фамилия есть.

Кучугура резко повернулся и молча пошёл назад, к шлюзовому яру, ослепнув от стыда и обиды.

## XI

Стемнело. Река покрылась туманной мглою. Она казалась ещё шире и полноводнее, чем днём. Гуржеев стоял у рыбачьей пристани под скалой Сагайдачного и ждал лодку, чтобы переехать домой, на правый берег. Лодка долго не приходила. Усталость горячей зыбью шумела в крови. Проносились смутные, быстро меняющиеся мысли. Далеко на противоположной стороне замелькал красный огонь костра. От этого дымного ночного света повеяло древностью.

Двадцать четыре столетия назад о Днепре с изумлением писал «отец истории» Геродот Галикарнасский. Он утверждал, что после Нила и Дуная Днепр есть третья величайшая река на свете, самая благословенная по количеству сладкой, жирной рыбы, необходимой для человека, самая завидная по красоте и плодородию берегов. Позже мудрец Аристотель, пытливый наблюдатель жизни, видел, с каким жадным интересом слушали афиняне на площадях своего беломраморного города увлекательные рассказы отважных мореплавателей, побывавших в Скифии, на неведомом Данаприсе-Борисфене. Да и как было не дивиться таинственной северной стране, её простодушному народу, которого не мог победить никто, даже завоеватель мира, Дарий Персидский, вторгшийся в Скифию с несметным войском?

Днепр представлялся в те времена могучей, извечно существующей силой, светлой, вольной, щедро одаряющей и вместе с тем грозной, страшной, сокрушающей. Скифы верили, что они происходят от верховного, самого высшего бога и от прекрасной синеглазой дочери Днепра, полюбившейся этому богу богов.

Чего только не видел Днепр за минувшие века! Носил он на своей глади седоусого рубаку Олега, хитрую красавицу Ольгу, бесстрашных воинов-купцов, проплывавших в утлых долблёных ладьях от Ильменя к Царьграду с грузом мехов, воска, янтаря, моржовой кости, молодых рабов и рабынь. Вырвавшись из грохота порогов на ясный речной простор, отважные искатели богатств и славы приставали к Хортице, к священному острову бога солнца, Хорса-Дажьбога. Здесь совершалось поклонение великому дубу, росшему посреди острова. На земле,



под дубом, обводился круг, магическое коло, символ солнца, по кругу втыкались стрелы и внутри, за стрелами, приносились жертвы — голуби, куры, петухи, хлеб, мясо. Здесь же гадали по птицам об удачах и неудачах предстоящего пути и в случае споров клялись друг перед другом мечом и богом Перуном. Перун, возводящий на небо облака и тучи, сотворяющий молнии, повелевающий громами и дождями, «произрастающий хлеба и травы», подобно бессонному кормчему, вёл многовёсельные ладьи к Царьграду, к великому византийскому торжищу.

Не раз проплывал мимо этих берегов Святослав. Святослав хотел вырваться из болотистых древлянских лесов, из пустых дулебских и полянских степей к югу, к солнцу, он стремился продвинуть жизнь народа к морю, за гремучие каменные пороги, злой стеной ограждавшие Русь от широкого деятельного мира.

Море и во сне снилось Святославу. Он всячески, и мечом и товарами, пролагал себе пути к устьям Дуная, чтобы не в Киеве, а именно у тёплого моря создать «середу своей земли». Святослава погубил коварный враг, рыжий Иван Цимисхий, проходимец на троне византийских императоров. Цимисхий подкупил против грозного князя готовых на всё печенегов, и недалеко от места, где стоял Гуржеев, оборвалась, захлебнулась кровью эта замечательная жизнь. Святослав возвращался по Днепру из неудачного похода на Царьград, а по берегу реки, скрытые травяными зарослями, с дорогими подарками мчались к печенежским вождям гонцы Цимисхия. Гонцы успели доскакать до кочевого стана раньше Святослава. Им открылись дикие, крытые конскими кожами повозки, грязные и вонючие вежи печенежские. Гонцы развернули шёлковые паволоки, золотные кружева, бусы, бисерные браслеты и ожерелья. У косматых красавиц разгорелись глаза, они жадно, преданно, нетерпеливо смотрели на сильнейших мужчин, которые могли взять сокровища.

Цимисхий знал, что делал. Едва Святослав подплыл к порогам, как из засады ринулась на него хищная кричащая орда. И здесь, выше Хортицы, у Пурисовых островов, произошёл роковой бой. Тысячи оперённых стрел с шипением и свистом полетели в Святослава. Тысячи волосатых, длиннобородых всадников, не переставая

орать, бросились в Днепр, наперерез людям. Они цеплялись за мешки из воловьих шкур, набитые тростником, и, держа в зубах мечи и копья, подплывали всё ближе и ближе.

Лютая сеча закипела на реке. Днепр превратился в бурлящую кашу свирепых, неистово рычащих рож и мокрых, оскаленных, храпящих конских морд, окруживших со всех сторон ладьи. Киевская дружина погибла.. Святослав был убит, его смелую, уже мёртвую голову отрубили и воткнули на копьё. Кто знает, на каком из Пурисовых островов, смешанные с белым речным песком, дотлевали Святославовы кости?..

Погиб Святослав, погибли вслед за ним и сказочные киевские боги. Вместо них византийцы ввезли в Русь нового бога. Великий Перун-громовержец, стоявший на священном холме у княжеских теремов, вырезанный из могучего ясеня, увенчанный серебряной головой с золотыми усами, был низвергнут, стащен с горы и брошен в Днепр. Долго плыл старый всенародно чтимый и любимый бог в глубокой бурой воде. Его серебряная голова, распугивая стаи рыб, тыкалась в илистые и гранитные берега. Сросшиеся вместе деревянные ноги торчали наружу. Ошеломлённые люди со страхом смотрели, как жалко и беспомощно уплывал многомилостивый податель благ. Куда он плыл? Не в Царьград ли, не в пышные ли чертоги своего погубителя, кроткого греческого бога, ограждённого, по рассказам, курильницами и несметными огненными свечами, чтобы броситься на него в последний схватке? Перун прошёл уже через пороги, недалеко ему уже было до моря, как вдруг с севера налетела буря, Днепр помутнел, почернел, расколыхался до дна и выбросил бога на безвестный гранитный остров. На острове Перуна нашли печенеги, они оторвали у него серебряную голову, выломили золотые усы. Огромное ясеневое тело, благоговейно вырезанное некогда искусными резчиками, осталось на песке — гнить, превращаться в труху, в пыль...

А через столетия как бесшабашно и вольно жили здесь украинские казаки! Рыболовы и звероловы, спустившиеся вниз, за пороги, бродяги, не боявшиеся ни ляхов, ни татар, ни ногайцев, степные наездники, гулящие люди, забубённые головы, бежавшие от панов, от горя, от труда, от тягот жизни, они основали на Хортице



засечённую лесом крепость, неприступную Запорожскую Сечь. Они хотели избавиться от всяческой власти: от панской и от царской, от ханской и от султанской, от королевской и от иезуитской. Охоться на зверя, на птицу, на торговые караваны, на купцов, грабь добычу, ешь, пей, гуляй, плюй в белый свет!

Эта голая вольница, совершавшая безнаказанные набеги на татарские овечьи отары, на конские табуны, на богатые турецкие города, жившая награбленным добром, как божьим даром, не только ушла от власти, но и навсегда ушла от труда. Праздная, беспечная, разбойничья жизнь сманила сюда немало смельчаков. От них осталось на Хортице только два следа: Думна скеля — скала, на которой казаки думали о добыче, о походах, о налётах, и Вошина скеля — скала, куда казацкая голота забиралась бить в своих штанах вшей.

Над этой степью целыми веками дули дикие ветры, горели в обе стороны от Днепра костры, синели могильные курганы, стояли на курганах каменные балболы, цвели кроваво-красные воронцы. Дым таборов и бегущих лавиной травяных пожаров разносился над степью.

И всё же бесшабашное скопище запорожских гультяев было сторожёвым заслоном против крымских и турецких хищников, оно преграждало путь на Русь. Сколько раз, по-змеиному прячась в травах, налетали сюда конные татарские чамбулы! Сколько раз подступали они осадным станом, полумесяцем копий, пищалей, ятаганов! Узорные шатры с плещущим на ветру жёлтым ханским знаменем зловеще возникали в степи за Криничной балкой, но их опрокидывали, рвали, втаптывали в землю внезапные удары из сечи. Распалённые казаки, рубя направо и налево, гнали татар до самых крымских улусов. Густо были политы кровью, густо усеяны человеческими костями Днепровские берега!..

Подошла лодка с мутным оранжевым фонарём на носу.

— Что так долго? — спросил Гуржеев.

— Да хлопцы вцепились. Сомов ловить зовут!— возбуждённо ответил лодочник, не в силах подавить проснувшегося в нём рыбацкого азарта;

— Ночью?

— Ночью им самый лов. О! Месяц взойдёт — тогда только успевай, вытаскивай.

Гуржеев сел в лодку. Берег зыбко качнулся и стал отступать. И опять полетели мысли о Днепре, о порогах. Кто только не пытался победить их! Пётр Первый нанял в Англии шлюзного мастера капитана Джона Перри, чтобы выкоренить злые камни, но с Днепра вынужден был снять его и послать в Воронеж на срочную постройку доков. Потёмкин заставлял курского откупщика из купцов, Фалеева, порохострельным способом прокладывать обходные каналы. Екатерина, выписала из Брабанта голландского инженера Франсуа Деволана. Маленький, веснущатый, талантливый Деволан пятнадцати лет, при Павле и Александре, рыл шлюзы, но за недостатком средств работы не кончил.

При Николае Первом инженерный генерал Шишов почти три десятилетия строил вдоль порогов шлюзовые ходы. Ему перестали выдавать деньги, и он с горечью говорил приближённым царя о римских императорах: Тиберии, Траяне и Александре Севере, приводивших в судоходное состояние порожистый Дунай, строивших мосты, расчищавших при помощи скифских и македонский легионов дно, создававших первые каналы. Две тысячи лет назад, в память об этих работах, Траян приказал высечь в скалах у Железных Ворот на Дунае знаменитые таблицы, и слава трёх императоров живёт в Европе, не увядая, благодаря каналам.

Шишов убеждал, что не меньшей славы мог бы достигнуть и российский император, если б довёл устройство шлюзов на Днепре до конца. Римские таблицы задели тщеславие Николая. Он велел поставить против Вильного порога высокий обелиск с отлитым на чугунной плите своим именем, но от дополнительного отпуска денег отказался, считая, что сделанного Шишовым вполне достаточно для славы.

Свыше пятидесяти лет потом инженеры продолжали составлять различные проекты уничтожения порогов, но ни один из проектов осуществлён не был. Многоводный Днепр, искалеченный гранитными преградами, оставался нетрудовой рекой. Даже такой крепкий, терпеливый груз, как черниговский, пинский и брянский лес, в огромном количестве закупавшийся в Алжир и в Египет, не мог итти прямой дорогой в Чёрное море. Его продавали Германии, доставляли поездами в балтийские порты, и Германия на пароходах, огибая Европу, перевозила горы наших брёвен, брусьев и досок в Африку. То же было с украинским хлебом, сахаром, спиртом, стеклом.



Лодка стукнулась о берег. Гуржеев почувствовал под ногами тугую, прочную, нагретую за день землю. Лодочник погасил фонарь и, всплеснув вёслами, скользнул в темноту. Скоро на востоке совиным глазом возник медно-красный месяц. Под его древним светом со всех сторон забугрился новый, развороченный, хаотически раскопанный и заваленный, ещё не сотворённый мир, огромный, зовущий, обещающий. Гуржеев шёл среди этого мира, как зодчий, уже видящий будущее.

## XII

Поздно осенью пришли из Америки в одесский порт пароходы с материалами и оборудованием. Пароходы привезли свыше пятисот вагонов груза. Там были инструменты, бурильные станки, перфораторы, бунты медной проволоки, кабель и металлические шпунты для перемычек. Шпунты представляли собою длинные стальные доски, входившие боковыми краями друг в друга. Шпунтами, как глухой стеной, предполагалось оградить перемычки, чтобы сделать их непроницаемыми для воды. Шпунты имели слишком большую для сухопутной перевозки длину, их перегрузили с пароходов на гончаки и шаланды, чтобы везти морем, а от устья Днепра в Кичкасу — рекой. Остальное оборудование пошло по железной дороге.

В море стояли глухие туманы. Вслед за туманами скоро должны были начаться осенние штормы. Прокопчёные буксирные пароходики, непрерывно крича в густую облачную мглу гудками, дотянули гончаки и шаланды до Херсона, в Херсоне пополнились горючим, прошли низовые алёшковские плавни, широко заросшие похожим на лес, пожелтевшим очеретом, и направились вверх по Днепру, на строительство.

В ноябре рубка ряжей на левом берегу пошла с особой спешкой. Ряжи во что бы то ни стало надо было

успеть довести к морозам до гранитного Стрельчьего острова. Гуржеев несколько дней подряд посылал Ивася: на лесопильный завод — следить за изготовлением ряжевых брусьев. Завод стоял на правом берегу. Приходилось по два раза в день переправляться через Днепр. Лодки постоянно были в разгоне, на ожидание терялось много времени, особенно по вечерам, когда перевозчики подолгу пропадали в темноте.

— Что вас, водяной затягивает? Дождаться нельзя! – горячился Ивась.

— Торопиться будешь, затянет.

— Вы же каждую волну знаете. Запорожцы! Плыть надо, чтобы вёсла играли. А то шлёп-шлёп, шлёп-шлёп, будто пьяный по болоту бредёт.

— А вот погреби! Прыткий какой.

Ивась брал вёсла, и лодка сразу начинала быстро скользить по воде. Слышен был даже шум разрезаемой бортами волны.

— Гребёшь наславу... Ничего не скажешь,— признавали перевозчики, когда лодка плавно стукалась о противоположный берег. — Рыбак, что ли?

— Рыбак, не рыбак, а грести поучить могу.

Чтобы успеть окантовать для ряжей нужное количество брусьев, лесопильный завод работал круглые сутки. Некоторые брёвна, попадавшие на станки, имели пулевые и шрапнельные раны. Это были следы тяжёлых войн — германской, польской, гражданской, оставшиеся в белорусских и украинских лесах. Раны на соснах и елях успели обрасти корой, затянуться жёлтыми смолевыми рубцами. Пули сидели обыкновенно глубоко в стволах, шрапнель — ближе к поверхности. Наскочив на них, электрические пилы ломали зубья или рвались совсем. Тогда приходилось выключать станок и менять в рамах пилы. Вершинные и комлевые рабочие, особенно пилоставы, зорко осматривали каждое вползавшее в станок бревно, чтобы не погубить дорогих заграничных пил и не налететь на простой.

Во дворе, у больших отлогих накатов, откуда шла к заводу электрическая лесотаска, брёвна осматривала разметчица Лукийка Бойчук, худенькая смуглая девушка в синей, с белым горошком, косынке и в стёганом красном армейском ватнике. Лёгкая и быстрая, она почти безошибочно отличала



среди крепких, нетронутых лесин раненные боевой стрельбой.

Пилы в заводе жужжали и ныли. Моросил мелкий холодный дождь, серые облака шли над степью.

— Судовой мастер Бойчук тебе не родня? — спросил Лукийку Ивась.

— Отец.

В Лукийке было что-то трогательное, подкупающее. Она напоминала Ивасю девочек-сирот, пасших на лугах вдоль речек гусей,— большеглазых, рано научившихся мечтать подростков, каких он часто видел, странствуя с Чечаней по полтавским, киевским и черниговским сёлам. И он долго думал потом об этой заботливой, не боящейся дождя, худенькой, быстрой девушке в неуклюжем защитном ватнике.

Для работы на левобережной перемычке было мало плотников. Опускать ряжи в реку и устанавливать их на быстрой воде умели очень немногие. Днепр тянул и поворачивал брусья в неожиданном направлении.

Ряжи по команде Ченцова подводили на место при помощи поставленных на берегу лебёдок с тросовыми оттяжками. Но часто сила воды рвала стальные канаты. Тросы со свистом лопались, и ряж шёл косо, боком. Его необходимо было выправить. Ивась кидался в Днепр, старался зацепить углы ряжа новыми тросами, подвязывал их с матросской ловкостью. Он как будто совсем не думал об опасности и не чувствовал её ни на секунду.

Зима началась неожиданно рано и сразу. До Стрельчьего острова ряжевой стены не дотянули. Подули резкие ветры. По Днепру с севера несколько дней подряд шло сало — лёд со снегом. Потом ударил мороз, и берега начали обрастать льдом. Раньше всего мороз сковал правобережную перемычку, затем дошёл и до быстрого течения у левого берега.

Однажды утром Ивась полез по обледенелому брусу опущенного накануне ряжа, чтобы добавить сверху ещё несколько венцов, и вдруг поскользнулся. Он бросил топор, пытаясь ухватиться за ряж, но сорвался и, как в огонь, упал в прорубь. На мгновение он по самую шею погрузился в дымящуюся от стужи воду. Холод пламенем опалил, пронзил его тело. Днепр подо льдом был быстр и силён.

— Ребята!.. — крикнул Ивась осёкшимися голосом.

Из-за стука топоров его никто не слышал. Он отчаянно вскинул руки и ухватился за край льда. Но течение его сейчас же начало срывать вбок, подгибать под лёд. Вода тащила в ледяную тьму, под страшную крышу в гибель. Пальцы каждую секунду готовы были сорваться с обжигающего толстого льда.

— Ребята! Семён! Витька!..

Вверху, на ряже, мелькнула туго подпоясанная фигура Махоткина.

— Батюшки! Человек утонул!..— закричал он испуганно.

— Кто? Где утонул?

— Да наш! Ивась...

Подбежали плотники, сунули брус. Ивась схватился за дерево, и его вытащили из реки.

— Беги что есть духу домой! Беги, не стой,— накинулся на Ивася Махоткин. — Беги в барак, а то пропадёшь.

Дул сильный морозный ветер. Невыносимый холод охватил грудь, спину, поясницу, руки. Судорожная дрожь начала бить мокрое тело. Сапоги были полны воды. Ивась бросился к берегу. Берег уходил вверх крутой горой. От быстрого бега сердце задыхалось, грудь перехватывало резкой болью. По самой крутизне пришлой подниматься только шагом. Наверху, на открытом береговом горбе, ветер жёг ещё лютее и немилосердней. Он ударял в лицо, в глаза, в грудь, леденил колени, щемил мокрые руки. Короткий бараний кожушок и ватные стёганые штаны скоро задубели. До барака оставалось шагов пятьсот. Путь этот показался Ивасю неимоверно далёким. Ветер как будто готов был задуть, погасить сердце.

В бараке был только сторож, седобородый дед Левон

— Що сталося, хлопче?..— испугался он, когда посиневший Ивась в обледенелом кожухе подбежал к своей койке.

— Давай скорей раздевай! Печь топи. Топи жарче. Видишь, под лёд угодил...

— Царица небесная!

— Режь голенища ножом. Режь, не жалей, пока ноги оттереть можно.



— Давай, давай, голубе... Чоботы двадцать раз наживёшь. А ноги пропадут, тоди вже край!..

Дед Левой осторожно разрезал сапоги. Пальцы ног Ивася были белые. Он лихорадочно стал мять, жать, растирать их.

— На тоби сорочку, хлопче. И штаны. Стареньки, аде добры. Одягайся швыдче. От горе, горилки нема! Горилка пид таку минуту— клад... Днипро — вин скаженый, дарма, що кажуть — батько.

Ивась скинул с себя всё мокрое, лёг на топчан, укрылся чем только было возможно, но дрожь по-прежнему трясла его.

— Зараз я тоби жару поддам,— заботливо засуетился дед Левой.

Огонь загудел в узкой трубе железки, печь начала пощёлкивать, от неё пошло тепло. Скоро Ивась заснул. Утром обоянский землекоп принёс в барак топор.

— Меня водолаз Воронков послал. «Вчера,— говорит,— плотник Баганча в Днипро упал. А я ночью на дне топор нашёл. Сбегай, узнай, не его ли?..»

— Ивась! Слушай...— стал будить Ивася Махоткин. – Топор твой где?

— Что?.. Топор?..

Ивась в недоумении протёр глаза. Вспомнил вчерашнее происшествие. Приподнялся.

— Пропал мой топор. Утонул. А золотой топор был.

— А вот этот стальной не твой?

Ивась посмотрел на ловкий, высветленный топор в руках Махоткина, погладил знакомое топорище, потрогал обух и вопросительно замер.

— Откуда? — проговорил он, не веря себе самому.

— Ты ответь: твой или не твой?

— Мой.

— Кланяйся Воронкову. У Днепра из подводного Царства вырвал.

— Верно, верно,— подтвердил землекоп. — Со дна добыл.

Ивась встал, надел высохший за ночь кожушок, туго перетянулся ремённым поясом, надвинул на уши шапку и опять пошёл на рубку ряжей.

Ряжи кончили ставить только в январе и сейчас же, несмотря на морозы, приступили к забивке шпунта вдоль

внешней стороны котлованов. Кран поднимал стрелой шпунтину и опускал её в воду, плотно прижав к перемычке. Паровой молот бил сверху, пока шпунтина не доходила нижним своим концом до скалы. Тогда подымалась вторая шпунтина и сверху вставлялась боковым краем в паз уже забитой. Получалось прочное, глухое соединение. Затем поднималась третья шпунтина и вставлялась в паз второй. Так, постепенно, звено за звеном составлялась крепкая, водонепроницаемая, подобная броне стена по всему наружному фронту перемычек. Всё здесь было совершенно ново и незнакомо не только для рабочих, но и для инженеров: и молоты, и сочетание их с кранами, и достигавшие восемнадцати метров в высоту шпунты. Опять приходилось догадываться самим, итти ощупью.

Семён Волошко и Витька Савичев ещё до окончания курсов были назначены крановыми машинистами, один на левобережную перемычку, другой на правобережную. Краны плохо их слушались. Неопытные машинисты каждый день вступали в упрямое единоборство с машинами и вечером спускались из кабинок измотанными, обессиленными вконец.

— Вот балда не нашего бога, чтоб её свиньи съели! — честил Волошко паровой молот.— Бьём на всю силу, аж кишки в нитку вытягиваются, а за смену больше одной шпунтины загнать не можем.

Молот всё время портился. Удары быстро следовали друг за другом, стук молота по шпунтине напоминал Семёну стук пулемёта. В каждую шпунтину приходилось делать до трёх тысяч ударов. Металл по металлу бил слишком жёстко, конструкция молота расшатывалась, в конце концов работа останавливалась.

— Тьфу! Разорви тебя вдребезги, бисова кувалда!..— сердился Волошко.

Купер на зиму уехал в Америку. Приходил его заместитель, старый, угрюмый инженер Гаррисон. Он хмуро смотрел на молот, на кран, на обозлённого, расстроенного Волошко,— и вся его фигура выражала крайнее неодобрение.

— В Америке забивают за смену десять шпунтин, вы одну. Это никуда не годится! — говорил он гортанным, каркающим голосом.



Переводчик почтительно переводил.

— Пусть покажет, как в Америке делается! Пусть лезет на кран и даст пример!.. — запальчиво ответил однажды Волошко.

Гаррисон удивлённо поднял лохматые длинные брови.

— Я не механик. Я строитель.

— Нечего тогда и попрекать. Пусть научит,— я двадцать забивать буду.

Переводчик, подыскивая другие, более деликатные слова, передал смысл ответа Волошко.

Жёлчное лицо старого американца стало безучастным и высокомерным. Мелко ступая по льду, он ушёл на правый берег, в свой высокий, просторный кабинет.

Гуржеев решил приспособить особые дубовые подбабки, при которых молот бил в шпунтину деревом и удар получался значительно мягче, ничего не теряя в силе. Однако дуб быстро изнашивался, сминался, расщеплялся на волокна, мочалился. Тогда Гуржеев распорядился поставить подбабки из акации. Акация оказалась плотным, прочным, почти несокрушимым деревом. В Кичкасе, в немецких менонитских усадьбах, росло много старых, толстоствольных акаций. После постройки плотины Кичкас подлежал затоплению, и деревья, если их не срубить, неминуемо должны были бы уйти под воду. Поэтому Гуржеев без всякого угрызения совести спилил несколько десятков самых толстых акаций на подбабки.

Зима выдалась суровая. Дикие ветры и морозы обжигали степь дни и ночи. Шланги, по которым подавался к молоту пар, промерзали. Отогревать их было нечем. Инженер Холл, один из самых способных работников куперовской консультации, часто подходил к паровому молоту Витьки Савичева и к молоту Семёна Волошко, видел досадные неполадки, давал советы. Но он тоже не был механиком и не мог сказать, как предохранить резину от промерзания. Чтобы шланги на ветру не болтались, их подвязывали тросиками к крановой стреле. Но в том месте, где тросик подхватывал шланг, создавался перелом, и в переломе сейчас же начинал действовать мороз. Стоило шлангу промёрзнуть на один сантиметр, как подача пара совершенно прекращалась.

Гуржеев упорно пробовал применять разные утеплительные средства,— однако, ничто не помогало: мороз,

как злой дух, сковывал забивку шпунтин. Наконец Гуржеев придумал особые войлочные обмотки, окружавшие шланги шерстью и толстым слоем древесных опилок. Пар начал поступать безостановочно, работа пошла быстрей.

Руммель злорадно смотрел на неудачи с кранами, Он точно из-под земли вырастал в местах неполадок и молча наблюдал за отчаянными усилиями рабочих и инженеров. Ему как будто доставляло удовольствии видеть глухие, бездействующие краны.

— Вот американские фантазии! — сказал он высокомерно Гуржееву, когда тот, не сдержавшись, раздражённо крякнул после одной необъяснимой остановки. — Американцы везде ищут чудесной силы машин, верят в их всемогущество. Вздор! Мы говорили: стройте немецким способом, при помощи немецких инженеров. Лучше потратить на верной дороге два-три года больше, чем с глупым видом топтаться перед непонятными идолами. Теперь с этими хвалёными кранами наплачетесь!..

Гуржеев повернул в сторону Руммеля голову и ничего не ответил. Едкая неприязнь вдруг шевельнулась у него в груди. Самодовольный, упитанный Руммель с толстым розовым подбородком на шелковисто чёрном котиковом воротнике дорогой шубы напомнил ему войну, девятьсот пятнадцатый, девятьсот шестнадцатый годы. Тогда Гуржеев в артиллерийском дивизионе бился против немцев на Карпатах. Однажды дивизион захватил в плен немецкого полковника, гладко выбритого, надменного пруссака. Полковник до смешного важничал, пыжился, надувался величием, как болванчик. Он даже пытался кричать на Гуржеева. Сейчас Руммель чем-то сделался похож на ту самовлюблённую фигуру. С дней войны ненависть к немецкому самодовольству стала у Гуржеева постоянный чувством, которое временами хоть и заслонялось жизнью, но никогда не исчезало.

Руммель постоял с минуту и пошёл дальше. Казалось, он искал новых задержек, новых доказательств непригодности американского оборудования для русских рабочих, чтобы досыта налюбоваться картиной неумения управлять ненавистными ему заокеанскими машинами.

Первая зима на строительстве была тяжела, мучительна. Осенью никто как следует ознакомиться с механизмами не успел. Работу всех новых, невиданных дотоле



машин пришлось осваивать во время морозов. Если вообще при холодах иметь дело с механизмами трудно, то учиться работать на них среди резких, неутихающих ветров и постоянной стужи было делом почти непосильным. Ветры выдували из глаз слёзы, от нестерпимого холода негде было укрыться.

— Ты что, Семён? Плачешь? — спросил раз Ивась своего друга, увидев, как тот вытирал рукавицей лицо.

— Заплачешь! Тут не только плакать, реветь готов.

— А в чём дело?

— Стрела останавливается,— кривя вздрагивающие от досады губы, сказал Волошко. — Заедает какая-то язва. Витька идёт вперёд, а я с своим чортом никак не могу справиться.

Такие затруднения были у всех. Во время работы, на ходу, надо было постигнуть целый ряд существеннейших мелочей, без которых машины, при всём старании людей, работали только на треть своей мощности.

Гаррисон всё упорнее настаивал на выписке американцев.

— Ваши машинисты на паровозных кранах ездят ощупью,— заявлял он раздражённо. — Они медлительны и излишне осторожны там, где никакой осторожности не требуется. И, наоборот, недостаточно осторожны там, где осторожность необходима в высшей степени.

Управление снова отказалось выписать американцев. Тогда Гаррисон резко сказал:

— В таком случае я вынужден буду написать мистеру Куйбышеву, что вы не обращаете внимания на советы американской консультации.

Об этом разговоре Косачёв рассказал в рабочих бараках. В рабочкоме было созвано собрание молодёжи, учившейся на курсах механизации.

— Скандал, хлопцы, получается! — обратился Косачёв к курсантам. — Гаррисон не хвалит вас: «Ни черта,— говорит,— у советских людей без американских мастеров не выйдет. Тычутся кранами, как слепые щенки, туда и сюда, а толку нет».

Заявление Гаррисона задело и взволновало молодых рабочих. Достоинство требовало перелома, успеха, бесспорных результатов. Надо было проникнуть в суть, в душу каждой машины. Все чувствовали, что секрет

может открыться лишь в результате непрерывной настойчивости, аккуратности, обдуманного риска и честного упорства в работе. Семён Волошко изучал свой кран с остервенением — во всех его движениях и поворотах, с утра до ночи наблюдая самые малейшие действия рычагов.

Первые крановые машинисты набирались из слесарей. Слесарей же часто нанимали наспех, без испытания и проверки, по одним удостоверениям. Среди них попадались легкомысленные, равнодушные к своему делу люди. Были даже такие, которые приходили на работу в хмельном дыму, выдавая себя за исключительных удальцов. Особенно раздражал Ивася хвастливый, самоуверенный машинист Турнас, не обходившийся без водки ни одного дня. Однажды Турнас пришёл на кран совсем пьяный. Глаза его осоловело смотрели в землю, он разговаривал сам с собой, выжимая сквозь губы какие-то польские ругательства. На берегу стояли бочки с нефтью, их надо было подать на перемычку. Турнас долго пытался взобраться в крановую будку, но никак не мог. В конца концов он оборвался с подножки и упал в снег. Кругом чернела ночь, смена должна была работать до утра.

Такелажник Жуков, белокурый добродушный богатырь, ездивший с Турнасом в паре, пришёл в ярость:

— Ах ты, ворона пьяная! Куда лезешь? Куда царапаешься?..

— Я мм... маши-нист...

— Свинья грязная!

Жуков обозлённо пошёл к телефону и, несмотря на поздний час, позвонил Гуржееву на квартиру.

— Степан Андреевич, уберите от меня Турнаса. Лыка не вяжет. Ну, в доску, в доску нализался! На лесенку ногой ступить не может.

— А может, ночь как-нибудь проработаете? — неуверенно попросил Гуржеев.

— Чтобы в аварию влететь? Нет, не согласен. Давайте другого машиниста.

— Да ведь взять негде.

— Давайте сейчас, потому — время не ждёт. Вызывайте откуда хотите. С Турнасом я не поеду.

Гуржеев оделся и сам разбудил в бараке Витьку Савичева.



— Пожалуйста, дорогой, поработайте ночь не в очередь.

Витька удивлёнными глазами посмотрел на начальника.

— Вы меня очень выручите,— опять попросил Гуржеев.

— О чём говорить, Степан Андреевич!

Витька вскочил, оделся, натянул валенки и быстро пошёл на кран.

Костя Макаренко сочинил про Турнаса песню, и, когда тот, проспавшись, появился на берегу, из разных концов молодёжь запела:

Ох, пил не так!
Ох, ел не так...
Упал в овраг,—
Не выберусь никак!..

Турнас начал злобно ругаться.

Жуков стоял у крана, заслонив своими широкими плечами дверцу в кабинку.

— Проходи, проходи, не ерепенься. У меня новый машинист,— сказал он твёрдо. — На этом кране ты ездить не будешь.

— Як то не буду?

— Очень просто.

— Ты мне не указывай, не командуй. Я начальник крана.

— Это уже минулося.

— Як то минулося? Цо то за мова?

— Иди к Гуржееву, он тебе разъяснит.

— Пся крев!..

— А если ругаться будешь, я так тебя шибану, стерва,— полетишь кверху пятками!

— Ты?

— Я.

— У-уу!..

— Не шипи, не шипи. Шипучих нам не надо! Новый машинист, которого Гуржеев выбрал среди наиболее способных курсантов, выглянув из кабинки, насмешливо добавил:

— Брось разоряться, дядя, а то со злости лопнешь. Ищи себе работу полегче.

Турнас с яростью посмотрел на Жукова, на молодого дерзкого машиниста и, тяжело ступая прямыми ногами по мёрзлому снегу, пошёл через Днепр в правление. Там уже висел приказ о его увольнении.

## XIII

— Почему вы не хотите на кладку ряжей перейти? — спросил молодой механик Костицын техника Солодовникова, который сидел у себя в комнате за столом и неторопливо пил чай.

— А зачем переходить? Мне и на земляных работах не плохо.

Перед Солодовниковым стояли в стеклянных баночках масло, мёд, лежал на тарелке белый хлеб. Он густо намазывал ломти хлеба сначала маслом, потом мёдом и с наслаждением ел, запивая чаем.

— Ну, знаете, там боевая работа,— продолжал уговаривать Костицын. — Нужны надзор, указания. Техники необходимы.

— Хлопотно очень.

— Зато какое оживление. Красота!

— Не для моих лет.

— Бросьте в старики записываться! Сколько вам?

— А как вы думаете?

— Сорок, сорок один.

— Было когда-то и сорок.

— Ну, не больше сорока трёх.

— Пятьдесят шесть.

Костицын недоверчиво окинул взглядом коренастого, плотного Солодовникова.

— Не сочиняйте.

— Чего сочинять! Считанные.

— Как же вы сохранились так? Прямо удивительно.

— Хм! Секрет надо знать.

— Именно?

— Себя надо любить. Вот и всё.

— Позвольте. Каждый человек себя любит.

— Не так. Больше всего! Сильнее всего! Заботиться только о себе. А об остальных, ни о ком,— будь то отец, мать, жена, дочь, сын,— ни о ком не думать. Ни при каких обстоятельствах.



— Как так?

— Горы падают на других, воды потопляют, пожары пожигают, а ты сиди, не волнуйся. Сиди, делай своё дело. И ещё одно правило соблюдать: кушать хорошо. У меня закон: не оставляй на завтра того, что можешь съесть сегодня.

Костицын рассмеялся.

— Не смейтесь, не смейтесь. Великая вещь! Иной бьётся, терпит, крохоборничает, себе во всём отказывает, чтобы жене платье шерстяное или шёлковое купить, горжетку там какую-нибудь чёрно-бурую, туфли модные или шубу беличью завесть. Разве не глупость? Никаких жертв, никаких самоограничений, никаких забот или подарков! Кушай. Кушай вкусно, сытно, с радостью. Скажите вот, что завтра меня краном или ещё какой-нибудь чертовщиной задавит, я не буду ни охать, ни ахать, ни мыслями терзаться, а прежде всего хорошенько поём. Наплевать мне, что дальше будет! Быть спокойным и ничего не хотеть, кроме еды,— вот вам и весь секрет жизни. Кажется, просто, а многие не знают и не понимают и не поймут никогда. Мой дед девяносто шесть лет прожил и мог бы ещё бог весть сколько прожить, а погиб от наследства. Да, да, не удивляйтесь. Пришло из Америки письмо, что умер какой-то беспотомственный его родственник и оставил после себя триста тысяч долларов. Американский адвокат и предложил: «Деньги эти я вам выхлопочу в суде, если вы мне после утверждения в наследстве заплатите двадцать процентов». Дед прикинул: двадцать процентов от капитала — шестьдесят тысяч долларов. Как! Шестьдесят тысяч долларов какому-то прощалыге за то, что он поможет получить наследство? Да это грабёж, разбой! И так расстроился, так разозлился, что от злости и помер. Сердце лопнуло.

— А вы не пробовали деньги эти искать? — с осторожным любопытством спросил Костицын.

— Зачем? Я себе не враг.

— И всё-таки...

— Ничего не «всё-таки»... Сейчас я чист и свят перед революцией. А с долларами, знаете, что закрутится? Пусть они сгорят вместе с американским банком. Я жить хочу. Мне покой дорог.

— Неужели вас ничто не волнует? Ведь происходили события...

— А я ими не интересуюсь. Они мне не нужны.

— А Днепрострой? Работа? Тут же нельзя не волноваться.

— Почему? Очень даже можно. Не будет Днепростроя, будет другое. Не всё ли равно?

— Но когда вы читаете газеты...

— А я их не читаю,— перебил Солодовников. – К чему делать лишнее дело? Чего там искать, чего ждать? Мне хорошо сейчас и хорошо было всю жизнь. Зачем же я буду пялить глаза в мелкие строчки? Подумайте.

Костицын почти со страхом посмотрел на Солодовникова. Чувство самодовольного превосходства было в каждой чёрточке раскрасневшегося от чая лица. Солодовников налил из эмалированного чайника ещё один стакан, отрезал ломоть хлеба, аккуратно покрыл его ровным слоем масла, затем намазал на масло мёду и снова усердно принялся есть.

## XIV

Две девушки в красных косынках остановили Ивася у крыльца.

— Мы завтра вечирку в женском бараке устраиваем. Сыграй для девчат на бандуре! Повесели нам душу.

Девушки просительно улыбались.

— Да разве я артист?

— А нам сказали, ты дюже гарно играешь...

— И поёшь!..— добавила другая.

— А много вас?

— С тебя хватит!

— Ой?

— Мы за тобой ухаживать станем.

В глазах девчат засияло озорное лукавство.

— Я же вас не знаю, не найду.

— Скажешь: покличьте Зину Богдашову и Галю Лотоцкую. Тут мы и явимся.

— А кто Галя, кто Зина?

— Придёшь, узнаешь.

— Ну, горазд. У вас что же, свадьба или именины собираются?



— Яка там свадьба! Нас и замуж никто не берёт. Мы сами для себя праздник хотим сделать. День и ночь ветры дуют. Подумай. Чисто всю душу выдули. Такая тоска напала! Хочется позабавиться.

Девушки, взявшись за руки, убежали. Под их сапогами звонко проскрипел снег.

За Хортицей горела красная, морозная заря. Синий туман стоял над снегами. Ивась вошёл в свой барак, умылся и лёг на койку. Приглашение было ему приятно. Он представил праздничный день в селе, кучку подростков, девчат и молодиц, сосредоточенно слушающих бандуру, и стал думать, что лучше спеть.

Ивась снял со стены бандуру, настроил, тронул отвыкшими пальцами струны и сам изумился, сколько воли, блеска и простора было в лёгких, звенящих струнных голосах, каким чудесным инструментом он обладал.

Вечером на следующий день, кончив работу, он надел самую лучшую свою рубашку, белую, из тонкого селянского полотна, вышитую черниговским полуботковским узором, и пошёл в женский барак.

В бараке было чисто, прибрано, койки аккуратно застелены, подушки были покрыты белыми промереженными накидками. На окнах висели коленкоровые занавески, против коек на стенах — сухие венки из барвинка, из васильков, из оранжево-жёлтых ноготков, из алых бессмертников.

Ивась оглянул молодых, принарядившихся, немного смущённых женщин и увидел знакомые лица: Надю Ракитную, Лукийку Бойчук, вчерашних весёлых девушек — Зину Богдашову и Галю Лотоцкую, которые приходили его приглашать.

— Сюда, сюда, на середину! — раздались голоса.

Ивась сел на табурет между раздвинутых коек, осторожно достал из чистой торбы бандуру, перекинул через плечо ремень. Десятки ждущих, внимательно устремлённых к нему глаз волновали его.

— Что же вам сыграть?..— спросил он тихо, обращаясь не столько к слушательницам, сколько к самому себе.

Пальцы его быстро побежали по струнам.

И в тишине, как бы очнувшись от забытья, Лукийка Бойчук горячо попросила:

— Марусю! Заспивай про Марусю Богуславку!..

И он запел о знаменитей полонянке из города Багуслава. Он пел о турках, о жестокой турецкой страже в темнице у Чёрного моря в Царьграде, о невольниках-казаках, томившихся в каменных подземельях, о том, как Маруся Богуславка открыла ключами паши страшные двери и освободила пленников, прося их скорее бежать на Украину, чтобы не настигла погоня, а сама осталась погибать в Туретчине.

— Ой, як гарно!..— восторженно вздохнула Надя Ракитная, когда прозвучали последние слова.

Пел Ивась и горькие псальмы о сиротах, бесприютно скитавшихся по белому свету. Думы были печальны, горестны, торжественны. Необозримая вольная степь, полная красоты, опасностей, многовековой славы и кровавых битв, звенела в мрачных повествованиях.

Бандура гремела громами, гневом, тревогой. Ивась уже не видел ни коек, ни барака, ни Лукийки, ни вчерашних девушек,— перед ним одна за другой возникали картины, о которых он пел.

## XV

Первого половодья ждали на Днепрострое с большой тревогой: а вдруг Днепр сломает, сорвёт все ряжевые сооружения, поставленные в правом и в левом протоках и понесёт, как щепки, вниз?

Купер с самого начала строительства, ещё когда доказывал непригодность немецких бетонных перемычек, говорил:

— Главное преимущество ряжевой системы — устойчивость. По свидетельству ваших гидрологов, на Днепре случаются исключительно бурные половодья. Значив перемычки должны быть сделаны так прочно, чтобы при самой сильной воде они оставались на месте, были несокрушимыми. Сложность задачи заключается в том, чтобы строительство могло итти без перерывов. Если после каждого половодья придётся заново устанавливать перемычки, постройка затянется надолго и обойдётся слишком дорого.

Неразговорчивый, раздражительный Гаррисон всё чаще выходил на берег. Несмотря на веру в безошибочность Купера,



близость половодья вызывала тревогу даже в нём. Многие рабочие, не раз видевшие разливы Днепра, только покачивали головой: «Ой, смахнёт, собьёт водой всю нашу постройку!.. Разве силу такую ряжами подопрёшь?..»

Работы на всех участках шли с напряжённой торопливостью. Спешно заканчивалась забивка шпунта. Ряжи наращивались, как можно выше, ряжевые клетки доверху загружались битым камнем из карьеров. Воронков, Легейда и Аниканов поочерёдно спускались через проруби в реку, чтобы ещё и ещё раз удостовериться, что нижние клетки прочно примыкают к донному граниту.

Пошли белые густые туманы. Степь закрылась сплошной мглой. Снега начали таять. Туманы сменились лёгкими солнечными облаками. С юго-востока подули ветры.

Дни росли, светлели, теплели. В рабочих посёлках закричали петухи. Из-под снега с берегов зажурчали шумные ручьи. Лёд потемнел, позеленел, покрылся желтоватой, мутной водой бесчисленных потоков.

И вдруг со стороны Вильного порога, от Волчьего Горла, затрещало, зашумело, загрохотало тяжёлым гулом,— лёд тронулся, пошёл. Густые ветры били по караванам ледяных глыб, вода быстро поднималась, затопляла берега, становилась с каждым днём шире, мутней и быстрей.

Днепр имел только один свободный ход — через средний проток. Вереницы толстых льдин устремились сюда. Проток между Чёрным и Стрельчьим островами был широк, но лёд запрудил его сплошным затором, за сутки накопился перед перемычками огромным угрожающим полем. Поле это непрерывно росло. Вода прибывала, она дошла до верхних венцов,— и льды, медленно крутясь, сунулись через ряжи. Всё, что в течение восьми месяцев было сделано человеческими руками, скрылось под водой.

Шум течения стоял около реки, не умолкая ни на секунду, дни и ночи. Вдоль перемычек вода делала перепад, точно переливалась через гигантскую трубу. Местами виднелись выступающие части стального шпунта, торчали столбы электрических фонарей. Большинство столбов лёд срезал, как камыш. Над затопленными перемычками река набухала горбом, кипела и пенилась.

Ивась дивился необозримой силе половодья. Что-то страшное, первозданное было в Днепре. Над водой бесшумно проносились стаи диких уток, пугливо махающих крыльями. Высоко в небе кричали дикие гуси. Гуси летели углом, одна сторона угла была длиннее, другая значительно короче, живые линии, колеблясь, часто разрывались, но гуси тотчас же подстраивались, выравнивались и торопливо проносились на север. Их мягкие, трепетные крики, полные робости, беспокойства, любопытства перед открывающейся землёй, смутно падали с высоты. Крики гасли в голубой дали за Кичкасом, за порогами. Но едва исчезали, растворяясь в воздухе, последние голоса, как неожиданно с юга, со стороны плавней, раздавались наивно изумлённые, радостные крики нового каравана.

Солнце ослепительно блестело в грязи. В лицо дул тёплый, влажный ветер. Из земли густой щёткой лезли жёлтые стрелки травы. Стрелки эти почти на глазах зеленели, становились изумрудно яркими, неудержимая сила тянула их вверх. А по вечерам серебряной птицей взлетал над степью месяц.

В первых числах мая вода начала спадать. Серые длиннокрылые чайки хищно закричали над Днепром. Они подлетали к самой сини реки, ловко выхватывая клювами мелкую ошалевшую от весенних игр рыбёшку. Ряжи постепенно проступали тёмной перегородкой, как бы возвращаясь на постройку, засорённые выцветшими лентами осоки, побелевшим очеретом, ракитником. Нигде среди ряжей не оказалось ни прорывов, ни проломов,— перемычки выросталили из Днепра, как крепостные стены. — Ух, чорт!.. — восторженно говорил Махоткин, любуясь прочностью деревянных сооружений. — Каковы плотнички, Степан Андреевич! И Гуржеев в тон ему отвечал:

— Плотнички первый сорт!

— Поперёк такого зверя музыка наша удержалась. Шутки? А?

— Сделано на совесть.

— Без совести тут пропадёшь.



## XVI

Ещё летом Гуржеев закупил землечерпалки и землесосы для работ в воде. Из Херсона пришёл рефулёрный пароход «Ленинград». Надо было с верховой стороны, со стороны течения, уплотнить перемычки, укрепить землёй.

На дне реки по низу шпунта водолазы укладывали мешки с соломой и щебнем. Поверх мешков при помощи землесосов и землечерпалок делалась песчаная отсыпь, чтобы вода сквозь шпунтовую стену не могла просочиться в будущий котлован. Рефулёрный пароход в огромную трубу втягивал со дна песчаный ил и выбрасывал его толстой струёй вдоль шпунтовой стены. Песок плотно оседал, создавая высокий вал перед перемычкой. С рефулированием песка и с откачкой котлованов надо было спешить, так как при спаде Днепра могло оказаться, что уровень воды в ограждённом перемычками пространстве будет выше уровня реки, что создало бы опасность обратного давления воды на шпунтовую стену и отклонения её от перемычки. Чтобы избежать этого, шпунтовую стену стали прикреплять к ряжам стальными прижимными брусьями.

Работа запаздывала. Она требовала сверления шпунта, подводки энергии, установки плавучих подмостей,— подмости же мешали накачивать к шпунту песок. Поэтому для ускорения дела Сухонин приказал прикреплять шпунт тросовыми оттяжками только к железнодорожному пути, проложенному по перемычкам.

И вдруг подрывник Цимбалюк, возвращавшийся утром с ночных взрывов, увидел, что часть тросов с перемычки гидростанции исчезла. Он подошёл ближе: тросы были кем-то торопливо срезаны и унесены. Шпунт в этом месте отклонился от ряжей.

— Видал, что делают?— крикнул Цимбалюк Прокопу Чернову.

— Воры?

— Хуже. Настоящий налёт на ряжи.

— Ах, гады...

— Махновцы! Их работа. Больше некому. Не иначе, как на Вознесенку увели.

О Вознесенке шла тёмная молва. Говорили, будто там

в некоторых хатах гнездились махновские последыши прятавшие воровскую и всяческую иную шпану.

Подводкой энергии для сверления шпунта ведал Прокоп Зернов. Ошеломлённый случившимся, он побежал к Косачёву.

— Неладно получается, Никита Матвеевич. Надо меры принимать. Если мы сволочь эту не выловим, она наделает нам беды.

— Я говорил, где следует.

— Мало! Надо самим в оба глядеть. В них зло кипит. От зла они, как тарантулы, кидаются.

Сухонин распорядился немедленно заменить украденные тросы новыми. Ночью по дороге в село Беленькое милиция задержала две подводы с изуродованными тросовыми оттяжками. Допросы подтвердили, что они действительно были вывезены из Вознесенки.

Через день, когда ещё не все новые тросы были натянуты, к шпунтовой стене пристала баржа для сверления дыр. Решено было установить прижимные брусья на всём протяжении перемычки. По недосмотру техника Солодовникова баржа пришвартовалась не к ряжевым клеткам, а прямо к стальной стене, зачалив пеньковые петли за ближайшие шпунтины.

День был ветреный. По Днепру шла косая волна. Баржа не могла стоять спокойно, ветром и зыбью её непрерывно качало, относило в сторону, она дёргала шпунт. Уровень воды в котловане на три сантиметра стоял выше уровня реки: вода стремилась отвалить, опрокинуть тонкую стальную стену.

Около часа дня в контору Сухонина вбежал бледный, испуганный Семён Волошко.

— Шпунт падает!..— крикнул он не своим голосом. — Шпунт оторвался!

Крик ударил, как бомба, упавшая с аэроплана. Из-за чертёжных столов вскочили все, кто был в конторе. Сухонин на бегу видел, как шпунтовая стена, точно отдираемая чудовищными лапами, отклонялась от ряжей и валилась в воду. Стальные тросовые оттяжки лопалась с каким-то вязким звуком. Они рвались на глазах, как нитки. Шпунты потянули за собой шпалы и железнодорожные рельсы. Не прошло и двух минут, как вся не



укреплённая прижимными брусьями металлическая стена длиной около двухсот метров упала в Днепр.

— Вот тебе и работа! — растерянно ахнул кто-то.

Вывороченные шпалы и рельсы перемычки дико встопорщились над водой.

Авария произвела на рабочих и инженеров тяжёлое впечатление.

— Так мы вовек ничего не построим...— угрюмо говорили люди.

— А всё ротозейство!

— Разве нельзя было доглядеть?

Сухонин был сам не свой от случившегося. Стёклышки его тонкого, без ободков пенсне растерянно метались над толпой, голая, бритая голова казалась беспомощной.

— Не меньше пятисот тонн стали погибло!— в смятении говорил он. — Где мы такие шпунты найдём?

Пришёл Тихменёв. Высокий, седоволосый, встревоженный, он посмотрел на сорванные рельсы, на вставшие дыбом шпалы, на конвульсивно скрутившиеся обрывки тросов. Это был единственный человек, сохранивший самообладание в тот злополучный день.

— Сейчас же вызвать Гуржеева и Косачёва,— распорядился он. — Пусть расследуют быстро и до конца. Шпунт надо поднять. Поднять весь до последней доски.

Он ещё раз посмотрел на искалеченную железнодорожную линию и, обращаясь к Сухонину, добавил:

— А вы, Константин Александрович, позвоните в Гепеу.

Сухонин подошёл к телефону. Снял трубку. Откуда-то издалека отозвался сухой, твёрдый голос. Сухонин начал рассказывать.

— Мы уже знаем,— сурово ответил голос. — Следователь выехал.

Сухонин повесил трубку и послал за водолазами. На моторной лодке подъехал с левого берега американский инженер Холл. Он окинул взглядом картину разрушения, обрывки тросов, свисавшие с перемычки рельсы и изумлённо протянул:

— У-а-а!

Холл покачал головой, снял белую кепку и сел на камень.

— Я подожду, пока вы поднимете,— сказал он по-английски, обращаясь к Нестерову.

В глазах его сверкали шутливые искорки человека, видавшего виды. Казалось, он относится к аварии, как к занятному зрелищу.

Нестеров вспыхнул:

— Тут люди плакать готовы, а вы чепуху говорите!

— Плакать? Зачем плакать?.. Плакать нехорошо.

— Для вас это чужое, потому вы и улыбаетесь. А для нас... Это всё наше! Вам наплевать, а мы вон чего потеряли.

Холл поднялся с камня и уже серьёзным тоном произнёс:

— В Америке тоже бывают несчастные случаи. Думаете, нет? О! Большие катастрофы бывают. Инженер должен лучше думать! — Холл постучал пальцами себе по лбу. — Плохо думал, ошибся,— делай опять, трудись, мучайся, лезь из ямы. Теперь надо новый шпунт покупать.

Он рассказал, что в Нью-Йорке строится большой висячий мост через Гудзоном пролив. Для моста нужно было поставить в море береговые устои, для чего пришлось часть моря взять в ограждённую шпунтом перемычку. И вот недавно вся шпунтовая стена этой перемычки упала, котлован затопило, и несколько человек захлеснуло, сбило в океан.

— Если хотите знать, у вас ещё хорошо случилось, никто не погиб. А там...

Холл резко махнул рукой и замолчал. Через минуту он с неожиданной доверчивостью проговорил:

— Тут ваши инженеры лёгкой головой думали. И наши тоже.

Инженер немецкой консультации Драхенфельс, юркий несмотря на полноту, с резиновой гибкостью семеня ногами, несколько раз участливо подкатывался к Сухонину и заискивающе старался заглянуть ему в глаза.

— Это ужасно, ужасно!..— сказал он наконец вкрадчиво.— Майн готт! Не надо было доверять американцам. Они спекулянты. Да, да! Им нужна только выгода. Их ничуть не интересует дружба народов. Это чёрствые искатели наживы. Сакраменто! Немецкий метод постройки был лучше. Вы помните? О, наш метод!..



Драхенфельс понизил голос и горячо заторопился, словно боялся, что кто-нибудь ему помешает высказать давно ищущие выхода мысли:

— Вы знаете... ещё не поздно. Нет! Ещё можно поправить. Американцев выгнать в шею и начать дело по-нашему. Зо! Русские инженеры должны твёрдо сказать об этом. Кулаком по столу! Да, да...

Гаррисон в тот же день явился в управление.

— Времени терять нельзя, вы сами твердите об этом, мистер Тихменёв,— сказал он. — Я советую немедленно, по телеграфу, выписать от той же фирмы шестьсот — семьсот тонн нового шпунта. Через пятнадцать дней он будет здесь.

Тихменёв решительно отказался.

— Мы поднимем затонувший.

— Вы уверены в этом?

— Совершенно.

— Не забывайте, что глубина Днепра у места аварии около шестнадцати метров.

— Это затрудняет работу, но не делает её невозможной.

— Сколько же месяцев ваши инженеры потеряют на подъём! В лучшем случае не меньше четырёх.

— Зачем так много? Подымем раньше. У вас неверное представление о наших инженерах.

— Вы снова вынуждаете меня писать мистеру Куйбышеву.

— Пожалуйста, это ваше право.

Гаррисон пожал плечами и вышел из кабинета. Следователь вызвал Солодовникова.

— Кто должен был дать указания, как надо пришвартовывать баржу?— спросил он техника в упор.

— Это лежало на моей обязанности,— ответил Солодовников, по-солдатски вытянув руки по швам.

— Почему же вы не указали?

— Именно указал, товарищ следователь. Указал обоим сверлильщикам — и Ткачуку и Быкову. Я твёрдо ткнул им пальцем: концы зачаливайте, ребята, к ряжевым клеткам. Только к клеткам. Боже упаси, не к шпунтинам!

Ткачук и Быков наотрез отказались:

— Ничего он нам не говорил. Слова от него не слыхали.

— Как не говорил?— изумился Солодовников. – Ведь при людях было, не в лесу. Что вы мне камень на шею привязываете?

Следователь допросил свидетелей. Те подтвердили: действительно, Солодовников сказал, что к шпунтинам пришвартовываться нельзя. Но техника сейчас же потребовали к застопорившемуся крану, и в его отсутствие Ткачук зачалил концы по-своему.

— Я ещё ему, паразиту, кричал, что неладно,— заявил один из свидетелей.— А он, как бугай, крутит и крутит без внимания. Ну, конечно, я сплоховал: надо бы в тую ж минуту к Солодовникову или к самому Сухонину бечь, а гада Ткачука за глотку хватать. В этом я, признаюсь, виноват, товарищ следователь. С прискорбием говорю: упустил несчастье, не сумел догадаться, что такая беда случится.

Тогда следователь заинтересовался фигурами сверлильщиков. Оказалось, что оба они бежали с Николаевского судостроительного завода, бросив там в костёр целый ящик с дорогими импортными приборами. Это были злые, тупые вредители, всюду упрямо боровшиеся с новой жизнью.

Воронков пробыл под водой свыше двух часов. Он старательно облазил дно, осмотрел основание всей перемычки гидростанции и, поднявшись на палубу водолазного дуба, рассказал Сухонину, что шпунт лежит плашмя, как большая плита, очень ровно, нигде не погнувшись и не разорвавшись.

— Если бы зацепить хорошенько и придумать на берегу сильную тягу, можно за пол-дня поставить на-попа.

Однако многочисленные попытки найти способ поднять всю стену сразу ни к чему не привели: помимо веса металла, надо было преодолеть огромную тяжесть воды, протекавшей над шпунтом. Тогда Тихменёв затребовал из Ленинграда водолазов, работавших по подъёму затонувших судов и умевших вести подводную автогенную резку стали.

Сначала никто не представлял, как можно действовать автогеном под водой, как опустить огонь в глубину Днепра,— огонь и вода извечно были несовместимыми. Но приехали ленинградские специалисты, бывшие кронштадтские моряки, осмотрели упавший шпунт и сказали:



— Должны справиться. Корабли поднимали, а это проще.

Аппараты у кронштадтцев имели особое сопло, которым они при помощи сжатого воздуха отгоняли от нужного места воду и работали автогенным пламенем на дне реки, как на суше. Работа была тяжела, трудна, опасна, она требовала выдержки, выносливости, силы, но моряки вели её так весело, так задорно, в такой молодой хорошей дружбе друг к другу, что вызывали невольное восхищение среди днепростроевцев.

Механики соорудили на барже большой плавучий подъёмник, установили на палубе одиннадцать лебёдок. На перемычку ввели паровозный кран. Лебёдками и краном разрезанные полотнища шпунтовой стены поднимались на широкий гончак, по тридцать, по сорок шпунтин сразу. Шпунтины раздёргивались, как вставленные в гигантскую челюсть зубы, и снова забивались вдоль перемычки. Их немедленно сверлили и прикрепляли к ряжам надёжными прижимными брусьями.

Через тридцать четыре дня вся стальная стена была поднята. Автогенная резка испортила только семнадцать шпунтин.

Пока длилась эта упорная, лихорадочная работа на месте будущей гидростанции, Гуржеев и Сухонин начали откачку плотинных котлованов. Поставленные в два ряда ряжевые перемычки, забитые по их фронту шпунты, возведённые вдоль шпунтов песчаные отсыпи, наваленные за отсыпями мешки с соломой и галькой,— все эти средства отгородили в русле левого и правого протоков четыреугольные пространства, из которых, как из бассейнов, надо было вычерпать воду и на сухом месте открыть работы по очистке гранита для основания плотины.

Слесари всю зиму монтировали насосы, заготовляли трубы, шланги, храпки, сосуны. Они подбирали насосы только крупного диаметра, чтобы добиться широкого захвата воды.

С Шатурки привезли диковинный старый насос, имевший неслыханно широкий диаметр в пятьдесят семь сантиметров. Он был сделан фирмой Зульцера в Швейцарии лет сорок тому назад. Рыжий от ржавчины, громоздкий, неуклюжий насос угрюмо смотрел на окруживших его молодых рабочих.

— Вот это дедуган, так дедуган! Того и гляди, по-тигриному зарычит,— смеялись слесари.

— Настоящий Александр Третий. Избычился, как бронзовое чучело в Ленинграде!— сказал Прокоп Зернов.

И прозвище это прочно утвердилось: упрямое страшилище действительно чем-то напоминало ленинградский памятник Александру III.

На Шатурке насос простоял в бездействии шесть лет. Там его не сумели пустить. Долго бились с ним на Днепрострое. Целую неделю вскрывали крышку, она так приржавела, что не поддавалась никаким усилиям. Наконец Зернов при помощи Кучугуры её снял.

— Ну, поздравляю, поздравляю,— обрадовался Гуржеев. — Теперь мы возьмём за рога этого чорта!

— Да уж заставим танцевать!— пообещал возбуждённый своим успехом Зернов.

Но, осмотревшись, огорчённо покачал головой.

— Нет, Степан Андреевич, не выйдет из Александра Третьего танцора! Плеваться будет, а не танцевать.

— Почему?

— А посмотрите ему в мозги.

Насос имел мощный мотор в пятьсот лошадиных сил, но у него не было соответствующего редуктора. Без редуктора он не в состоянии был развить быстроты, которая позволила бы использовать его поистине богатырские возможности.

— Закажем! — сказал Гуржеев. — Раз надо, достанем хоть из-под земли.

Когда изготовленный редуктор был получен, насос вывезли к реке. Под степным ярким небом, среди суетившихся слесарей, он имел звероподобный вид. Его установили на плите из крупных балок Грея. Дали ток. Мотор зарычал, загудел, завыл, — и насос заработал. Это была замечательная картина! Из широкой пасти, разинувшейся больше чем на полметра, за борт котлована вода полилась столбом.

Зернов и Кучугура ликовали, как изобретатели, добившиеся необыкновенного.

Но, кроме «Александра III», в котловане левого протока было установлено ещё восемьдесят шесть насосов. Их укрепили на плавучих понтонах, и они стали гнать в Днепр восемьдесят шесть мощных



струй. По мере откачки воды понтоны опускались в котлован всё ниже и ниже. На тринадцатый день они коснулись дна.

Открылось тёмное, неровное, покрытое валунами и зеленовато-серым илом пространство, которого никогда не видели человеческие глаза. В разных местах ошеломлённо трепыхалась и вскидывалась рыба, не успевшая уйти, когда забивали вдоль ряжей шпунт. Около понтонов выкопали ямы, куда согнали мелкими насосиками воду из всех оставшихся луж, а затем уже крупными насосами вычерпали, откачали и эти ямы.

Река грозно стояла высоко за перемычками, готовая в любой момент хлынуть и захлеснуть отгороженную людьми на миллионолетнем дне четыреугольную площадку. На насосах было установлено дежурство. Механики, слесари и водоотливщики круглые сутки следили за рекой. Работа требовала совершенно исключительной настороженности, зоркости, слуха. Вода за котлованом высилась стеной в двадцать три метра. Местами она внезапно просачивалась сквозь какую-нибудь щель в перемычке и начинала зловеще шипеть, свистеть, выбиваться с огромной силой. Водолазы бросались в Днепр и заделывали щель фашинами, жгутами соломы, паклей, мешками с песком. Воронков, Легейда и Аниканов не уходили с своего дуба ни на один час. Они даже спали на реке.

В котлован, на обнажившееся дно, спустились сотни рабочих. Землекопы скапывали наносы ила, каменщики разбивали молотами валуны, бурильщики разбуривали выступы гранита, грабари нагружали грабарки и по крутому откосу вывозили песок и камень в степь. Машинисты готовились ввести из карьера на дно экскаватор, как только хоть немного выровняется береговой спуск.

Наступила третья ночь. В котловане работала землекопная бригада Нади Ракитной. От огромных ярких ламп стены ряжей казались ещё выше, чем днём. На вершинах этих стен и внизу, на понтонах, продолжавших оставаться в котловане, в полной боевой готовности, как часовые, стояли насосы. Девушки копали ил и пели:

В кинци гребли шумять вербы,
Що я насадыла...
Нема того козаченька,
Що я полюбила.

Голоса были счастливые, чистые, свежие, как цветы. Надя подняла голову. Электрические шары сияли на перемычках. Вверху зарево ламп откидывало от котлована темноту. С верховой перемычки что-то весело и задорно крикнул молодой водоотливщик. Надя не расслышала слов, но неожиданно для самой себя помахала в ответ рукой. А песня всё звенела и звенела:

Росла, росла дивчинонька,
Та на пори стала.
Ждала, ждала козаченька
Та и плакати стала.

Где-то совсем близко по-домашнему уютно и спокойно зажурчал, застрекотал сверчок. «Откуда он тут взялся? — подумала Надя. — Наверно, на грабарке со степи въехал».

И вдруг сзади испуганный женский голос заверещал:

— А-а-ай!..

Вслед за ним десятки неистовых голосов завопили:

— Вода! Вода!..

Будто буря сломила, погасила песню. Всполошённые паническое крики вспыхнули со всех сторон.

— Ой, матыньки! Ой, лишевько!..

— Днипро! Мати божия!..

— Тикай! Тикай!..

— Рятуйте!..

Визг, вопли, суматоха, смятение вихрем закружились по котловану. Девушки, каменоломы, бурильщики, грабари — все бросились по крутому откосу на левый берег.

Надя увидела стремительную лавину воды, косматой волной выкинувшуюся из-под ряжей. Вода зверем бросилась за убегавшими людьми. «Пропали! Пропали!..» — мелькнуло в голове Нади. Казалось, ряжи рухнут, повалятся, как спичечная игрушка, и Днепр всей своей силой ринется в котлован. В замешательстве она схватила несколько валявшихся под ногами лопат и побежала.

У откоса человеческие потоки захлеснулись в узел. Кто-то падал, кого-то топтали. Грабари нахлёстывали лошадей, лошади храпели, натужливо лезли в гору,— пробивавшаяся к выходу толпа преграждала им путь.

— Стой! Стой! Не напирай!.. Вы же покалечите, подавите друг друга! – кричал громкий возмущённый голос. – Дайте передним выйти.



Надя оглянулась и узнала техника Костицына. Он махал руками, бегал, метался внизу, у воды.

— Инструмент выносите! Ребята! Инструмент...— просил Костицын. — Бурильщики, вытаскивайте станки!

Толпа лезла, карабкалась на берег. Несколько грабарок, сцепившись колёсами, не могли разъехаться. Трещали спицы, оглобли, доски, лопались тяжи.

Костицын бросился в самую гущу неразберихи.

— Не гони, Тимофей, не бей коня лопатой, убьёшь! Донченко, осади назад! Не лезьте на людей, хлопцы! Ах, черти! Да все, все успеете выехать!..

Он хватал под уздцы лошадей, просил знакомых и незнакомых возчиков, орал на зарвавшихся, останавливал, уговаривал.

К нему скоро присоединился каменолом Лысогор. Вдвоём они на несколько мгновений задержали лавину грабарок. Это сейчас же ослабило давку, и люди пошли спокойней. Когда большинство рабочих было уже на берегу, Костицын снова оказался в глубине котлована, у бушующей воды. Там на гранитном горбе лежали брошенные в панике пневматические перфораторы для сверления гранита. Вода уже бурлила около них. Костицын схватил два ближайших аппарата — подмышку правой рукой, подмышку левой — и, утопая по пояс в крутящихся водоворотах, понёс к откосу.

— Отдай бурильщикам! — крикнул он растерявшемуся парню с вожжами в руках и бросил перфораторы ему в грабарку.

Он снова побежал в котлован. Вода поднялась уже выше пояса. Костицын лихорадочно хватал всё, что ещё можно было спасти, и через воду подтаскивал к незатопленному месту. С перемычки упал вниз свет прожектора, и у самых ряжей на сером мысообразном камне мелькнул большой бурильный станок. В котловане никого уже не осталось, помочь никто не мог. Костицын один ухватился за станок. В воде металл сделался несколько легче, но всё же тащить его было неимоверно трудно: вода ударяла в грудь, путала, лишала устойчивости ноги.

Наконец с берега стало ясно, что Костицын опоздал и к откосу ему не добраться. Это понял, кажется, и сам техник. Надя видела, как он, не выпуская станка из рук, направился к скале, островом поднимавшейся среди котлована.

Вода мешала ему двигаться, пенистые буруны налетали то с одной стороны, то с другой. Напрягаясь изо всех сил, Костицын медленно приближался к камню, похожий на муравья с непосильной ношей. Но вот справа ударила волна и захлеснула его с головой. Он выронил, упустил станок и неумело поплыл к острову. Едва добравшись до гранита, он бессильно сел, отрезанный отовсюду чёрной беснующейся водой.

— Лодку!.. Лодку!..— закричали на берегу.

Но лодки нигде не оказалось. Вода в котловане всё прибывала. Она подобралась уже к ногам Костицына.

Первым движением Нади было скинуть с себя башмаки, кофточку, юбку и вплавь, в одной сорочке, добраться до скалистого острова, чтобы убедить Костицына броситься в воду — и выплыть с ним обратно. Разве не спасла она в Кременчуге баштанщика Мефодия, тонувшего посреди Днецра?.. Разве не проплыла, поспорив с девчатами, пятнадцать километров до села Кали-берды?.. Но в то же мгновение вспомнила, что за котлованами, против скалы Сагайдачного, часто видела рыбаков, целыми днями качавшихся с удочками на своих узких «дубках».

— Хлопцы, бежим со мной! Там рыбацкие челны! — позвала она.

Три каких-то парня бросились вслед за Надей. Действительно, несмотря на темноту, они скоро нашли у скалы Сагайдачного привязанную к колу железной цепочкой и запертую на замок лодку. Один из парней поднял тяжёлый камень и перебил цепочку. Вчетвером, задыхаясь от спешки, они понесли лодку к котловану. Весь остров внизу был уже затоплен. Костицын стоял по колени в воде, в крутящихся, сшибающихся волнах, беспомощный, покинутый, освещённый с верховой перемычки ослепительными прожекторами.

— А вёсла? — вспомнили вдруг парни, ссовывая лодку в воду.

Вёсел в лодке не было,— рыбаки обыкновенно уносили их домой.

Надя схватила попавшийся на глаза обломок горбыля и, прежде чем кто-нибудь успел сообразить, вскочила в узкий чёрный дуб и поплыла.

— Куда ты, куда? Ошалела? — закричали парни.



Но Надя уже сидела на узкой кормовой перекладине и гибко била горбылём направо и налево по беснующимся водоворотам, как выросший на реке перевозчик, знающий все сноровки трудных, полных опасностей рыбацких переправ.

Среди ночи Гуржеева разбудил телефонный звонок. Едва Гуржеев взял трубку, как в ухо ему стал биться торопливый испуганный голос:

— Степан Андреевич! Говорит Косачёв. Перемычку прорвало! Идите скорей. Беда!..

— Водолазы на месте?

— Воронков ушёл на дно.

— Бросайте мешки с песком.

— Не помогает!..

— А что делают водоотливщики? Там же до чорта насосов!..

Но, не договорив, Гуржеев бросил трубку и побежал к котловану. Густая июльская ночь ударила ему в глаза темнотой. Далеко на перемычках ярко горели электрические лампы и прожекторы; сила тьмы казалась от них ещё огромней. Там, против ламп, мелькали, сновали сотни рабочих. От Днепра к баракам пробегали какие-то люди, которых в темноте нельзя было узнать. На вопросы встречных они отрывисто кричали:

— Пропал котлован!

Из самого дна бьёт!.. Подземная вода прорвалась... Не Днипро, а чорт знает откуда, може, из самой Преисподней...

— Костицын утонул!

— Кто?

Техник Костицын! Василий Егорыч. Когда Гуржеев подбежал к верховой перемычке, котлован на треть уже был затоплен. Бурлящие водяные клубы, кипя и пенясь, вырывались из-под ряжей со стороны Хортицы, близ стыка с Чёрным островом. В этот угол электрики направили мощный свет трёх прожекторов. Вода непрерывно била снизу вверх жёлтыми бурунами, вынося множество песку.

Шпунтины над местом прорыва осели. Они так глубоко ушли вниз, что на образовавшуюся в стальной стене выемку страшно было смотреть.

— Батюшки! Уж не дно ли провалилось? Не дно ли ухнуло?..— всполошённо причитал кто-то сбоку.

— Куда оно к лешему провалится?..— сердито крикнул Гуржеев. — Как можно молоть такую чепуху? Надо же голову иметь на плечах!

Молодые запыхавшиеся голоса бурей кипели на перемычке.

— Качай! Заводи насосы! Механики!..

— Вали мешки! Набивай песком!..

— Солома есть? Тащи больше, не стой!

— Ребята, понтон затягивает! Понтон всплыть не может. Смотри, какую уйму песку нанесло.

— Отталкивайтесь шестами! Эй, водоотливщики!

— Шевели; баржу! Шевели, а то насосы потонут!..

— Запускай «Александра Третьего»! Кто там на «Александре»? Кучугура?

— Гони воду, Кучугура!

Моторы визжали, выли, ревели. Вода по шлангам выкидывалась за борт. Но вдруг что-то случилось с проводами, моторы затихли, и работа насосов прекратилась.

Гуржееву показалось, что электрики растерялись.

— Ток! Ток давай!..— закричал он, срываясь с голоса. Через минуту повреждённый провод исправили, и моторы всех водоотливов были подключены снова. Моторы загудели, как аэропланная эскадрилья. Ивась, Пересада, Семён Волошко, Витька Савичев и Магомет Тарифов с баграми вплавь бросились к понтонам. Началась бешеная, отчаянная схватка. Деревянные коробки засасывались толстым слоем песку и плохо поддавались рывкам и толчкам багров. Наконец понтоны удалось столкнуть со дна, они всплыли, насосы полной силой стали перекачивать воду за перемычку.

Но это было неравное единоборство: прорыв имел чудовищное отверстие, превышавшее своими размерами все диаметры насосов. Вода, мутно крутясь, врывалась с ошеломительной стремительностью. Не прошло и часа, как котлован доверху наполнился водой.

В конце ночи с правого берега приехал на моторной лодке Тихменёв. Его глаза сразу остановились на осевшем шпунте.

— Ах, какая ошибка!..— с горечью сказал он Гуржееву. — Мы,



кажется, попали не на гранит, а на валуны. Где Воронков?

Воронков, выбравшись на водолазный дуб, снимал скафандр. Красный от напряжённой работы под водой, он поднялся на перемычку.

— Ну, что? — с нетерпением спросил его Тихменёв.

— Два огромных валуна вывоpотило из-под шпунта.

— Я говорил! Бурили плохо... Смотрели невнимательно...

— Вода размыла ил, они и сдвинулись,— с трудом переводя дыхание, продолжал рассказывать Воронков. — Будто их нарочно кто отвалил от ряжей. Щель метра в три шириной получилась да высотой около метра. Не щель, а прямо пасть.

— Вот видите!

— Чуть-чуть меня не втянуло туда. Такой сквозняк, сил нет удержаться.

Тихменёв молча обошёл всю перемычку.

— А как Костицын утонул? — растерянно спросил он Гуржеева.

Только тут Гуржеев вспомнил, что не успел ни у кого узнать об обстоятельствах гибели молодого техника.

— Да он жив! — сказал Косачёв.

— Что вы говорите! А мне звонили: утонул с бурильным станком.

— Жив. Его Надя Ракитная спасла.

— Ах, как хорошо! Как хорошо... — обрадовался Тихменёв.

— Почти все перфораторы из котлована на себе вынес. И действительно, едва не погиб.

Тихменёв остановился в углу над прорывом.

— Сейчас же начните перебивку шпунта, Степан Андреевич,— распорядился он. — Не ждите рассвета, не теряйте времени. И, пожалуйста, последите сами.

Затем, обращаясь к Воронкову, сказал:

— Скажите Легейде, пусть возьмёт сильную лампу и пройдётся по всему дну. Нет ли ещё где такой беды? Валуны для нас смерть.

Когда на перемычку ввели кран с паровым молотом, оказалось, что ещё три шпунтины под ударами пошли вниз на довольно значительную глубину.

Легейда, Аниканов и Воронков, не ложась спать, поочерёдно спускались на дно. Им кидали наполненные песком мешки, и они укладывали вдоль забитых шпунтин новую стену.

Ночь и день полны были непрерывной спешки. Раскалённое солнце уже опускалось к западу. Воронков утомлённо стоял на сигнале, Аниканов, держал шланг, подающий воздух, Легейда работал в Днепре. После Легейды опускаться на дно надо было опять Воронкову. Ещё немного, и трудная стена на месте злополучного прорыва будет закончена.

На вечернем берегу зазвенела девичья песня. Там бригады расходились с работы. Пели два голоса: один звонкий, прозрачный, другой низкий, задумчивый, грудной. Они пели что-то грустное и вольное, степное. Песня медленно приближалась, становясь всё ясней и ясней. Потом вдруг пение оборвалось, послышался смех, и звонкий голос рассыпался какими-то лёгкими хрустальными стёклышками.

Девушки спустились к самой кромке берега и с любопытством остановились против водолазов. Воронков узнал Лукийку Бойчук и Надю Ракитную.

— Возьмите нас в Днипро! — с лукавым вызовом сказала Лукийка.

Воронков, усмехнувшись, посмотрел на неё, на Надю.

— А вам что, жизнь надоела?

— Доли нема.

— Это у вас-то?

Девушки опять засмеялись: Надя мягким грудным смехом, Лукийка беззаботно-звонко.

— Верно, верно, нема...— проговорила Надя.

— А вы искали?

— Понятно.

— Думаете, она там, в Днепре?

— А кто знает... Возьмите, посмотрим.

— Там русалки.

— Разве русалки лучше нас?..

В глазах Лукийки было столько блеска и задора, что у Воронкова что-то дрогнуло, похолодело в груди. Но в этот момент Легейда подал снизу сигнал, и Воронков осторожно стал вытаскивать верёвку. Скоро на палубу вступил человек



с медным шаром на голове. Аниканов бросился отвинчивать шлем, а Воронков ушёл в каюту одеваться.

— Сейчас поедем! Готовьтесь! — крикнул он девушкам.

Минуты через три он показался на палубе, уже в скафандре, в свинцовых калошах, сосредоточенный, строгий, каким всегда становился перед спуском.

— Ну, что же вы? — обратился он к девушкам, которые с интересом следили за ним. — А ещё просились.

— Да ведь не возьмёте...

Лукийка с восхищением смотрела ему в глаза. Аниканов привинтил шлем, и Воронков, приветно махнув рукой, пошёл на дно. Против воли и вопреки твёрдому правилу освобождаться перед спуском от всяких посторонних мыслей, он уносил с собой восхищённый, вопросительный Лукийкин взгляд. Взгляд этот не раз возникал перед ним и во тьме Днепра.

Мешки валились с перемычки безостановочно. Воронков, точно портовой грузчик, подтаскивал их на нужное место и тщательно укладывал. Часа через два стена была завершена.

Над степью стоял тёмный вечер, когда Воронкова подняли на поверхность. Красная заря двумя узкими пламенными крыльями тлела за скалой Сагайдачного. Руки, ноги, плечи, грудь,— всё у Воронкова горело от усталости. Он посмотрел на зарю, и ему показалось, что там, за берегом, ему опять мелькнули жёлтые, о чём-то спрашивающие Лукийкины глаза.

Водоотливщики тотчас же начали новую откачку котлована.

## XVII

Гуржеева привлекала необычность жизненного пути Нестерова. Талантливый астроном, проведший у пулковского телескопа свыше тысячи ночей, знавший все созвездия в небе, он вдруг бросил загадочные пространства вселенной и с головой ушёл в самую гущу новой строительной жизни вот здесь, на днепровской земле. Способность увлекаться так, чтобы ставить на карту свою собственную судьбу, делала Нестерова в глазах Гуржеева человеком редким, исключительным.

От астрономии Нестеров принёс в геодезическую

работу привычку к скрупулёзной точности инструментальных наводок и уменье быстро пользоваться сложнейшими математическими вычислениями.

При геодезической разбивке такой огромной плотины, как Днепровская, требовалась чрезвычайная внимательность и аккуратность в работе. Из опыта на Волхове Нестеров знал, что самое незначительное отклонение разбивки от математической точности потребует потом рубки пазов, рубки боковых сторон бычков, насильственного изменения профиля готовых сооружений,— такой сложной и мучительной работы, с которой не всегда можно справиться.

Трудность задачи заключалась в том, что плотина на Днепре должна была строиться не прямолинейная, а криволинейная и притом весьма высокая — на шестьдесят два с половиной метра от основания. Это необычайно усложняло геодезическую работу.

Геодезисты хорошо знали, как разбиваются железнодорожные кривые, как устанавливаются кривые по городу, по берегам каналов, рек, по границам государственных владений. Все эти работы имели ценнейшее преимущество: они производились на твёрдой, незыблемой земле, на верном, неподвижном грунте.

Разбивку Днепровской плотины надо было выполнить на текучей реке, на которой нельзя утвердить никаких инструментов. При прямолинейной плотине работа сводилась бы к выяснению подлинного расстояния между берегами и к делению этого расстояния на заданное количество устоев-бычков. При криволинейной прежде всего возникала необходимость найти ось на мысленный центр, из которого предстояло описать плотинную дугу, и, кроме того, установить оси всех сорока девяти бычков на тот же самый центр.

Радиус Днепровской плотины имел по проекту длину в шестьсот метров. Необходимо было придумать простой, надёжный и удобный способ для установления ряда равных радиусов на каждую решающую точку будущей плотины. Геодезисты стали искать физический центр, который мог бы служить точкой опоры для инструментов. Сначала надеялись, что удастся использовать скалы Два Брата или соседний Дубовый остров. Но тщательные наводки теодолитов, проверенные математическими



формулами, показали, что центр плотинной дуги не падал ни на один скалистый выступ, поднимающийся из глубин Днепра перед Хортицей.

Нестеров доложил Тихменёву:

— Придётся, Евгений Сергеевич, строить среди реки башню, вернее, что-то вроде маяка.

Для Тихменёва требование Нестерова явилось полной неожиданностью.

— А какая глубина, где приходится центр? — спросил он.

— Пятнадцать метров.

— Это приблизительно?

— Нет, точно. Мы подводили промерный плот и взяли глубину лотом.

— А дно?

— Песок, наносы.

— Значит, снимать?

— Да, метров семь.

Тихменёв подумал.

— Штука внушительная получается.

Специалистам по подводным сооружениям было поручено заложить правее Дубового острова железобетонную башню. Работа началась среди воды, на быстром течении, в очень трудных условиях. Подводников все торопили: и Тихменёв, и Нестеров, и Гуржеев, готовившийся к бетонной кладке, и чаще других Косачёв из партийного комитета. Задержка в разбивке плотины тормозила все работы.

Надо было создать среди реки не просто столб или пилон, а обитаемый маяк с лестницами, по которым можно было бы подниматься в любую погоду и в любое время года. Одно из основных условий заключалось в том, чтобы маяк имел удобные причалы, к которым моторные лодки геодезистов могли бы пришвартовываться даже в ветреные, бурные дни.

К концу лета плотинный центр был готов. Из глубин Днепра, правее Дубового острова, поднялась белая круглая башня с измерительной площадкой наверху.

Строительство требовало, чтобы сейчас же после откачки котлована левого протока геодезисты приступили к разбивке плотины, начав с крайнего сорок девятого

бычка. В управлении отлично понимали, какая большая ответственность лежала на Нестерове и его помощниках. Если они допустят в своих разметках неточности, эти неточностей после бетонировки бычков уже ничем нельзя будет исправить.

Прежде всего геодезисты определили конечные точки плотины на левом и на правом берегах. Это были опорные базисы для дальнейших теодолитных наводок. Строители выложили базисы из бетона,— геодезисты стали относиться к ним с безмолвной почтительностью, точно это были священные знаки.

На башне среди Днепра, на измерительной площадке, установили точнейший секундник. Такой же секундник был укреплён на верховой перемычке левого протока. Эти секундники бережно хранились в замшевых чехлах, в чёрных полированных футлярах, как скрипки Страдивариуса. Нестеров никому, кроме двух своих ближайших помощников, не разрешал ими пользоваться.

Ошибка в наблюдении с геометрического центра на одну секунду вызвала бы ошибку в теле плотины на семь миллиметров. Это значило, что неправильная секущая сделает проход стальных щитов между бычками совершенно невозможным. А между тем щитами предполагалось мгновенно, с беззвучной лёгкостью, запирать и отпирать в пролётах стоящую перед плотиной воду. Геодезисты должны были обладать верным глазом, безошибочной, почти птичьей зоркостью.

По перемычке шли железнодорожные пути. По путям непрерывно ходили паровозные краны. Надо было найти такое место, с которого можно было бы наставить секундник на котлован и в то же время на центр, находящийся на башне. Однако, когда выбрали соответствую точку, оказалось, что перемычка колышется, зыблется, находится под действием напора воды в постоянном движении. Никто из строителей этого не замечал, чувствительные же приборы сразу обнаружили. Таким образом выяснилось, что пользоваться перемычкой для геодезической наводки нельзя,— приборы пришлось перенести в котлован.

Работа Нестерова носила совершенно исключительный характер. Это был не только знающий инженер, но геодезист-мыслитель, увлечённый стоявшей перед ним



задачей, с крайней строгостью относившийся к самому себе. Ни дождь, ни ветер, ни высокие грозные волны, налетавшие на маленькую башню, не останавливали его. Он всегда был на своём месте, на измерительной площадке, пунктуальный, озабоченный, охваченный одним-единственным стремлением — найти плотину.

И однажды утром Нестерову удалось установить центральную мысленную ось плотины. Путём пересечения целой системы воздушных линий он получил место первого бычка в котловане. Это был один из самых ответственных и волнующих моментов на Днепрострое: плотина, существовавшая до тех пор только в чертежах и в воображении строителей, переходила на землю, опускалась на вполне определённое, видимое, осязаемое гранитное основание.

В день одиннадцатой годовщины Октябрьской революции на первом бычке с левого берега — сорок девятом по нумерации проекта — началась бетонировка.

## XVIII

Было уже поздно. Сырой осенний ветер дул из-под низких дождевых туч. Ивась, забыв о времени, заканчивал стремянки, которые должны были понадобиться завтра, как только прогудит гудок.

— Это ты, Баганча?— вдруг окликнул его кто-то сзади.

Ивась обернулся и под фонарём увидел Косачёва. Свет падал сверху, с высоты столба.

— Баганча, друг,— просительно сказал Косачёв. — Надо к утру штук двадцать щитов для опалубки сделать. Холода заходят, того и гляди, мороз ударит. С рассвета по трём бычкам сразу хотим бетонировку дать. И на этом до весны пошабашить.

Ивась посмотрел в черноту ночи.

— Двадцать щитов? Загадал! Да разве я один справлюсь?

— Найдём ещё мастера хорошего. Кого желаешь?

— Давай Махоткнна. С Махоткиньм, может, сообразим.

Сделайте, ребята. Потом как-нибудь выспитесь, отдохнёте.

Ивась опять оглянулся, как бы измеряя глазами глубину и долготу ночи.

— Сделать можно,— сказал он твёрдо. — Поесть бы вот только. Знаешь, с обеда крошки во рту не было. А со щитами напляшешься.

— Слетай в столовку, перехвати чего-нибудь.

— Какая теперь столовка, Никита Матвеевич.

— Тогда вот что. Начинай, не беспокойся. А я еду тебе доставлю.

Косачёв поспешно исчез за накатами ряжевых брусьев.

Через полчаса показался Махоткин.

— Ну, где тут горячка стряслась? — с торжествующим вызовом спросил он, точно чувствовал себя богатырём, готовым разметать все препятствия. — Щиты вязать? Подумаешь! Становись так, чтобы и мне простор был. Становись способней. Нет, брат, шалишь, без плотников далеко не упрыгнешь. Я с первого дня приметил. Над моими словами смеялись тогда. А теперь кланяются? Ага! Нет, стой, плотницкое ремесло в яму не скидывай.

Завизжали пилы, застучали топоры, полетели щепки, стружки.

— Обещал Косачёв еды прислать... — неуверенно сказал Ивась.

— Где её в такую пору найдёшь, еду эту?— насмешливо возразил Махоткин. — На дороге не растёт.

Но неожиданно Косачёв явился. Он принёс пёстрый, довольно объёмистый узелок, осторожно опустил на щепки и развязал.

— Расстарался? — удивился Махоткин.

— А как же.

На ситцевом клетчатом платке лежали красные отборные помидоры, большая горбушка пшеничного хлеба, соль в бумажке и кусок варёного мяса. Мясо показалось особенно соблазнительным.

— Птицы небесные! — ахнул Махоткин. — Чудотворец! Истинно слово чудотворец. И где ты благодать такую отхватил?

— Достал! — усмехнулся Косачёв и с довольным видом расправил усы. — Где подвезло, не скажу, а факт на лицо: скатерть-самобранка на месте.

Ивась и Махоткин опустились на щепки.



— Ох, и вкуснота! У-у...— проговорил Махоткин, откусив сочный помидор и прожёвывая его вместе с мясом. — Пожалуй, и царю не каждый день такое давали, а? Садись с нами, Никита Матвеевич, поделимся.

— Ешьте, ешьте. Я сейчас домой.

Косачёв смотрел, как деловито, аккуратно и вкусно ели Махоткин и Ивась. Они бережно собирали хлебные крошки в ладонь и высыпали их в рот с таким удовольствием, будто нашли необыкновенное лакомство. Было что-то радостное и утверждающее жизнь в том, как ели эти здоровые, крепкие, хорошо поработавшие люди.

— Ну, Ивась, теперь только поворачивайся,— сказал Махоткин, вставая. — Теперь только успевай. — Он перевязал туже тесёмки фартука. — Не успеешь, завтра же раззвоню по всем девчатам, на конфуз тебя подниму.

— А если мне звонить придётся?

Ивась поднял топор, доску, упористо расставил ноги и усмехнулся.

— Как это тебе? — опешил Махоткин.

— Да уж погоняю до утра, будь уверен.

— Меня?

— Вот увидишь.

Косачёв взял пустой платок, встряхнул его, свернул и сунул в карман. Он некоторое время любовался на ловкую работу плотников, потом пошёл в темноту, к высокому берегу. Рой мыслей клубился, летел у него в голове. Завтрашний день, щиты, Ивась, Махоткин. бетонщики, работы, которые надо было успеть поднять до зимы, своя жизнь, прошлое, будущее,— всё это рекой нахлынуло на него и жарко, торопливо, в тревоге и заботе влекло вперёд.

## XIX

Весна пришла светом, ярким небом, тёплыми ветрами. Снега осели, отяжелели, зазернились, стали серыми. Отовсюду забулькало, зажурчало. С юга, со стороны моря, полетели птицы. Шумные стаи галок заиграли над чёрными проталинами.

Тёплые дни точно из короба вывернули кучи враждебных выходок то в одном, то в другом месте.

На левобережной перемычке во время обеденного перерыва сцепились два крановых машиниста.

— Отойди от меня, парень! — угрожающе крикнул на своего соседа широколицый, лет сорока, мастер.— Я твою цену знаю.

— Закройся ты, суслик... А то стукну — присядешь!— огрызнулся румяный черноусый парень, с вызывающей повадкой деревенского удальца.

— Кто стукнет? Отойди, чтоб я тебя не видел.

— Закрой, говорю, пасть!

— Это тебе не с Дуськой шуры-муры на кухне вымурлыкивать. Я тебя поставлю на твою платформу.

— На какую платформу?

— Загремит под ногами,— узнаешь.

— Позавидовал, что Дуська мне улыбается, а тебе нет?

— Да на кой чорт нужна кому улыбка этой девки? Подумаешь, дорога воровкина ласка! Выкатила тебе из кухонной кладовки кадушку масла,— ты и рад!.. Бандиты.

— Какого масла? Опомнись!

— Коровьего,— вот какого!..

— Врёшь, чума тебя разрази!..

— Да видел, видел, не отопрёшься. Знаю даже, где ты то масло держишь.

— Не плети бредней...

— Да ты уже сидишь в бредне. Сидишь с головой. Я под тебя подкачу колёса. Вот пойду сейчас и начисто всё открою.

Он действительно натянул на глаза кепку и быстро двинулся по перемычке к берегу.

Румяный парень некоторое время смотрел ему вслед, потом оглянулся и поспешно кинулся догонять.

— Слушай ты... кипячёный!..— окликнул он уходящего. — Из-за чего горячиться?

— Я знаю, из-за чего.

— Да брось шуметь. Хочешь мировую?

— Широколицый круто остановился.

— Пополам! — отрубил он твёрдо.

— Что?

— Масло, понятно.

Вечером они оба были в дым пьяны и в обнимку куролесили на окраине Вознесенки.

Через день исчез заведующий складом новых инструментов



Мезенцев. Склад оказался наполовину расхищенным, а про Мезенцева стали говорить, что он бывший костромской помещик, кавалергард, служивший в коннице Мамонтова во время кровавого рейда на Орёл. Когда обнаружилось, что столь необычный заведующий бежал бесследно, нашлись люди, которые вспомнили, что он всячески высмеивал самую мысль о Днепровском строительстве. «Себе же на голову трудитесь, ребята.. — язвил Мезенцев тех, кто старался.— Бросить к чорту вредную затею, разойтись по домам, вот и всё!..» Он предрекал беды, грозил тяжёлыми напастями, если его советов не послушают. «Это вторая Вавилонская башня!» — вбивал он в головы некоторых неустойчивых крестьян и рассказывал о грозном расположении звёзд, возвещавшем по его разгадкам неудачу работ.

С первых же месяцев строительства вместе с настоящими работниками хлынула на Днепр тёмная волна всякого человеческого мусора — авантюристы, проходимцы, сомнительные специалисты, искатели быстрых успехов, наживы. Они смотрели на многолюдную стройку, как на место, богатое самыми широкими возможностями, стремились в Кичкас, как на золотые прииски.

Гуржеев видел многих инженеров-путейцев, занимавших когда-то привилегированное положение не по знаниям, не по опыту, а по связям, по богатству, по дворянскому первородству, записанному в родословных книгах Российской империи. Мелкие, косные люди, с узким кругозором, любившие хорошо поесть, покутить, повеселиться, знавшие толк во французских винах, проведшие половину своей жизни за карточными столиками, люди, исполненные затаённого, но неистребимого высокомерия и старых кастовых традиций, презрительно относившиеся к инженерам, окончившим не Петербургский императорский институт путей сообщения, они в работе были равнодушными чиновниками. «На службу не напрашивайся, от службы не отказывайся» — вот правило, какому они следовали.

Но молодых советских инженеров было мало, приходилось брать старых гидротехников, мостовиков, водников, обладавших разными внушительными свидетельствами и удостоверениями от дореволюционных речных и морских учреждений.

Утром в гидротехнический отдел приходил инженер

Истомин, в белом полотняном кителе, в чёрных выутюженных брюках, подражавший щёгольству старых морских офицеров, надушенный, барственный, влюблённый в свои холёные, с серебряной проседью усы. Он целовал руку машинистке Чистяковой, двум чертёжницам и осанисто садился за свой стол, с таким видом, точно всё это было началом какого-то священнодействия. Уборщица Настя, свежая, румяная девушка в сапогах с подборами, удивлённо смотрела на непонятную ей церемонию. Один раз приход Истомина наблюдал комсомолец Костя Макаренко. Он подтолкнул локтем Витьку Савичева, который явился в отдел за получением учебников, и довольно громким шёпотом спросил:

— А почему он Насте не целует руку? Целовать, так уж всем подряд.

Витька только повёл смеющимися глазами на Истомина.

— Д-а... Сунься к Насте, попробуй! Она, брат, сдачи даст.

В геологической партии был старый техник по фамилии Симионов. Пикетажист Данька Голубев, вёрткий, задиристый паренёк, увидев однажды бумажку с этой фамилией, долго вертел её перед глазами, наконец не вытерпел, сказал:

— Мудрёно как написано. Просто в ум не входит, что за слово... Папаша, твоя фамилия Семёнов?

— Это твоя, может быть, Семёнов!— вспылил техник. — А моя Си-ми-о-нов.

— Господи, помилуй!..

Симионов закупал у крестьян топлёное масло, сливал его в глечики, в макитры, в жестяные банки от монпансье, запаковывал в деревянные ящики и отправлял в Москву. На ящиках он огромными лиловыми буквами выписывал: «Осторожно», «Стекло!», «Верх», «Верх», «Стекло!» Он закупал по сёлам множество гусей. Этих гусей на казённых подводах, в клетках, отвозили в Запорожье. Там работница резала их, потрошила, зашивала в пятипудовые мешки, и они тоже уходили к каким-то московским родственникам расторопного техника.

При Симионове работал десятник Сопилка, пройди-свет жулик, человек с тёмным прошлым. Сопилка ходил с теодолитом, напуская на себя важный, начальнический вид.



Иногда какой-нибудь дядько в соломенном бриле робко спрашивал его:

— А шо це, звиняйте, за штука буде?— и протягивал в сторону диковинного прибора указательный палец, согнутый наподобие соколиного клюва.

— Это? Это так называемый фотографический аппарат,— многозначительно говорил Сопилка. — Карточки снимает. Видал карточки?

— Боже ж мой. Звычайно.

— Могу снять, если желаешь.

— А дорого?

— Да что с тебя взять? Тащи пару кавунов да сала шматок,— вот и вое.

— Ах, горе! Далеко бежать до дому.

— А в торбе у тебя что?

— Да щуку поймал...

— Давай пока щуку. А кавуны завтра принесёшь. Становись.

Дядько принимал торжественно-окаменелую позу. Сопилка наводил на него теодолит.

— Стой прямей. Не шевелись. Руки по швам. Замри,— снимаю.

Сопилка чем-то щёлкал и удовлетворённо откидывался от прибора.

— Готово.

На следующий день дядько добросовестно приносил в мешке кавуны, кусок толстого сала и, предвкушая радость видеть своё собственное изображение, растроганно спрашивал:

— А когда, звиняйте, карточка буде готова?

— Через две недели.

— Так долго?

— Хорошо скоро не делается. Это тебе не рыбу ловить. Карточка дней десять в одной химии должна вылежаться. А потом её надо проявлять, закреплять, мыть, сушить, печатать, обратно мыть, гладить, зеркалить,— до биса работ с твоею карточкой. Имей терпенье!

Дядько, почёсывая затылок, уходил. Сомнение закрадывалось ему в душу. Он уже начинал чувствовать, что никогда никакой карточки не получит. А приближаясь к хате, доходил до полной уверенности в этом. «Эх, схватил бога за бороду, снялся!.. — бормотал он

про себя.— Зря только стравил псу гладкому щуку да кавуны. Да ще, дурень, сала пидкинув! Не дай, боже, жинка узнае. А добрая щука была, побей его сила небесная!..»

В массе отовсюду пришедшего на Днепрострой люда таились недавние головорезы из отрядов Махно и из банд его кровавых отпрысков — Савченко, Мамая, Крапивки, Каретникова, которые после бегства «батьки» за границу орудовали в запорожских степях. Пригороды Запорожья — Слободка, Карантинка, Вознесенка — долгое время служили тайным пристанищем для скрывавшихся махновцев.

Ивась видел, что некоторые кузнецы, слесари, бурильщики, монтёры что-то припрятывают в сундучках, а в бараках встречались люди, которые с недоумением и завистью шептали по углам о ловкачах, сумевших поправить своё хозяйство днепростроевским добром.

Склады полны были первоклассного импортного инструмента, медной, алюминиевой, бронзовой проволоки, ценнейших материалов. Всё это под разными предлогами растаскивалось и расхищалось. Однажды привезли на склад несколько тонн прибывшего из Америки высоковольтного электрического провода. Провод был сделан из красной меди, огромные мотки его сияли пышным, жарким блеском, как драгоценные слитки. Ночью пять Вознесенских каменоломов из бывшей махновской вольницы подрыли стену склада и вытащили один из мотков. Моток весил тонну — шестьдесят пудов. Склад стоял на берету. Каменоломы столкнули, провод в Днепр и покатили под водой вниз по течению на Вознесенку. Они тянули его, как полный, тяжёлый невод.

В темноте их окликнул Махоткин, возвращавшийся с мостовых работ:

— Вы что, хлопцы? Неужто по ночам рыбачите?

— Сома поймали. На сомов ночью только и лов.

— Большой?

— Здоровущий! Як бугай.

К рассвету каменоломы прикатили моток к знакомому огороду, разрубили провод на части и стали постепенно продавать из-под полы на базаре. Другой такой же моток скоро оказался у спекулянтов, в Днепропетровске. Происходили странные, загадочные, непостижимые явления: если вечером разгружалась заграничная осветительная



электрическая арматура, утром, просочившись сквозь стены, она уже лежала на базарных лотках или уходила в поездах на Харьков, на Курск, на Одессу.

Случай с кражей медной проволоки наделал много шума. Поразила дерзкая наглость, с какой взяты были шестидесятипудовые мотки. Что-то издевательское было в их исчезновении. Махоткин вдруг понял, на каких рыболовов напал он ночью. Досада, обида, возмущение охватили его. «Вот одурачили, так одурачили!.. Хуже последнего простофили сделали... «Сома поймали...» Я вам покажу теперь сома…»

Он пошёл к начальнику милиции и рассказал, что в ночь пропажи провода видел кучку подозрительных людей, которые что-то тащили вдоль левого берега под водой в сторону Вознесенки. В Вознесенке произвели в нескольких хатах обыск и на чердаке у каменолома Гущи нашли под сосновыми опилками изрубленные прутья красной меди. Гущу арестовали, но своих сообщников он не выдал.

— Как же ты моток прикатил? — допрашивали его.

— А так и прикатил.

— Один?

— Велика хитрость!

— Объясни.

— Вот ещё, буду я вас учить!

— А кто помогал тебе?

— Сомы.

— Не разыгрывай дурочку!

— Говорю, один всё сделал. С одного и спрашивайте.

— Махоткин видел, вас было пятеро.

— Мало ли кому что померещится! Я за Махоткина не ответчик. Может, он пьяный был?

Среди отличных работников, среди строительных мастеров, бурильщиков, слесарей, механиков, плотников, любивших свой труд, суетились, шныряли, крутились шустрые, хитрые, действовавшие в своих тёмных целях люди. От них шла муть разных слухов и слушков, ехидных разговоров, анекдотов и предсказаний, они вносили дезорганизацию, путаницу.

Биржа труда не в состоянии была произвести нужного отбора. Когда народ десятками и сотнями повалил из разных городов, биржа ничего не могла придумать,

кроме одного, крайне несовершенного отсеивающего средства: она отказывалась брать на учёт без справок с места прежней работы. Но это ни к чему не привело. Наоборот — на этом мнимом отсеве запорожские проходимцы открыли для себя источник лёгкого заработка. За двадцать пять, тридцать рублей у них можно было достать какую угодно справку.

В галдеже и крике непрерывно напирающих с котомками на плечах людей, в духоте, постоянных спорах служащие биржи придавали особое значение удостоверениям, написанным на машинке. Печатные слова имели магическое действие. И подпольные «ундервуды» заработали: фабрикация нехитрых документов пошла вовсю. Очень часто на удостоверениях вместо печати оказывались оттиски самых обыкновенных советских пятаков.

В июне произошёл случай, всколыхнувший всё строительство. Поздно вечером в барак плотников на левом берегу пришёл неизвестный человек. Он вызвал десятника плотницких работ, нижегородца Коробова.

— Куда это?

— Инженер Гуржеев требует. Скорей. У реки ждёт.

Коробов вышел и не вернулся. В бараке подумали, что он получил срочное задание на всю ночь. Но утренняя смена нашла Коробова у береговых скал мёртвого, с восемью глубокими колотыми ранами в области сердца. Это был отличный мастер, и смерть его взволновала оба берега: никаких личных мотивов к убийству здесь не могло быть.

— Враги, Никита Матвеевич!..— в тревоге метнулся Романчук к Косачёву. — Надо просветить, узнать, что тут за люди собрались.

— Мы уже послали телеграмму. Оглянись кругом. Сорвать хотят строительство.

— И сорвут!

— Руки коротки. Пальцы обрубим.

Начальник строительства инженер Буров от негодования почернел, как от несчастия, которое обрушилось на него самого. Его старания создать стройный порядок, наладить бесперебойность работ какие-то тёмные силы пытались спутать, разрушить. Он немедленно дал знать милиции и прокурору. Приехал следователь. Начались допросы. Было произведено несколько арестов. Однако,



несмотря на все попытки, напасть на следы преступников не удалось. На рабочих собраниях выносились резолюции, требующие быстрого розыска убийц, беспощадного их наказания и проверки набранных тысяч людей.

— Выловить волков!

— Вырвать у змей жало!..— раздавались гневные голоса.— Выкоренить зловредство, а то бед не оберёшься!

В разгар лета из Москвы приехала особая, назначенная Центральным Комитетом партии комиссия по чистке. Комиссия открыла свои заседания в зимнем театре. Она вызывала служащих и рабочих, всех по порядку, и каждого расспрашивала о его прошлой жизни.

Седой заведующий складом динамита и аммонала Невражин, аккуратный старичок в серой чистенькой рубашке, подпоясанной узким жёлтым ремешком, поразил весь зал. Председатель спросил его о военной службе.

— Служил,— кротко ответил Невражин.

— В какой части?

— В лейб-гвардии уланском его величества полку.

— Кем?

— Ротмистром.

— В Варшаве?

— Так точно.

— Кто же вас принял сюда?

— Биржа труда направила.

— А зачем вы динамит тёмным личностям продаёте?

— Я?

— Будете запираться?

— Позвольте... вам кто-то наклеветал...

— Вы думаете? А вот неделю тому назад в Зиньковцах государственный зерновой склад ваши покупатели взорвали. Один из них пойман. Он дал совершенно ясное показание: «Динамит был куплен на Днепрострое у тихого, уважительного старичка, по фамилии Невражин». Будете возражать?

Невражина тут же, прямо от стола, взяли под стражу.

Принялись и за биржу труда. Материал против неё скопился огромный. Когда комиссия вскопнула самые вопиющие извращения, оказалось, что в бирже почти сплошь засели петлюровцы, всячески противившиеся строительству, утверждавшие среди своих

единомышленников, что гидростанцию хотят создать для порабощения украинского селянства, для того, чтобы хозяевами жизни сделать чужих, пришлых рабочих.

— Что за чушь? — вскипел председатель. — Ведь это бредни умалишённого! Гидростанция, наоборот, нужна, чтобы сделать Украину сильной, цветущей, богатой, хорошо защищённой от врагов. Откуда в ваши головы залетели дикие мысли?

При дальнейшем расследовании выяснилось, что двое из сотрудников биржи труда были связаны с реакционной украинской эмиграцией, что они получали из парижского петлюровского центра недвусмысленные инструкции о мерах противодействия днепростроевскому плану.

Народ стоял стеной и дивился тому, что открывалось перед его глазами.

Через три дня у красного стола давал ответы десятник Кучеренко. Он держался с достоинством, говорил коротко, веско, не спеша. Биография его была хорошая: бедняк, работал пять лет батраком в помещичьей экономии, воевал партизаном против Деникина в Донбассе, против петлюровцев в Полтавщине.

— Кто может сказать про товарища Кучеренка? — спросил председатель.

Зал молчал. Слышались обычные покашливания. Говорить никто не вызывался.

— Не обязательно плохое. Можно и хорошее сказать,— поощрительно обратился председатель к залу.

— Хлопец свой, что говорить...— отозвался голос из глубины зала.

— Вот и скажите.

— Считать проверенным,— предложил кто-то совсем близко от председательского стола.

— Я его знаю. Мне дайте слово,— вдруг решительно заявил из задних рядов Легейда.

— Пожалуйста.

— Всё, что Кучеренко наговорил про себя,— брехня. Никакой он не батрак и не партизан. Кучеренко богатый мельник, мирошник, по-нашему, по-селянскому. У него свой млын на Суле был, в Березоточе. При советской власти млын, конечно, отошёл к обществу. А Кучеренко с этим не



смирился. Едва появился гетман, он силой отобрал млын. Тогда из-за него карательный отряд сердюков в село приезжал. Попробовали мы сердюцких нагаек из-за Кучеренка.

— Да я в Березоточе не жил никогда! — крикнул Кучеренко. – Ты обознался.

— Брось людей обманывать, Кондрат Иваныч! Это я, Легейда, тебе говорю. Может, ты и меня не знаешь?

Председатель смерил глазами десятника.

— Вы возражаете? Кучеренко молчал.

— Значит, Легейда правильно говорит? Кучеренко, опустив голову, тяжело дышал. Комиссия обнаружила кулаков, бывших помещиков, деникинцев, врангелевцев, махновцев. Открылись купцы, пронырливые спекулянты с чёрных нэповских бирж, торговавшие всем, чем угодно, шулера игорных притонов, жандармы, люди с уголовным прошлым. Некоторые из них занимали скромные места завхозов, счетоводов, бухгалтеров, агентов эксплоатации, подрывников, бурильщиков. Член бюро рабочкома Моргун оказался бывшим городовым.

— Эх, чорт, проморгали, раньше не доискались! — вздохнул кто-то в зале.

— Моргун — городовой? — ахнула Надя Ракитная.

— Факт.

— Моргун?

— Ты слушай, что люди доказывают.

К столу неожиданно подошёл Витька Савичев.

— Позвольте слово сказать! Заявление сделать!..— проговорил он взволнованно.

— Пожалуйста.

— Вызовите вон того человека. Вон у столба стоит,— указал он на широкоплечего угрюмого парня, жавшегося к деревянной колонне.

На глазах у всех парень быстро побелел и сделал судорожное движение попятиться, затеряться в густой толпе.

— Подойдите, подойдите. Сюда поближе,— позвал председатель.

Народ раздался в обе стороны. Парень переступил с ноги на ногу. Ноги его не шли. Он в смятении хватался руками за борта своего пиджака.

— Пожалуйте к столу,— настойчиво предложил председатель.

Парень качнулся и, как в тумане, пошёл. Он приблизился чересчур близко, почти к самой красной суконной скатерти, и остановился, не поднимая глаз и как бы ожидая удара.

Люди напряжённо смотрели на него.

Витька Савичев вскинул в сторону парня руку и, волнуясь, заговорил:

— Третьего дня на рассвете вот этот человек рубашку замывал на реке... На рубашке были бурые пятна. Кровь! Чья? Спросите его. По-моему, десятника Коробова.

Стало так тихо, точно все люди, находившиеся в зале, перестали дышать.

Неожиданный уличающий голос, торжественность обстановки, сотни испытующих взглядов,— всё внезапно сразило парня. Он грохнулся перед столом на колени и, заикаясь, пробормотал:

— Винвиннааат... Помилуйте... Не губите! Меня подучили...

Ивась сидел, слушал, вглядывался. Жизнь была сложна, трудна, полна затаённо враждебных сил. Но каждый вечер, возвращаясь в барак, он испытывал такое чувство, будто идёт по полю после грозы, после громов и ослепительных молний, будто воздух кругом становится чище, прозрачней.

Комиссия производила проверку в течение месяца.

Это было общенародное дело, учившее любить, беречь свой труд и горячо заботиться о нём на каждом шагу. Рабочие густой толпой заполняли после смены зал. Затаив дыхание, они слушали рассказы о том, как тёмные проходимцы плели ядовитую паутину, как исподтишка то тут, то там натачивался нож против строительства, как низки, тупы и омерзительны были те, кто жил злобой.

— Прямо за сердце хватает!..— раздавались взволнованные возгласы во время перерывов. — Как же терпеть таких поганцев? Как мириться с ними?..

В результате чистки со строительства было уволено свыше трёхсот человек,— и сразу слаженней, отчётливей, дружнее пошла работа на обоих берегах.



## XX

После новой, весенней откачки котлованов все силы строительства были по-прежнему направлены на подготовку дна Днепра под основание плотины. Особенно много труда, хлопот и забот вызвал левый проток. По предварительным геологическим разведкам предполагалось, что там придётся снять слой дна всего лишь на два или на три метра, после чего начнётся монолитный, цельный гранит. Когда же приступили к бурению, открылась совершенно неожиданная картина. Вода, протекавшая по каменному ложу несчётные тысячелетия, испортила кристаллические гнейсы значительно глубже. Слой жерствы — ослабевшего скального массива — уходил вниз дальше, чем указывали разведки. Самое же главное, скала под жерствой оказалась расколотой мелкими трещинами. Трещины произошли миллионы лет назад под действием первозданных горообразовательных сил земли. Весь слой, поражённый трещинами, надо было удалить. Для этого пришлось взрывать дно котлована на глубину в шесть метров, а в некоторых местах на десять и даже на четырнадцать метров, что уводило уже ниже уровня Чёрного моря.

Гуржеев сейчас же после утреннего гудка шёл к перемычкам. Водоотливщиков, каменоломов, плотников, крановых машинистов, водолазов, бурильщиков,— всех он должен был повидать, всех проверить, всем дать указания. В десять часов начинался доклад у Тихменёва. Тихменёв ставил очередные задачи всегда очень ясно, технически разработано, с такой силой внутренней заинтересованности, что поднимал в Гуржееве желание выполнить всё как можно лучше. Тихменёв никогда не приказывал, никогда не говорил начальническим тоном, он как бы советовался, делился своими мыслями с равным, глубоко опытным и знающим инженером.

После доклада Гуржеев возвращался на левый берег, в свою контору. Туда к нему являлись десятники, техники, инженеры. Потом снова приходилось итти на участки. Все работы так тесно были связаны друг с другом, так решительно и неотложно требовали распоряжений, надзора, присутствия, что Гуржеев уходил домой только поздно вечером. Левый берег полностью находился под

его началом, и ему казалось, что если он уйдёт раньше, на участках что-то погаснет. Надо было непрерывно сливать свою душу с душой рабочих, с теми волнующими задачами, какие стояли перед строительством. И надо было в каждом пункте, в каждом человеке вызывать ответный, встречный подъём.

В котловане левого протока вдоль верховой перемычки, ограждавшей дно со стороны Кичкаса, на специально уложенных клетках из ряжевых брусьев были поставлены электрические деррики с длинными опускающимися и поднимающимися стрелами. Это были мощные неподвижные подъёмники. Взорванный камень рабочие грузили в железные лотки и кузова. Деррики наклоняли стрелы, опускали на стальных тросах тяжёлые кованые крюки — «гаки». На гаки накидывались цепи лотков и кузовов, и деррики уносили их к высокой ряжевой стене,— камень высыпался вдоль перемычки. К грудам камня машинисты спустили экскаватор, а на перемычку поставили паровозный кран. Скрежеща стальными зубами, экскаватор черпал камни и с грохотом высыпал в ковш крана. Кран, как из пропасти, выносил ковш на перемычку и опрокидывал на железнодорожные платформы. Платформы увозили гранит на камнедробильные заводы. Это была американская лестничная подача глубоко разрабатываемого грунта. Звон стальных цепей, звяк гаков, буферов, гул кузовов, лотков, гром сыплющихся камней, свистки и гудки паровозов,— всё это жарко билось, клокотало, ухало, шумело в котлованах и на перемычках, как в разверстом вулкане.

Гуржеев сначала боялся: «Деррики, чорт их побери, слишком сложная музыка... Вряд ли мы с ними справимся... Пожалуй, вручную сделаем скорее и лучше...» Но, не отступая, начал изучать работу незнакомых установок, и скоро в его представлениях об электрических подъёмниках произошёл переворот. Лестничная подача взорванного гранита успешно пошла и в левобережном и в правобережном котлованах. Результат своих собственных трудов волновал Гуржеева, красота согласованной механизированной работы восхищала. Иногда он невольно останавливался на самом глубоком месте котлована, любуясь отчётливой стройностью мощных движений чёрных



дерриковых стрел. В синем небе стальные двадцатиметровые стрелы качались гигантскими взмахами. Тяжёлые ковши летали над котлованом, точно большие грузные птицы.

Испещрённую мелкими трещинами скалу бурили перфораторами и глубокими станками Сандерсона, затем взрывали динамитом или аммоналом. Динамит представлял большую опасность. Если при палении какой-нибудь заряд давал отказ, он мог потом взорваться от любого случайного удара и вызвать несчастье. Аммонал боялся сырости: стоило ему хоть немного повлажнеть, как он переставал действовать. Пришлось прибегнуть к новому взрывчатому веществу, не применявшемуся до того времени в Советском Союзе. Это был жидкий кислород, или, как рабочие говорили, жидкий воздух, который своими взрывными качествами скоро вытеснил и динамит и аммонал.

По предложению немецкой консультации управление купило в Германии у фирмы «Шпренглюфт» две старых установки мелкого заводского типа. Эти установки могли вырабатывать жидкий кислород прямо из окружающего воздуха: океан надземной атмосферы являлся для них неисчерпаемым источником сырья. Инструктором на Днепрострой приехал старый неразговорчивый инженер из Брауншвейга. Вместе с ним работал советский мастер Ефим Коган. Коган оказался талантливым химиком-самородком. Это был токарь Обуховского завода, прошедший огонь гражданской войны красноармеец, пять лет проработавший под руководством Феликса Дзержинского в органах Чека.

— На вас большая надежда, Коган,— сказал начальник строительства Буров перед пуском первого завода.

— Добьюсь,— понимающе ответил Коган.

Ефим Коган неотступно сидел на заводе около баллонов, баков, аппаратуры. Ни одно движение немца не оставалось для него скрытым, необъяснённым. Он читал по ночам Менделеева, Меншуткина, Курнакова, Байкова, Баха. Секрет добывания жидкого кислорода открывался ему всё больше и больше.

Через два месяца Коган знал все тайны немецких установок. Надобность в инструкторе отпала, и оба завода — на левом и

на правом берегах — Коган повёл совершенно самостоятельно.

Жидкий кислород представлял собою голубую, бурно шипящую на открытом воздухе жидкость. Он дымился холодным густым дымом, голубовато-белым, клубящимся быстро улетающим, и имел невероятно низкую температуру — сто восемьдесят два градуса ниже нуля. Медные трубки, по которым он проходил, среди летней жары и зноя обмерзали пушистыми наростами белого снега.

Кислород наливали в специально приготовленные бумажные патроны разных размеров. Патроны подрывники опускали в буровые скважины, просверлённые в граните перфораторами. Жидкий кислород обладал колоссальной взрывной силой: он дробил скалу на мелкие камни. Его нужно было много. Оба завода работала безостановочно, круглые сутки.

Ночью, в снаряжалке, под берегом, Устин Денисов, бывший матрос с черноморского минного заградителя «Коршун», учил подрывников заготовлять электродетонаторы и провода, чтобы взрывы производить электрическим током мгновенно, все сразу. В два часа ночи, когда машины и люди бездействовали, Устин Денисов вводил подрывников в котлован. По всему опасному полю они расставляли переносные столбики, на которых горели красные фонари. Запальщики разыскивали сделанные бурами отверстия. Из снаряжалки подвозили в огромных термосах патроны. В том месте, где дальше ехать было нельзя, патроны вынимали из термосов и несли на носилках.

От патронов исходил щемящий холод, нестерпимый сгущённый мороз. Однажды, когда привезли много кислорода и надо было быстро разнести его по скважинам, для последней кучи снарядов не оказалось под рукой носилок. Подрывник Цимбалюк снял с себя прорезиненный плащ,— и патроны понесли на плаще. От низкой температуры плащ задубел, затвердел, стал похожим на деревянную фанеру. Когда подошли к скважинам, плащ перемёрз совершенно и рассыпался звонкими кусками, как разбитый графит.

— Пропала твоя красота, Цимбалюк.

— Что? Плащ? Другой наживём.

— Жалко всё-таки.



— В бою некогда жалеть!

— А до чего прохватило! Смотри-ка, зазвенел...

— Опускай патроны. Живо! Хлопцы, не стой!..

Патроны, наполненные жидким кислородом, требовалось опустить на дно буровых скважин как можно скорей. Опустив, тотчас же соединяли сеть проводов со всеми зарядами и укрепляли электродетонаторы. Нужно было торопиться. Жидкий кислород обладал крайней нестойкостью: вынутый из термосов, он через двадцать минут терял свои взрывные свойства, испаряясь в воздух.

В котлован закладывали по пятьдесят, по семьдесят, по сто и больше зарядов сразу. Когда всё было готово, Устий Денисов давал знак. Горнист Тимофей Царенко играл протяжный мелодичный сигнал. Царенко воевал когда-то в Первой Конной армии Будённого против поляков. Он играл поход, и перед его глазами проносились эскадроны грозной красной конницы. Этот сигнал волновал всех, кто его слышал. Затем один из запальщиков звонил в подвешенный кусок рельса редкими колокольными ударами. Сталь тенорово звенела в начинавшемся рассвете. После звона Тимофей Царенко играл второй сигнал. Он играл быстро, стремительно, порывисто, звуки трепетали, как крылья птицы. Это был уже боевой сигнал, сигнал атаки. Звук трубы обрывался — и сейчас же били в рельс частыми кричащими ударами. Рельсовый звон нравился подрывникам недолго. Они сняли в кичкасской церкви колокол и перед взрывами начали бить в громкую литую медь. Колокол кричал ещё тревожнее. Звуки его разлетались набатом. В котловане для подрывников был устроен по военному образцу защитный блиндаж. Там находился электрический рубильник. Едва замолкал последний удар колокола, как Устин Денисов вжимал в щитовую доску чёрную ручку — ток включался, и моментально раздавался потрясающий гром.

Иногда зарядов было свыше двухсот. Гром гремел гулами, как артиллерийская канонада целого фронта, достигшая высшей своей мощности. Гранит был железно твёрд. В каждом котловане приходилось сверлить десятки тысяч скважин. Взрывы производились три раза в сутки: Ночью — в предрассветные часы, в обеденный перерыв и вечером — в перерыв перед ночной сменой.

При дневном свете опасный район вместо красных фонарей ограждался красными флажками.

Бурильщики поднимали сумасшедший грохот. Вгрызаясь в гранит, перфораторы пулемётно стучали, жужжали, ревели, выли. От перфораторов вздымалась белая каменная пыль. Пыль нескончаемой тучей клубилась над перемычками с утра до ночи, и оба котлована казались похожими на кратеры, готовые к извержению.

Среди бурильщиков были замечательные мастера — Кузьма Петренко и комсомолец Тициан Хачапуридзе. Хачапуридзе работал на Кавказе в дорожном отряде, строившем в горах шоссе. Однажды вечером, когда шоссе уже кончали, к костру у рабочих палаток подошёл человек из геологической партии, обследовавшей горы. Человек остался ночевать и весь вечер говорил про Днепрострой, откуда только что вернулся из экскурсии. Он говорил так, будто рассказывал сказку. У Хачапуридзе зажглось сердце от этих удивительных рассказов. Он едва дождался окончания шоссе и уехал на Днепр. Высокий, сильный, сухощавый, лёгкий в движениях, Хачапуридзе виртуозно владел перфоратором и каждый день успевал пробурить больше, чем кто-нибудь другой. Голова его была повязана, как чалмой, тонкой горской тканью из коричневой шерсти. Концы ткани свешивались вдоль ушей на плечи. Чёрные густые брови, и длинные изогнутые ресницы Хачапуридзе серели от пыли.

Златоустовский плотник Кондратов, бывший чапаевец, долго присматривался к работе ловкого комсомольца.

— Смотри, что делает Птициан Кавказец! — восхищённо сказал он своему соседу. — Прямо скала расступается под его машиной.

Так за молодым стремительным грузином и укрепилось неожиданное имя — Птициан Кавказец. Комсомольцы иногда называли его просто Птицей,— и Хачапуридзе в ответ снисходительно улыбался, сверкая свежими, белыми зубами.

— Пачиму птипа? Какой птица?

И в тон ему Костя Макаренко отвечал:

— Хороший птица. Самый лучший птица. Орёл птица. Согласен?

— О-о! Согласен. Спасибо...



Хачапуридзе обнимал Костю за плечи и начинал с ним бороться.

В сумерки Хачапуридзе садился на берегу Днепра и задумчиво смотрел на широкую многоводную реку. Ровная степь без конца и края ему не нравилась, она давала ощущение тревожной пустоты, но Днепр очаровывал спокойной, ничем не возмутимой силой. Хачапуридзе вспоминал синие Кавказские горы, кручи, стремнины, водопады и родной аул. Сложенные из дикого камня сакли вставали перед его глазами. Он видел девушек, идущих рано утром с медными кувшинами на плечах к бешеной горной реке, и среди них Нину Ангуладзе. Чёрное старенькое платье, чёрный длинный платок, неслышная быстрая поступь, как наяву, возникали перед ним. Из-под платка на мгновение выглядывали весёлые яркие глаза и сейчас же застенчиво прикрывались ресницами. Старый Ангуладзе бережёт дочь для какого-нибудь завидного, по его мнению, почтенного по возрасту и положению жениха. Забудь о ненужных обычаях, отец. Ты увидишь, как Тициан Хачапуридзе увезёт Нину в город, в большую, необыкновенную жизнь. Он приедет с Днепростроя мастером, умелым человеком, ему везде дадут место, везде примут с почётом... И тебе не будет плохо, старик!

Днепр синел всё гуще и гуще, вверху появлялись звёзды. Хачапуридзе сидел на берегу и тихо пел:

Сакварлис саплавс ведзебди,
Вер внахе дакаргулико!
Гул амосквнили встироди:
Сада хар, чемо Сулико?..

Из шлюзового канала возвращались в бараки девушки. Красные и белые косынки мелькали в синеве сумерек. Некоторые останавливались послушать незнакомую песню. Слова были непонятны, но сила тоски, нежности и ожидания невольно трогала за сердце.

Один раз Хачапуридзе оглянулся и, поражённый, замолк: на него пристально смотрели большие чёрные глаза Нины, чем-то испуганные и огорчённые... Только через мгновение он понял, что это не Нина.

Что же ты? — удивилась девушка, стоявшая впереди. — Пой дальше. Нам интересно.

— Кончил.

— Спой ещё, Птициан! Это ваша грузинская? Спой, пожалуйста!

— Сейчас нет.

Хачапуридзе не мог отвести взгляда от худенькой девушки, смотревшей на него.

— Хорошая песня, замечательная! Спой, мы послушаем,— продолжала просить другая. — Никогда грузинских песен не слыхали.

— Нет, сегодня не буду.

— Мы тебе за одну грузинскую две украинских споём.

— Нет.

— Гордый какой. Эх, Птициан, Птициан!.. Девчат уважить не хочешь. За что тебя люди хвалят, не знаю...

Девушки повернулись и пошли своей дорогой, к женскому бараку. А Хачапуридзе в недоумении остался на берегу.

Поразившая его девушка была Райка Гиршман, родом из Богуслава, прозванная на строительстве. Богуславкой, многих волновавшая знойной восточной застенчивостью и красотой.

## XXI

На многолюдном общем собрании обсуждался вопрос о посылке делегатов на профсоюзную конференцию в Москву. От семи с половиной тысяч днепростроевцев надо было выбрать восемь человек. Выкриками из разных концов зала кандидатов назвали свыше тридцати.

— Баганчу! Баганчу! Ивася!..— с весёлой настойчивостью повторяли плотники.

В конце концов выбранными оказались председатель рабочкома Романчук, Гуржеев, Ивась, Магомет Гарифов и комсомольцы: Витька Савичев, Лукийка Бойчук, Костя Макаренко и Семён Волошко.

Поездка в Москву обрадовала Ивася. Она пришла неожиданным праздником. В том, что его выбрали, почувствовал какое-то внутреннее своё возвышение.

Москва поразила величием Кремля, огромными зданиями, многолюдством, мельканием мчавшихся взад и вперёд автомобилей, непрерывной суетой. Город был шумен и необъятен. Когда экскурсовод поднял делегатов в лифте на плоскую крышу десятиэтажного дома где-то



около памятника Пушкина, Москва предстала перед Ивасем бесчисленным множеством крыш, домов, улиц, простиравшихся во все стороны, до самой линии горизонта.

На Красной площади он вместе с другими в почтительной сосредоточенности стоял в длинной очереди к мавзолею. Красный и чёрный мрамор облицовки строго блестел у высокой стрельчатой стены. На Спасской башне серебряными прозрачными голосами заиграли куранты. Вслед за нежными певучими звуками раздалось пять звонких колокольных ударов. И в этот момент один за другим днепростроевцы вступили на гранитные ступени мавзолея. В благоговейном молчании они стали спускаться вниз, к телу человека, начавшего великую социалистическую революцию. Ступени уходили всё ниже и ниже. Величавая тишина господствовала под землёй. И вот глубоко внизу, посреди небольшой, выложенной полированным гранитом площадки, под остро поднятой стеклянной пирамидальной крышей показалась гробница. В ней лежал Ленин в военном защитно-зелёном френче, спокойный, мудрый, простой. Лицо его было воскового цвета, могучий лоб светился бессмертной силой, сомкнутые, как во сне, веки казались живыми. Руки были протянуты вдоль френча, пальцы тихо согнуты.

Медленно проходя мимо гробницы, Ивась чувствовал в себе сыновнюю преданность, самоотверженную готовность отдать всю свою жизнь великому делу, завещанному вождём. Сзади шаг в шаг шли люди, которые тоже хотели поклониться Ленину, остановиться было невозможно ни на одно лишнее мгновение, и Ивась невольно начал подниматься по ступеням на площадь.

Весь день потом его не покидало торжественное, исполненное внутренней значительности состояние.

Днепростроевская делегация всюду пользовалась особым вниманием. «Днепрострой» было героическим словом. Это строительство у всех вызывало нетерпеливый интерес, в котором сквозили изумление и надежда, любопытство и зависть, как новая, только что открытая земля, часть этих чувств как-то сама собой переносилась на людей. На заседаниях, в театрах, в музеях, в гостинице, столовых,— везде Ивась чувствовал себя в положении человека, делающего необыкновенное дело, о котором говорят с гордостью.

Перед закрытием конференции Романчуку, сидевшему в президиуме, неожиданно сказали, что всю днепростроевскую делегацию вызывает секретарь Центрального Комитета партии Молотов.

— Когда явиться?— осёкшимся голосом спросил Романчук.

— Завтра к десяти утра.

Романчук в волнении оглядел всех, с кем приехал. Он вдруг оробел, точно ротный командир перед смотром, к которому не готовился.

— Ну, ребята,— по нескольку раз обращался он к делегатам в гостинице, объединяя в слове «ребята» и беспартийных и комсомольцев, и Гуржеева и Лукийку Бойчук. — Если будет что спрашивать, говори начистоту, в кусты не лезь...

Ночь прошла тревожно. Настало утро. Москва шумела густым шумом. Гул автомобилей, автобусов, трамваев кипел со всех сторон. Несмотря на ранний час, жара началась сразу. Солнце ярко играло на проносящихся машинах, на фасадах зданий. Днепростроевцы деловой кучкой шли по незнакомым каменным улицам, торопясь притти точно, как было назначено. Вот и высокое здание Центрального Комитета. Романчук, подтянувшийся, чисто выбритый, заметно побледневший, открыл тяжёлую дубовую дверь. Все восемь человек вошли в вестибюль.

— Ваши пропуска? — опросил часовой стрелок.

— Нас вызвали... Мы с Днепростроя...— нерешительно проговорил Романчук.

— Товарищ дежурный!

Дежурный проверил документы, справился со списком.

— Можно,— сказал он стрелку.

Стрелок показал на маленькую дверцу. Лифт с мягким гулом полетел вверх. Блеск паркета, строгая, величественная тишина и чистота, открывшиеся на последнем этаже, сообщили всему окружающему особую торжественность.

— Вот куда попали, Ивась! Ай-я-яй!..— восторженно прошептал Магомет Тарифов. — Сказать в нашей татарской деревне, ни за что не поверят!

У входа в коридор, перед запертой дверью, стоял средних лет человек в сером штатском костюме. Он тоже спросил пропуска.

— Проходите.



В приёмной делегацию окинул быстрым взглядом молодой, тихий, почти безмолвный секретарь в военной форме. От волнения у Ивася похолодели руки. Он почти утратил ощущение своего сильного тела. Посмотрел на Гуржеева. Серые глаза Степана Андреевича потемнели.

Через минуту раздался короткий чёткий звонок. Секретарь бесшумно скрылся за дверью. Прошло несколько томительных мгновений. Наконец створка двери раскрылась, секретарь вернулся.

— Пожалуйте,— сказал он тихо.

Ивась вместе с другими вошёл в кабинет. Обилие сухого солнечного света, открылось его глазам. В глубине огромной, отделанной светлым дубом комнаты он увидел Молотова. И сейчас же почувствовал что-то похожее на робость и счастье, какое-то мгновенное замирание в груди, будто взлетел вверх, на недосягаемую высоту: рядом с Молотовым, сбоку у стола, сидел Сталин.

— Привет днепростроевцам! — сказал Молотов.

— Здравствуйте, здравствуйте, товарищи! — с тёплой испытующей улыбкой проговорил Сталин. — Как дела? Садитесь.

Романчук начал говорить. Голос его прерывался. Он рассказывал о тяжёлой зиме, о борьбе с ветками, с морозами, с водой, о работе водолазов, лучших плотников, машинистов, слесарей, водоотливщиков. Потом перешёл на чистку.

— Мразь надо выкинуть,— твёрдо сказал Сталин. Романчук говорил о бараках, о банях, о поликлиниках, о столовых, о снабжении одеждой и обувью.

— А как инженерная часть? — спросил Сталин Гуржеева, точно давно знал и не раз видел его.

— Всё идёт по плану, Иосиф Виссарионович. Правда, механизация осваивается с большим трудом, с напряжением, с мозолями, я бы сказал. Но мы уже овладели паровозными кранами, экскаваторами и электрическими Дерриками. Созданы курсы...

— Больше надо! Больше курсов. Смелей заставляйте молодёжь учиться. Народ наш замечательный. Он любой машиной может управлять. Да и для инженеров преподавание полезно: это повышает, углубляет уровень знаний. Учиться, итти вперёд надо каждый день. Кто не учится, тот не инженер.

— Кранов недостаточно. Бурильные станки, заказанные в Германии, прибывают не во-время.

— Запаздывают?

— Очень. Все договорные сроки немецкие фирмы нарушают.

— Это мы учтём.

Сбоку от стола висела огромная карта мира. Разноцветно раскрашенные материки как бы летели в меридианах. Лукийка сидела вытянувшись, вся превратившись в слух. Сталин по-отечески пристально посмотрел на Ивася, на Магомета Гарифова, на Костю Макаренко, на Лукийку, на Витьку Савичева, на Семёна Волошко. Каждого взвесил, раскрыл, оценил в своём сознании. Это была хорошая, крепкая молодёжь, готовая к любому подвигу.

Товарищи,— сказал он просто и проникновенно. — У вас сейчас начнётся самое ответственное дело — бетонировка. Каждый на своём месте должен быть заботливым мастером, старательным тружеником, Учитесь всё делать хорошо. Днепрострой — наш, нашим трудом, нашим разумом и нашей волей создаваемая гидростанция. Она будет служить нам всем.

Ивась видел яркие, ободряющие глаза Сталина. Свет уверенности и силы шёл из этих глаз ему в сердце.

— Поезжайте. Работайте. Помните, что мы здесь ждём ваших успехов.

Взгляд Сталина перешёл на Лукийку.

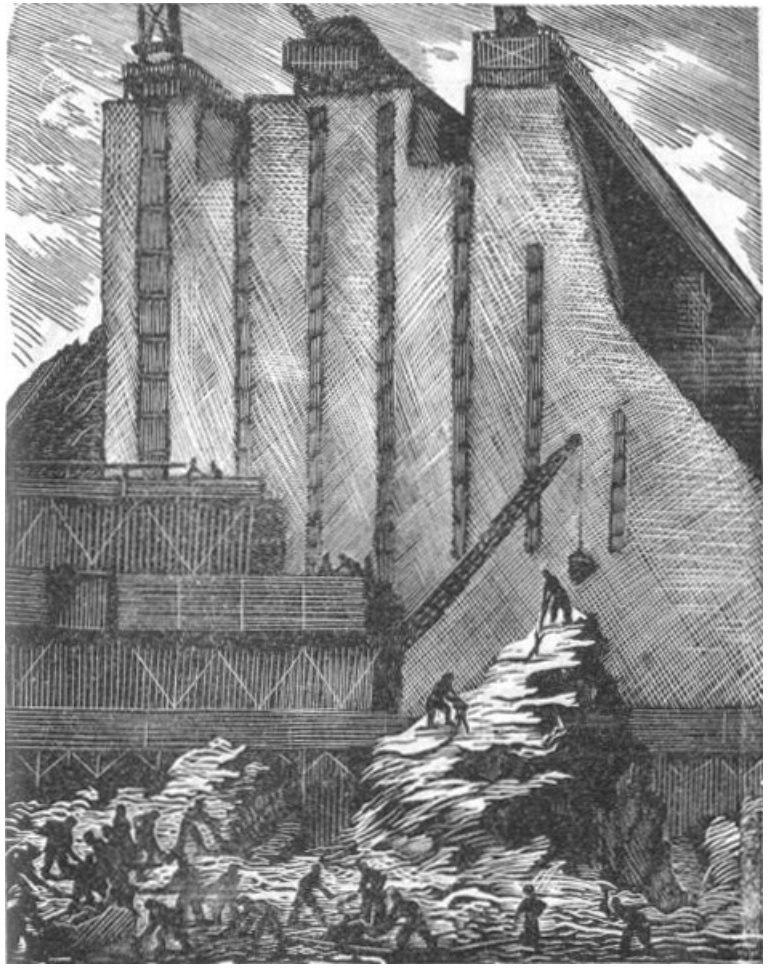
— Девушки могут сослужить Днепрострою величайшую службу. Я уверен, что они будут работать не хуже мужчин. Правильно я говорю, товарищ Бойчук?

— Правильно, Иосиф Виссарионович! — порывисто проговорила Лукийка.

— Ну, вот. Будьте счастливы, Мы ещё не раз увидимся с вами.

Сталин, как радушный хозяин, вышел из-за стола и, улыбаясь, пожал руку Романчуку, Гуржееву и всем остальным. Ивась почувствовал крепкую, мужественную ладонь, сухие, сильные, быстрые пальцы. И ощущение лёгкости, решимости, беззаветности охватило его. Он вышел из озарённого солнцем кабинета в такой радости» какой ещё никогда не испытывал. Каждый в эту минуту сознавал, что с ним произошло событие чрезвычайное, которое он будет помнить до конца своей жизни.





# ЧАСТЬ ВТОРАЯ

правление строительства готовилось к бетонировке, как штаб фронта к решительному наступлению. Тихменёв проверял бетонные и камнедробильные заводы, бетономешалки, дозировщиков, ходил на курсы бетонщиков, устраивал испытания для крановых машинистов и такелажников, чтобы знать, как они будут подавать с перемычек бадьи с бетоном в глубину котлованов.

Машинист и такелажник: представляли собой неразрывную пару, живой двуединый инструмент, действовавший в такой же гармонии, как скрипка и смычок. Машинист из кабинки паровозного крана не видел, в какую точку он должен опустить стрелу, куда повернуть, на какую высоту поднять груз. Его глазами был такелажник. Такелажник стоял в стороне от кабинки, всегда против окошечка, на виду,— и ладонями, пальцами, выразительными мелкими жестами сигнализировал, что должен делать машинист. Пальцы жили, двигались, играли, говорили без слов, беззвучно кричали, командовали, просили. Этот немой разговор обозначал:

— Вверх! Вниз! Правей, левей. Чуть-чуть ниже. Ещё ниже. На волосок ниже. Стоп!..

От портовых лебёдочников и грузчиков машинисты и такелажники вместо слова «вниз» научились говорить — «майна!», вместо слова «верх» — «вира!» И морские эти команды пошли по строительству, прижились на подъёмных работах, одинаково понятные всем: и русским, и грузинам, и армянам, и татарам.

На берегу, на ровной земле, около железнодорожной ветки, Тихменёв приказал поставить деревянную опалубку, такую же, какие должны были стоять в котлованах при бетонировке бычков. Гуржеев и Сухонин отобрали лучших крановых машинистов. В стороне от опалубки был поставлен покрытый кумачом стол и две скамейки. За стол сели Тихменёв, Гуржеев, Косачёв и Романчук. Вокруг, как в театре, подковой теснились грабари, землекопы, каменоломы.

Тихменёв подал знак, и первый такелажник заиграл сигналы. Машинист сделал широкий разворот стрелой, пустая бадья птицей полетела в воздухе. И началась работа.

Пары сменялись парами. Чувство соревнования, смелости, удали, желания обнаружить свои способности владело людьми. Испытание превратилось в конкурс, каждой паре хотелось оказаться самой лучшей. Машинисты и такелажники, волнуясь и горя, выполняли одну задачу за другой. Огромная бадья перелетала с места на место, то на условную платформу, то в бездну условного котлована.

Тихменёв (встал и стоя следил за работой. На лице его появилось выражение уверенности. Когда кончила последняя пара, он сказал:

— Ну, вот! Говорили, что машинистов надо выписывать из Америки или наших посылать туда. Сейчас я вижу, что никакой Америки вам не надо. Вы можете работать превосходно. Необходимо только одно: дисциплинированность. Некоторые такелажники уже сейчас действуют артистически. Имейте в виду: тех, кто проявит настоящее уменье в труде, мы будем всячески поддерживать.

Романчук тут же объявил решение комиссии: Савичева, Волошко и Кучугуру премировать жёлтыми шевровыми ботинками. Кроме того, Савичеву и Волошко, как особо отличившимся, выдать по сто рублей.

Был высокий солнечный день. Ветер с юга нёс запахи реки и разогретой полыни. Жизнь расстилалась перед каждым заманчивой далью, простором дружбы и радости. И тут же, у стоящего на земле стола, много молодых парней записалось на курсы: одни хотели быть такелажниками, другие машинистами.



Состав бетона для плотины долго вырабатывался Тихменёвым совместно с американской консультацией. Крепость, стойкость, водонепроницаемость, морозоустойчивость,— вот свойства, какие требовались от бетона. Плотина должна была стоять века. Чтобы получить надёжный бетон, надо было хорошо обдумать, в какой пропорции и какого качества брать составные его части: цемент, песок, щебень и воду. Здесь должно было проявиться искусство советских и американских строителей.

Американцы предъявили очень высокие требования к песку. Светло-золотистый, почти белый береговой днепровский песок неожиданно был ими забракован. Степной песок из сухих окрестных бай раков и балок тоже был признан непригодным.

— Лучше всего морской песок и то не всякий,— настаивал Купер. – Надо искать на азовском или на черноморском побережье.

Ещё летом двадцать восьмого года к южным морям были посланы из геологической партии два молодых инженера, которые привезли в управление десятки мешков с пробами из разных мест. Купер, Гаррисон и Холл занялись исследованием этих проб с такой пристальностью, будто перед ними были образцы золотоносных россыпей. В конце концов все трое остановились на одном мешке.

— Великолепно! — воскликнул Купер, и желтовато-зелёные глаза его довольно блеснули. — Как раз то, что надо. Идеальный песок. Именно такой и необходим для несокрушимой плотины.

На пришнурованном к мешку деревянном ярлычке стояла красная сургучная печать и выведенная химическим карандашом надпись: «Береговая полоса близ Евпатории».

Под Евпаторией были заложены обширные карьеры. Управление Днепростроя провело туда от евпаторийского вокзала временную железнодорожную ветку. Песок длинными составами пошёл на строительство.

Щебень должны были вырабатывать камнедробильные заводы из гранита, который взрывался в котлованах и на скалах Богатырь, Дурная и Сагайдачный. На правом берегу гранит сверлили немецкие бурильные станки фирмы Вирта, на левом — американские, фирмы Сандерсона.

Гуржеев и Сухонин пришли к выводу, что крестообразные американские буры значительно выгоднее двугубых немецких. Американские были быстрее в проходке и реже заклинивались в скале. Глава немецкой консультаций инженер Руммель с негодованием отверг это утверждение.

— Лучше немецких станков ничего в мире нет. И быть не может.

— Давайте в таком случае устроим испытание,— предложил Гуржеев.

— Зачем?

— Ну... хотя бы для того, чтобы доказать, что действительно немецкие станки не имеют себе равных. А то, знаете, рабочие недовольны...

— Ваши рабочие не умеют работать.

— Поставьте для испытания своего инструктора.

Отказаться или под каким-либо предлогом уклониться от испытания было неудобно, тем более, что высокий бритоголовый Сухонин во всеуслышание заметил:

— Если станок Вирта лучше американского, ему нечего бояться. Испытание будет только официальным триумфом. Но если вы сомневаетесь, тогда, конечно, дело другое...

Была создана особая комиссия. Станок Вирта перевезли на левый берег. Там его поставили на скале Дурной, рядом с Сандерсоном. Немцы тщательно подготовились к проходке. Они отобрали лучшие буры и специально их прокалили. Дело шло о чести фирмы, о дальнейшем продвижении станков на советский рынок.

Инструктор по бурению Битнер, тучный, семипудовый человек, с самонадеянным красным лицом, говоривший обо всём с фельдфебельским апломбом, беспокойно перебегал от станка к станку, смотрел, как заправлен американский бур, сравнивал эту заправку с своей. Сухощавый американец Джонсон спокойно стоял в стороне и курил трубку. Запах великолепного кепстена раздражал Битнера.

Наконец всё было готово. Битнер вытер со лба крупные капли пота. Джонсон погасил трубку, хронометражист пустил хронометр. Станки заревели, сжатый воздух завыл, сталь зазвенела в два ноющих голоса,— проходка началась. Клубки белой пыли вились, вылетали из скважин, как дым. Сталь всё глубже врезалась в скалу.

Через полчаса комиссия проверила обе проходки:



скважина американского станка оказалась на сорок сантиметров глубже.

Битнер побагровел. Глаза его от смятения и растерянности стали мутными.

— Дас ист унмёглих!— возмущённо вскричал он.— Это невозможно, невозможно!.. Тут ошибка, неприятная случайность. Надо делать новую проходку. Нох эйн маль! Прошу вас!..

— Стоит ли? — примирительно сказал Сухонин.

— Я требую! Я не признаю этого результата!..

— Хорошо. Хронометр!

Битнер суетливо кинулся к станку, с неожиданной гибкостью упал коленями на камни, согнулся, почти лёг, стал подвинчивать какие-то гайки, лихорадочно стирать пальцами пыль, дуть на коленчатые винты под клапанами. Всё проверив, он выпрямился и занял своё место, стараясь не смотреть в сторону Джонсона.

Сухонин скомандовал:

— Начи-най!

Снова щемяще зазвенела в граните сталь буров. Звон поднялся до пронзительных, воющих нот. И снова американский станок дал большую глубину.

Битнер обливался потом. Он вытирал мокрым, посеревшим от пыли платком щёки, лоб, шею. Его глаза были полны замешательства, стыда, злости. Платок превратился в жалкую тряпку.

Чтобы скрыть торжествующую улыбку, Джонсон сжал тонкими губами трубку и, как ни в чём не бывало, снова закурил.

Сладкий аромат кепстена полетел над местом испытания. С невозмутимым, независимым видом Джонсон взял маленькую длинноносую маслёнку и смазал в своём станке запылившиеся части. Он напоминал собой в этот момент жокея, который после счастливых скачек даёт победившей лошади кусочек сахара.

После этого испытания оба берега перешли на бурение гранита только американскими станками.

Камнедробильные заводы были оборудованы известной германской фирмой Круппа. Монтировали их немецкие и советские мастера. Монтаж был закончен в середине зимы, и Тихменёв распорядился оба завода пустить в ход немедленно, чтобы к моменту бетонировки добиться строй-

ного действия всех механизмов и научиться дробить не меньше двухсот пятидесяти тонн камня в сутки.

Однако сразу же начались тяжёлые неполадки. Каждый завод представлял собою ряд взаимно связанных друг с другом механизмов. Если останавливалось хоть одно дробильное звено, моментально останавливался весь завод. Поток камня прекращался, работа замирала. Почти все механизмы требовали длительных исправлений. Днепровский гранит оказался настолько твёрдым, что сталь дробилок не выдерживала его. Качество камня превзошло все расчёты фирмы на возможный допуск твёрдости.

— Вот чортов камень!— ожесточённо ругались механики.— Наверно, черти в пекле ковали.

— Настоящий запорожский,— радовались гидротехники. — Он здесь твёрже, чем в Карпатах. Золото, а не камень.

— Прямо хоть плачь с этим золотом...

— Уж если крупповские машины зубы себе пообломали, значит, плотину поставим крепкую.

— А как же работать? Разве это дело? Одно сплошное мученье.

Вместо десяти думпкаров в час, заводы с величайшим напряжением дробили пять думпкаров за три смены в то не каждый день. Были недели полных простоев. Металлические части изнашивались с невероятной быстротой. На лотки пробовали ставить дополнительную броню, для чего брали чугунную плиту в семь раз толще рассчитанной Круппом. Через две недели плита изнашивалась до дыр. Крупповского стального листа хватало только на двадцать часов.

Гранит во время дробления поднимал густую, невыносимую пыль. Пыль забивала глотку, слепила глаза. Она садилась на шестерни, на подшипники, на шейки валов, на цепи, несущие ковши со щебнем, переедая трущиеся части. Механизмы от камня и пыли таяли, сгорали буквально на глазах. Все цепи приходилось менять через каждые десять дней. Для борьбы с пылью была установлена специальная вентиляционная система, камень перед дроблением поливали из пожарных шлангов водой.

Куски гранита разламывались челюстями камнедробилки, делавшими частые сжимательные движения. Челюсти катастрофически быстро приходили в негодность,



несмотря на то, что это были плиты марганцевой стали. Плиты с оглушающим грохотом и скрежетом мяли, сплющивали, жевали поступающий камень. Ломающиеся глыбы сверкали брызгами искр. От невероятного сопротивления сталь постепенно раздавалась во все стороны, расплывалась, как тесто, изумляя мастеров своими неслыханными превращениями. Сталь до такой степени выходила из первоначальных форм, что её почти невозможно было вытащить из рам,— слесари до седьмого пота бились над испорченными плитами, чтобы заменить их новыми. Большие куски гранита часто приходилось вынимать из машины обратно, разбивать где-нибудь в стороне вручную и потом по частям снова пускать в дробилку.

Загрузка бункеров была делом чрезвычайно трудным, требовавшим сноровки, точности. Камни часто из кузовов рассыпались, разбивали бункера, сокрушительным обвалом летели под ноги людям. Оба камнедробильных завода доводили своего начальника, инженера Загоруйко, до отчаяния. Старательность, заботливость, напряжённые усилия,— всё было напрасно. Сплошь и рядом заводы не успевали передробить больше трёх, четырёх думпкаров в день. Сколько Загоруйко ни крепился, но в конце концов не выдержал.

— Евгений Сергеевич, пощадите,— взмолился он перед Тихменёвым. — Пошлите меня на какую-нибудь другую работу!

— Хотите уйти с поля битвы?

— Но сил нет!

Тихменёв с дружеским участием спросил: — Вы отдаёте себе отчёт в своих словах?

— Я измучился, издёргался, дошёл до малодушия...

— Бросить работу легко. Но подумайте, как к вашему поступку отнесутся рабочие, инженеры, общественность.

Тихменёв переложил на столе карандаш, точно именно карандаш представлял непреодолимые препятствия.

— Вот что я вам скажу, дорогой Николай Гурьевич. Вы молоды, сильны, хорошо начали инженерский путь. Ваша победа сразу создаст вам имя среди днепростроевцев. Разве можно поддаваться минутным настроениям?

— Значит, опять лезть в дробилки?..

— Непременно!

— Несчастье...

— Откуда вы взяли! А я утверждаю обратное: трудная задача — счастье. Только надо его завоевать. Никакое счастье, даже счастье любви, даром не даётся!.. Возьмите себя в руки, Николай Гурьевич. Мне пришлось когда-то работать по расширению Владивостокского порта. Адское дело, доложу вам. Волны, прибои, сила воды безмерная: что ни заложишь, что ни вобьёшь, всё смывается. О-ке-ан! Недаром говорится — Великий! И тем не менее мы всё сделали, что требовало строительное искусство. Идите на Завод, продолжайте ваш труд, который, повторяю, вы очень хорошо начали.

Загоруйко молча пожал Тихменёву руку.

И работа продолжалась, не останавливаясь. Она была подобна битве, которую во что бы то ни стало надо выиграть.

Пока гранит шёл с верхних слоёв котлованов, дробилки ещё кое-как действовали. Но когда начали поступать серо-синие глыбы из восьмиметровой глубины, механизмы стали портиться с быстротой, которая пугала.

— Что такое? — спрашивал сам себя Загоруйко. — Неужели камень забьёт меня?..

Чем глубже в ложе Днепра, тем всё твёрже и твёрже был гранит.

В это время в газетах появилось сообщение, что ЭПРОН поднял со дна Чёрного моря броненосец «Мария». Броненосец пролежал под водой свыше десяти лет. «Какая же сталь в броне? — неожиданно подумал Загоруйко, всматриваясь в газету. — А вдруг это клад, клад, который можно взять в руки?..»

Было одиннадцать часов вечера. Он позвонил Тихменёву на квартиру. Тихменёв обрадовался предложению и сейчас же распорядился закупить всю броню с «Марии». В ту же ночь в Севастополь была послана телеграмма и командирован агент хозяйственной части.

Высококачественная боевая сталь, выплавленная когда-то Путиловским заводом, оказалась обладающей чудесными свойствами: она не поддавалась никакому граниту, выдерживала самые твёрдые куски, сокрушительно молола крепчайшие крупнозернистые гнейсы.

И оба завода к концу июля начали давать гранитный щебень полным плановым потоком. Это были дни торжества



Загоруйко. Он повеселел, ожил, на лице его появился румянец.

— Ну, Николай Гурьевич, выбирайте,— предложил ему Тихменёв:— Сочи или Ялта?

— Пока сезон бетонировки не кончится, никуда. Теперь я не только на коне, но и в седле. Подождём зимы, Евгений Сергеевич. Дайте мне насладиться успехом.

— Что ж. Не плохо. Согласен.

Загоруйко ввёл круглосуточную работу: две смены дробили, третья занималась исключительно ремонтом. Ремонтную бригаду Загоруйко составил из лучших механиков и слесарей. Получился настоящий боевой отряд. Он работал всегда ночью, при ослепительно резком электрическом свете, всегда в спешке, всегда в опасении не успеть закончить того, что к утру должно было быть в полной готовности к новой трудной работе. Механики и слесари лазили по лоткам, по бункерам, по броненосным плитам. Всё, к чему они прикасались, было покрыто густой едкой пылью. Пыль лезла в глаза, в нос, хрустела на зубах, вызывала кашель. Но напряжённый труд рождал героические чувства. Портреты ремонтщиков печатались в газете, выставлялись в фойе театра,— люди эти стали пользоваться почётом, почти таким же, как и водолазы.

## II

Наконец началась кладка плотины, началась почти одновременно в левом и в правом протоках. Наступил момент, которого все давно ждали.

Каменоломы тщательно зачищали поверхность подготовленного дна. Ежедневно, проверяя результаты работ, приходили в котлованы Тихменёв и Холл. Гуржеев неотлучно находился в котловане левого протока, Сухонин — в котловане правого.

По старому, дореволюционному опыту некоторые техники считали, что перед кладкой бетона достаточно просто подмести за каменоломами скалу метлой — и можно сейчас же начинать работу.

— Нет! — решительно, почти угрожающе предупреждал Тихменёв.— Мыть, скоблить, щётками тереть — и снова мыть!

Он потребовал от Гуржеева и Сухонина, чтобы были Организованы специальные бригады для подготовки гранита. В левобережном котловане Гуржеев составил бригаду из казанских татарок. Это были молодые женщины; Рухия, Минебаян, Мэгзумэ, Нэфисэ, Джемал. Бригадиром у них стала Дина Малеева, комсомолка, умевшая говорить по-русски. Невысокая черноволосая девушка, с золотистым загаром, старательная, весёлая, бойкая, Дина быстро освоилась с делом. Татарки очень заботливо выметали мелкие крошки камня и пыль. Жёсткие голики неутомимо мелькали в их проворных руках. После голиков на гранит направлялись шумные, густые ветры сжатого воздуха. Воздух вихрями ударял в неровную поверхность скалы, затем Мэгзумэ или Джемал подтаскивали водопроводный шланг, и сильная струя воды начинала хлестать по камню, выбивая пыль из самых мелких углублений. Вода шипела, свистела, щёлкала. Татарки скребли мокрый гранит стальными проволочными щётками. Вслед за щётками снова хлестала тугая струя воды.

— Крепче щёткой, крепче, Нэфисэ!— просила Дина.— Прижимай, три, Минебаян. Рухия, вот тут. Видишь? Ещё, ещё. Бей водой, Мэгзумэ, не жалей! Воды хватит, река полная, большая.

Тихменёв настойчиво твердил рабочим и инженерам:

— Пыль это гибель для бетона. Выметайте и вымывайте малейшие пылевые ямки. Там, где вкрадётся пыль, бетон не может прочно схватиться с камнем, останутся микроскопические пустоты, воздух. Катастрофические фильтрации очень часто начинаются именно из-за пыли.

Дина смотрела на Тихменёва почтительными, внимательно слушающими глазами и после его ухода ещё зорче начинала следить, чтобы ни одна точка не осталась не протёртой густыми, крепкими, добросовестными щётками.

— Оч-чен кароший девушка! — хвалил её в разговоре с Гуржеевым Холл. Он учился говорить по-русски и всюду, где мог, старался обойтись без переводчика.

— Татарки все замечательно работают,— подтвердил Гуржеев.

— Я сфотографировал мисс Дина для один американский журнал. Её портрет будет напечатан в Нью-Йорке. Оч-чен интересный работница. Пусть Америка видит.



Как-то вечером после гудка Холл спросил Дину в котловане:

— Ваш отец тоже здесь? Лицо Дины потемнело.

— Нет у меня отца. Отец убит колчаковцами в девятнадцатом году под Уфой.

— Он был военный?

— Нет. Крестьянин. Красный партизан.

— Значит, вы с матерью? Дина покачала головой.

— Мать умерла от сыпняка, когда мне было девять лет.

— Как же вы сюда приехали?

— Меня послал казанский комсомол.

— Выходит, вы совсем одна? Без близких, без родных?

— По-очему-у? — певуче протянула Дина и уже улыбнулась высокому американцу. — У меня подруги есть. Хорошие девчата. Русские, татарки, украинки. Я же в комсомольской организации.

Это было то, что труднее всего доходило до сознания Холла. Он замолчал и пошёл к Стрельчьему острову, к водоотливщикам.

Тихменёв стремился достигнуть наилучшей связи бетона с гранитным дном. По его указанию после подметания голиками и продувания сжатым воздухом, после проволочных тёток и воды подготовленное основание поливалось жидким цементным молоком. Цементное молоко втиралось в скалу теми же стальными щётками, которыми скала мылась.

Геодезисты наводками секундников, тригонометрическими вычислениями сферических треугольников, точнейшими промерами посредством особых инварных лент, выпушенных палатой мер и весов, указывали места бычков. Инварные ленты были сделаны из тонкой шелковисто-светлой стали. Забота о точности была так велика, что геодезисты неизменно помнили свойство металла расширяться от тепла и сжиматься от холода. Они по нескольку раз в день измеряли температуру воздуха в котлованах и вносили соответствующие поправки на расширение или на сжатие ленты, в зависимости от состояния

погоды, чтобы не допустить никакой сшибки при установлении местоположения бычков.

Бычки и пролёты между ними были разделены для бетонной кладки на отсеки, называвшиеся блоками. Плотники ограждали блоки дощатыми стенами — опалубкой. За опалубку по зыбким деревянным стремянкам спускались бетонщики. Это были бригады предприимчивой, ничего не боявшейся молодёжи. На бетонную работу сразу пошли Костя Макаренко, молчаливый, горячий Хабибулла Мухтаров, гармонист Пересада, казанские татары Сафи Хакимов, Юсуф Сагитов и сотни полтавских, киевских, харьковских и черниговских парней. С обеих сторон Днепра прежде всего начали бетонировать бычки;. Бычки вырастали со дна реки огромными башнями.

Такелажники вверху, на перемычках, играли пальцами быстрые сигналы, крановые машинисты опускали в блоки бадьи с бетоном. Бадьи раскрывались, из них выплюхивало зеленовато-серое тесто, и бригады принимались месить, топтать, уминать его ногами, чтобы оно плотно пошло во все поры, чтобы нигде не осталась ни одной частицы воздуха, чтобы кладка получилась несокрушимо прочной, как монолитная скала.

Переход от подготовительных работ к возведению плотины был событием чрезвычайным. Строителей к началу бетонировки насчитывалось уже около девяти тысяч человек, и вся эта армия ощущала поворот к основным сооружениям, как начало самого ответственного периода, который решит всё.

Бетонировка началась успешно. Успех действовал окрыляюще. Бригада перед бригадой, бригадир перед бригадиром гордились количеством улаженных кубометров. Бетон клали широким фронтом. Непрерывный поток поездов двигался по перемычкам к котлованам, порожняк гулко возвращался на бетонные заводы. Бадьи стояли на платформах, как серые гуси. Стрелы паровозных кранов и дерриков качались в знойном небе с музыкальной стройностью.

На строительстве работала специальная лаборатория, где производились постоянные испытания цементных и бетонных проб.

Ивась восхищался воодушевлением, с каким пошла бетонировка. Воля к жизни, энергия, сила, молодость,



задор,— всё звало к чему-то необыкновенному. Он вспомнил, как ещё зимой Косачёв говорил:

— Ребята, давайте работать полной силой. Давайте строже относиться к времени.

Костя Макаренко тогда отозвался:

— А что ж, очень просто. Подтянемся, Никита Матвеевич.

— Вот какое условие,— продолжал Косачёв:— заступишь в смену,— никаких разговоров, никаких остановок или хождений друг к другу. Ни перекурок, ни анекдотов, ни поглядываний на солнышко. Вот что нужно.

Тогда все согласились с Косачёвым, но слова его задели только сознание. Теперь это становилось внутренним чувством у очень многих, начинало биться в груди неотступной заботой и радостью. Электрики, слесари, бетонщики, машинисты, такелажники, рабочие камнедробильных и бетонных заводов, плотники,— целые бригады становились ударными. Сотни и тысячи днепростроевцев вступали друг с другом в соревнование.

Из Москвы приехал Куйбышев. Этот приезд его был очень кратковременным. Однако Куйбышев успел побывать и на перемычках, и в котлованах, и на бетонных заводах. Он очень устал, но глаза его сияли: строительство шло темпами, каких не видела и не знала старая Россия. Вечером на заседании партийного комитета он говорил:

— Надо твёрдо помнить стоящую перед нами задачу. Днепрострой должен быть школой коммунизма и для рабочих, и для крестьян, которые отовсюду к нам приходят, и для технической интеллигенции.

Поздно ночью Куйбышев зашёл в контору Гуржеева. Огромные синьки, как карты ещё не открытой страны, висели на дощатых стенах. Белый электрический свет лился на большой просторный стол. Контора была похожа на кабинет учёного,

— Вы почему спать не идёте? — удивлённо спросил Куйбышев.

—Дела много, Валерьян Владимирович.

—Как же так без отдыха? Никуда не годится. Но и вы ведь не спите.

—Моё дело другое: я в командировке. Я завтра

в поезде высплюсь, а вам с утра опять на пост заступать.

— Работа такая. Когда углубляешься в чертежи, в цифры, в планы, является новое чувство. Я бы сказал чувство созидания. Оно отодвигает мир. Остаётся только то, что надо сделать.

Куйбышев улыбнулся:

— Это мне знакомо. Да... Дело непрерывно зовёт. Оно требует всего человека. А хорошо, чорт возьми?

— Очень.

— Знаете что... Раз уж вы бодрствуете, расскажите, как организован ваш берег.

Гуржеев развернул большой чертёж. Сложный переплёт линий на ослепительно белой ватманской бумаге сразу стал средоточием мыслей. Он был подобен иероглифическому письму, таившему в себе чудо. Это чудо надо было сейчас раскрыть. Гуржеев взял остро очинённый карандаш и, осторожно прикасаясь им к чистому чёрному узору, начал рассказывать. Куйбышев слушал, словно это была заманчивая, давно ожидаемая повесть. В глазах его появился тёплый свет простоты, молодости, увлечённости.

— Позвольте, а как же здесь? — горячо спросил он, поставив палец на середину чертежа. — Как вы сюда будете доставлять бетон?

— Всё предусмотрено, Валерьян Владимирович. Вот путь. Видите?

И Гуржеев по тонким изгибам показал направление движения материалов. Потом он встал и подошёл к висевшим на стене синькам. Вслед за ним подошёл и Куйбышев. Сотни белых линий на необъятном синем поле шли запутанными на первый взгляд лабиринтами. Но это был стройный мир математического предвидения, мир воображения, превращённого в реальные знаки, мир мечты положенной на точные ноты геометрии. О нём можно было говорить часами. Куйбышев и Гуржеев долго стоя ли перед чертежами, обсуждая основные вопросы труднейших работ, которые почти все ещё были впереди.

За широкими окнами ночь стала фиолетово синеть.

— Ну, пора,— спохватившись, сказал Куйбышев. Ох, и задержались мы с вами!..



Когда они вышли из конторы, звёзды уже побледнели.

— Смотрите, скоро утро! — изумился Куйбышев.

— Да, ночь была прекрасна,— ответил Гуржеев.

Он ощутил в себе какое-то внезапное радостное чувство к высокому, широкоплечему человеку, уходившему от него в смутном свете занимавшейся зари, человеку большому, по-юношески чистому, сердечному.

## III

На обоих берегах, на самых видных и оживлённых местах, были выставлены деревянные щиты с передвижными диаграммами, показывавшими ход кладки бетона. На вантовых дерриках обоих берегов установили световую сигнализацию: вечером на верхушках стальных мачт вспыхивали красные и зелёные огни.

Огни ярко светились над непрерывно снующим множеством людей, над гигантскими механизмами, над зияющими котлованами. Каждый красный шар обозначал триста кубометров уложенного бетона, каждый зелёный — сто кубометров. По этим огням с любой точки строительства рабочие видели, сколько удалось уложить бетона в том или другом котловане.

Бригадиры время от времени поднимались по стремянкам на верх опалубки, считали на вантовых дерриках огни и, как дозорные со сторожевой вышки, бросали в глубину блока:

— Ребята, левый обгоняет! Уже три красных включили. — девятьсот кубометров.

— А у нас?

— Два красных, два зелёных.

— Вот черти! Нажимай, хлопцы, не поддавайся.

— Эй! — кричал Пересада в соседние блоки. — Левый топчет!

В это время в котловане левого берега Ивась подзадоривал Костю Макаренко:

— Правый отстаёт! У них только восемьсот. Увидят — они с досады нас перехватят.

Костя приставлял ладони ко рту и во всю силу лёгких орал наверх:

— Бетон давай! Бе-то-он!..

Он вкладывал в рот два пальца и пронзительно свистел.

— Бетон скорей!..

Особое торжество и гордость испытывали бетонщики, когда удавалось уложить тысячу кубометров. Тогда на верхушке сигнального деррика зажигалась большая пятиконечная звезда. Она появлялась в ночной высоте внезапно, точно жар-птица. Это был праздник для всего берега.

Четыре тысячи человек на левом берегу и четыре тысячи человек на правом соревновались между собой. Восемь тысяч сердец ежедневно бились волнением борьбы за успех. К концу каждой вечерней смены рабочие с нетерпением взглядывали на мачты береговых дерриков,— не зажглась ли там заветная звезда? Обе звезды были сделаны электриками с большим искусством и, вспыхнув, горели ярким рубиновым сиянием.

В тридцать третьем бараке, сидя на койке, златоустовский каменолом Кондратов рассказывал:

— Наломали мы сегодня камню двадцать два вагона. Вдруг прибегает Косачёв: «Ребята, давай ещё! Ну, хоть три, четыре думпкарчика». — «Да ведь шабашить пора, Никита Матвеич»,— говорим ему. «Ребята, давайте перехватим чуток через смену. Видали такое дело: правый звезду зажёг, а на левом щебню нет?..» Смотрим, действительно, на правобережной мачте звезда костром. От неё свет знаешь какой,— в сердце ударяет! «Магомет,— кончу Гарифову,— Лысогор, Македон, начинай! Уважим Никиту Матвеича». И что ж ты думаешь, часу не прошло, а от нас пять думпкаров увезли!.. Идём в столовую, устали вдрызг, а уже смерклось, синё кругом. И враз над нашим берегом звезда вспорхнула. Ох, и брызнула,— небо поднялось над нею! Поверишь, ноги совсем другие сделались, и руки, и плечи, в грудь,— всё тело силой какой-то осенило. Куда усталь девалась!..

Кондратов скрутил цыгарку, ловко заслюнил её, аккуратно обгладил пальцами снизу вверх и закурил. Потом расправил тыльной стороной ладони усы и густую, соломенного цвета, бороду.

— Вот, помню, такой же лёгкий к людям Чапаев был Василь Иваныч. Что ни скажет, всё сделаешь для него.



— А ты разве видал Чапаева? — спросил Витька Савичев.

— Как не видать, если я у него в полку против беляков воевал.

— Вовсе рядом?

— Вот как с тобой, так и с ним сиживали.

— Какой же он человек был?

Кондратов глубоко затянулся. Потом быстро отставил на колено зажатую кончиками двух пальцев цыгарку и сказал:

— Человек? Неслыханный.

Подумал, помолчал, как бы всматриваясь в прошлое.

— Папаха у него всегда взалом была и чуб под звездой, как птица. Если он идёт,— радостно смотреть,— отец, брат, друг, не знай кто, только самый дорогой, самый родной изо всего света. Неунывный, чудесный был человек. Песни играть, плясать любил. Весёлая, лёгкая, большая душа жила в нём. И улыбался замечательно,— всего тебя насквозь осветит, бывало. Золотой товарищ, что и говорить... А горяч, бож-же ты мой! Рассердится на кого, сразу замолкнет и только ус крутит. А раз Чапаев ус закрутил,— берегись. Так вспыхнет, так разволнуется, кулаком по столу трах, из глаз огнём, как кнутом бьёт... В наступление пойдёт, о-о! Грозный какой-то сделается, как угодник с мечом. Приедем в деревню, выбегут к нам девки, лошадям гривы красными ленточками изукрасят, будто на свадьбу. А какая тут свадьба,— в бой, на смерть летим. И вот удивительное дело: с ленточками про всякую смерть забудешь. А чуть потише станет, не так тошно от беляков, обязательно с песнями, под большим знаменем в село въезжаем... И Василь Иваныч самый развесёлый тогда человек.

На койках около Кондрашова сидели землекопы, бетонщики, плотники. Семён Волошко и Пересада присоединились к нему с одной и с другой стороны. Из разных концов барака с любопытством подходили рабочие, а те, что разделись и уже легли, прислушивались с своих мест.

В раскрытые окна смутно доносилась девичья песня, С перемычек гудели тонкие паровозные свистки и теноровые голоса гудков.

— А девки всё поют и поют... — вдруг с восхищением и тоской заметил пожилой благообразный костромич,

показывая большим пальцем себе за спину, в темноту ночи. — Господи, и зачем это старость на человека нападает?..

Кондрашов рассмеялся.

— Прохватило?

— Девчата тут завзятые, краше нигде не найдёшь, прохватит!— с горделивой усмешкой сказал Семён Волошко и понимающе подмигнул костромичу. — Идём, папаша, погуляем!

— Нет, уж ты, сынок, лучше без меня вали. Мне завтра вставать рано: мы с напарником опалубку не успели поставить. Придут утром бетонщики,— крику не оберёшься.

На кладку плотины с особым рвением устремились комсомольцы. Тут можно было показать ловкость, выносливость, неутомимость,— все свои молодые силы, переполнявшие грудь. И, действительно, бригады Макаренко, Хабибуллы Мухтарова и Пересады скоро выдвинулись среди остальных рабочих. Слава о них широко загремела по Днепрострою.

— Плотники! — тревожно оглядываясь по сторонам, сказал раз Махоткин. — Неужели мы в тень войдём, а? Да разве мыслимое дело допустить, чтобы топтуны эти выше нас сделались?

— Стараемся, Илья Максимович,— уверенно ответил вятский бородач, один из лучших установщиков деревянной опалубки.

— Дать жизни больше!

— Рубашка каждый день от поту мокрая. Куда же ещё?

— Птицы небесные! У меня дух захватывает с досады, когда нас не видят. Или цена нам упала?

— Да ведь портреты плотников в театре висят?

— Портреты! Надо, чтобы народ работе нашей удивлялся. Чтобы разговор про нас во все стороны шёл. Что мы у бога — последние?..

— А ты навостри ухо, послушай. Думаешь, не говорят?

— Давайте вот что. Давайте молодёжь в бригадиры выводить. Давайте хороших ребят к настоящему мастерству поднимать. Если их подучить построже, орлы будут!



Мы тогда плотницкую работу, знаешь, на какой градус сведём!..

Дни и ночи на правом и на левом берегу гудели поезда, подвозившие материалы, необходимые для строительства. С Урала шёл асбест, из Армении, из-под Ленинакана,— розовый вулканический туф, из Днепропетровска железные конструкции, балки, швеллера, с Харьковского электромеханического завода — моторы, шнур, провода, изоляционная обмотка, из Донбасса — цемент. Константиновский завод и Гусь-Хрустальный присылали тысячи ящиков оконного стекла. Кровельный толь, шифер, этернит, черепица, кровельное железо, алебастр, мел, известь, гвозди, проволока, каменный уголь, нефть, бензин, керосин, лес, олифа, краски безостановочным потоком поступали из разных концов страны. Высшему Совету Народного Хозяйства пришлось расширить производство целого ряда строительных материалов, чтобы во-время снабдить Днепрострой. Создавались новые кирпичные, цементные, стекольные и лакокрасочные заводы. Сотни каменотёсов высекали из днепровского гранита ступени для лестниц, цокольные плиты, балюстрады и барельефные архитектурные украшения. На восток и на запад от Днепра прокладывались невиданной широты и гладкости гудронные шоссейные дороги.

## IV

Из степного днепропетровского села к Косте Макаренко приехал со всей семьёй отец.

— Ну, Костя, раз ты в бригадиры вышел, буду я около тебя работать,— сказал он несколько заискивающе. — Землекопы нужны? А каменоломы? Ты не смотри, что борода посивела. Я и камень ломать могу, руки ещё крепкие.

В семье Макаренко была прабабка Ярына, древняя, морщенная старуха, жившая давним прошлым и с изумлением смотревшая на непонятный ей новый мир.

— Шо вы, дитоньки!.. — пугалась она и вскидывала костлявые руки, когда ей говорили про плотину, про шлюзы, про гидростанцию. — Не дойти вам до цього николы в свити. Цари зныщити пороги хотилы, паны

намогалыся, килька разив вже про це балакалы! Та шо ж выйшло? Ничого!.. Ничего мы не бачилы. А цари богатющи булы,— срибла, золота у них горы лежали по скрынях. Вы ж бидни! Де в вас гроши?..

Прабабке было сто три года. Она родилась в крепостном селе помещика Родзянко на Екатеринославщине, испытала на своей спине горькую унизительность панщины, помнила сотни сельских бед и несчастий, знала всех Родзянок, не раз видела толстого, неповоротливого мальчика, который стал потом екатеринославским предводителем дворянства и председателем Государственной думы в далёком городе Петербурге.

— У Родзянок не дом, а палац стояв,— будто непонятный сон вспоминала Ярына. — В палаци була страшенна заля, а в тый зали аж чотыри блыскучих музыки. Музыка громаднюща, наче тыи мажары. Понаидуть, бува, гости, та як почнуть грать. Боже ж ты мий милосердный!.. По дви жинки, або по дви дивчины биля кожнои мажары рассядуться. У шетнадцятеро рук колотять в цю музыку,— ось-ось, здаеться, потолок зирвёться. Само небо дрижить. А воны хучь бы що. Колотять та й колотять!..

Она рассказывала о подневольной крепостной жизни с каким-то чёрным сердечным страхом, точно читала длинный поминальник об усопших и погибших людях. Но в её мозгу, как из тумана, возникали истории о временах ещё более давних — о запорожских сечевых казаках. Эти истории она слышала в дни своей молодости от стариков и старух зимними вечерами после работ на панских гарманах. Ярына повторяла фантастические вымыслы закрепощённого народа, как смутные нескончаемые сказки о чуде, которого никто никогда не видел, но которого все хотели, чтобы жизнь не казалась слишком горькой и непоправимо убогой.

— Булы середь запорожцив таки козарлюги,— говорила прабабка, тряся маленькой головой,— шо ни вогонь, ни вода, ни шабля, ни куля не бралы их. Тильки срибной кули боялысь воны...

Она уверяла, будто некоторые сечевики могли отпирать без ключей замки, плавать в лодках невидимо для врагов по земле, точно по морю, перебираться на суконных войлоках или на рогожных циновках через быстрые



широкие реки, брать в голые руки раскалённые ядра, видеть за несколько вёрст вокруг, влезать в туго завязанные мешки с зерном и вылезать как ни в чём не бывало, оборачиваться в котов, собак, петухов, превращать людей в кусты, в быстрых всадников, в птиц, умещаться в обыкновенное ведро и плыть в нём под водою сотни вёрст.

— А сила, сила яка кипила в них! Один був козарлюга могутний, наче той дуб. Як пиде причащатысь до сичовой церквы, аж чотыри козака на амвоне попа держат, шоб не впав вид духу цього силача. Бо вин тильки дмухне, и зараз людына перед ним на землю — гуп!

Весёлый черноглазый правнук слушал это и смеялся:

— Це всё, бабусю, дурынця, звычайнисенький, як кажуть, пустяк. Ось я тоби покажу козакив, так то дийсно чудеса творять!

И он показал уже прославившихся по всему строительству бригадиров-бетонщиков, комсомольцев, с которыми сам соревновался на плотине.

— Не дывись, бабусю, що виком молоденьки. Ось побачишь, чого воны наробыли,— закачаешься!

Костя выпросил у председателя рабочкома легковой автомобиль, усадил прабабку и повёз её по шумному берегу к котловану. Столетняя старуха с изумлением и страхом долго смотрела на зияющие пропасти левого и правого протоков, на Днепр, который шёл выше копошившихся на его дне людей, «а непостижимые движущиеся существа, огромные, чёрные, не похожие ни на волов, ни на лошадей, какие-то четырёхугольные, с прямыми качающимися хоботами.

— Костику, це звири? — спросила она, потрясённая.

— Звири, бабусю, звири. Экскаваторы, деррики та всяки инши, Наши хлопцы взнуздали их и командуют зараз, як запорожцы киньми.

Старуха, подавшись вперёд, жадно смотрела. От робости и изумления она шевелила ввалившимися в рот губами, думала. Сто три года сгибали её плечи. Плечи были сухие, хрупкие, узкие, почти птичьи. Она видела молодых, загорелых девчат в весёлых красных косынках, слышала их звонкие чистые голоса. сотни мускулистых хлопцев в разноцветных майках, сверкая голыми коричневыми руками, непрерывно работали, двигались в котлованах, как муравьи.

— Дай, боже, вам щастя, Костику! Може, шось воно и выйде.

— Обовьязково выйде! Почекай ще рокив зо два,- тильки ахнешь тоди вид нашой работы.

— Мабуть, вже не доживу...

— Як то не доживу? А я тоби наказую житы! Чуешь? Гром и молнии нас слухають, а ты отказываешься? Живи, поки греблю не скинчимо. Така моя постанова. Розумиешь?

— Шо ж, буду житы, Костику. Ты не сердься на мене, ридный.

Кладка плотины росла с каждым днём. Лукийка Бойчук смотрела на поднимавшиеся из преисподней котлованов бычки и невольно останавливалась. Один раз она не выдержала и, встретив Надю Ракитную и Зину Богдашову, сказала:

— Девчата, давайте составим отдельную женскую бригаду, пойдём бетон топтать. Что мы — хуже хлопцев?

— Нас не пустят...— неуверенно отозвалась Надя.

— Только на смех поднимут,— хмуро добавила Зина.

— Вот ещё! Добьёмся.

В жёлтых степных глазах Лукийки светилась решимость. Высокая, худенькая, порывистая, она хотела во что бы то ни стало осуществить своё желание.

Микола Бойчук, отец Лукийки, ничуть не удивился.

— Правильно, дочка, дело требует,— одобрил он. — А силёнки хватит?

— У-у! Ещё и с хлопцами погулять останется.

— Смотри, не надорвись.

— Э, тату!..

И Лукийка пошла разговаривать с секретарём комсомольской ячейки. День этот навсегда остался у неё в памяти. Сентябрьское солнце жарко горело на красном флажке,— флажок трепетал над крыльцом ячейки. Горячий ветер дул из степи в глаза, в лицо, развевал волосы. Внизу, под берегом, широко и ослепительно сверкал Днепр. Знакомая дощатая комната, увешанная лозунгами и плакатами, предстала в новом, праздничном озарении.

Секретарь внимательно выслушал взволнованную просьбу Лукийки.

— А, знаешь, это мысль,— обрадовался он. – Подбирай



бригаду. — Поддержим. Только, чур, не отступать.

— Что мы — от бетона раскиснем?

И Лукийка, как на крыльях, полетела по баракам. Через день у неё уже составилась группа в восемь человек. Среди них бетонщицами согласились стать Надя Ракитная, Зина Богдашова и Галя Лотоцкая.

Бородачи косились.

— Не в своё дело лезете, девки. Вам бы по хатам сидеть да детей нянчить, а вы рекорды ставить нацеливаетесь.

— А если поставим, завидно? — с вызывающей усмешкой спросила Лукийка.

Чорта с два вы поставите!! Не кисельными ногами бетон топтать.

— Увидим.

— Увидим, да не то, что вы думаете.

Новой бригаде выдали спецодежду: брезентовые штаны, куртки, высокие (резиновые сапоги и даже серые полотняные кепки с навесистыми козырьками.

— Живём, Зинка! — радовалась Лукийка.

— Ух, занозисто получается!..

— Одевайтесь, обувайтесь, девчата. Живо! — торопила Лукийка. — Утрём нос кой-которым...

Необычность одежды была смешна и приятна. Она превратила девичью бригаду в безусых, несколько застенчивых мальчиков.

Бригада спустилась по стремянке в блок. Десятник велел Наде Ракитной и Зине Богдашовой сделать зубилами на застывшем бетоне насечку и хорошенько смыть поверхность водой.

— Бей по зубилу молотком,— только по пальцам не попадай,— учила Зину Надя. — Дужче! Вот так.

Вода прозрачной щёлкающей струёй выхлестала из блока пыль и крошки выбитого бетона. Кран подал бадью с цементным молоком. Девушки щётками втёрли молоко в насечку. Опустилась вторая бадья, выплюхнула тёплый свежий бетон, и началась работа.

— Меси квашню, пироги будут! — шутливо кинула Лукийка.

Восемь пар резиновых сапог, восемь пар брезентовых каляных штанов, восемь кепок, восемь радостных лиц.

Положив руки друг другу на плечи, девушки топтали

серое каменное тесто. Топтать было не легко. Нужны были сильные ноги, хорошие лёгкие, здоровое сердце. Хрупкая светловолосая Лукийка гнулась, как речная лозинка. Но она обнаружила столько настойчивости и неутомимости, так весело и бодро вела работу, что девичья бригада скоро стала одной из самых замечательных. Иногда с перемычки на бетонщиц заглядывался какой-нибудь такелажник. Широколицая Надя Ракитная, у которой румянец зарёй пылал на смуглых щёках, кричала вверх:

— Чого дывишься? Кончишь работу, вот тоди и прийдешь ближче розглянуты. А зараз працюй. Давай бетону горячего!..

— Надя, пренебреги! — остановила её однажды Лукийка. — Он будет любоваться ещё не раз. Выбери себе настоящего хлопца.

— У неё уже есть,— вставила Зина Богдашрва.

— Кто?

— Кучугура.

— Ничего подобного!— вспыхнув, возразила Надя.— Бери его себе, Кучугуру того заливайного.

По норме требовалось уложить в смену восемьдесят кубометров бетона. Бригада Лукийки укладывала больше ста.

Один раз из соседнего блока поднялся на опалубку Костя Макаренко и победоносно заявил:

— Держись, девчата, мы сегодня сто двадцать даём!

— Брешешь!

— Честное слово.

В девичьем блоке торжествующе засмеялись.

— Сороки, чего вы хохочете? — обиделся Костя.

— Маловато!

— Как это маловато? Попробуйте сами столько втоптать.

— У нас уже сто двадцать семь втоптано.

— Ну?

— Вот те и ну! Мы вам покажем.

— Да вы говорите на совесть, не загибайте.

— Не веришь,— прочтёшь вечером на доске.

И действительно, после смены, когда зажглось электричество, на доске соревнования появилось: «Бригада Макаренко — 120, бригада Бойчук — 133».



Бетонщики шумно заговорили:

— Опять Лукийка загадку загадала...

— Леший её знает, откуда она взялась на нашу голову. Чуть оплошал,— враз обгонит.

— А почему?

— Почему, почему... Считай. Прогулов в бригаде никаких,— раз. Дисциплинка что надо,— два. И опять же дружба. В одну душу живут! Дружба им совсем другую силу придаёт. Одна за одну горой стоят. За свою бригаду расшибиться готовы. Вот и причина.

— Да ведь как эту дружбу завесть? Из шапки не вынешь.

— Человек человека ценить должен, уважать.

— Сказал премудрость! А ты научи, как вкоренить уважение.

— Работу понимать надо. Любить. Считать за свою собственную. Тут и весь ключ.

— Что же, по-твоему, Лукийка больше нашего понимает?

— Обязательно больше.

— Воображение!

— Ничего не воображение. Из-за чего же она бьётся? Вызываем её вчера на сто пятьдесят. Ну, думаем, запищат девчонки, обставим их. Хоть на пустяк, да вперёд выйдем. Кончилась смена, подсчитали жетоны: у нас, как в аптеке, полтораста, а у Лукийки, чорт её разнеси, сто пятьдесят шесть.

— Зацеписта птичка. Не облетишь.

— Облетим! Обязательно облетим. Разве можно девке поддаться! Это же свет перевернётся тогда вверх тормашками.

— И перевернётся, ничего не сделаешь.— Ну да! Сказал тоже...

Очень хорошо работали татары. Бригады Хабибуллы Мухтарова, Сафи Хакимова и Юсуфа Сагитова были выдающимися по исполнительности и аккуратности, по смелости, с какой они шли в самые неудобные и даже опасные места.

— Мои ребята ни тучи, ни грому не боятся,— блестя острыми зелёными глазами, говорил Хабибулла Мухтаров. — Какой хочешь отчаянный блок посылай,— пойдёт. Скажи: сделай,— сделает.

Коренастый, широкоплечий, с круглой бритой головой Сафи Хакимов не отставал от Мухтарова.

— Меня чуваш есть, зырян есть, башкир есть. Бетон топчет, как татарский люди. Аида, ипдашляр! Только по-ш-шёл!..

В тёплые сентябрьские ночи вернувшиеся после смены бетонщики долго пели у своих бараков. Песни полны были молодости, силы, ожидания счастья, которое где-то совсем близко ходит около котлованов и может даться в руки любому человеку.

## V

В сентябре Куперу исполнилось шестьдесят пять лет. Он устроил по этому случаю большое торжество, к которому заранее подготовился. Из Нью-Йорка к нему приехала жена, седеющая, но ещё сохранившая достаточно бодрости миссис Купер, и брат Декстер, инженер, работавший в его фирме. «Знаменательную дату моей жизни,— писал он им в августе,— я хочу отпраздновать здесь, на Днепрострое, в стране молодости...» И эту же фразу Купер несколько раз повторил Гаррисону и Холлу. На вечер он пригласил управление строительства, некоторых молодых инженеров и всех американцев. Присутствовали также председатель горсовета и заведующий коммунальным отделом правого и левого берега, которых Купер почтительно называл: «Мэр города Запорожья и мэр строительных посёлков».

Он был бодр и оживлён, угрюмые складки вокруг его рта расправились. Разговор шёл о строительстве, о машинах, о людях. Купер внимательно слушал переводчиков, смотрел на говоривших инженеров.

— Что важно?— сказал он наконец, поднявшись за столом. — Важно то, что наблюдается улучшение ухода за строительным оборудованием, что инженеры Днепростроя стремятся к самому лучшему выполнению сооружений, что во всех слоях днепростроевцев, сверху донизу, видны зачатки настоящей вдохновенной энергии и энтузиазма, которые всегда должны проявляться на успешно работе, особенно на таком строительстве, как Днепрострой. Здесь сердце инженера радуется исключительному техническому великолепию.



Купер вскинул вверх левую руку с чёрным перстнем на безымённом пальце и с живостью продолжал:

— Я должен сказать о новом явлении. По сравнению с прошлым годом заметно большое улучшение качества работы простых советских механиков при эксплоатации тяжёлого механического оборудования. Я пришёл к тому мнению, что через год дальнейшего опыта Днепрострой будет иметь в своих рядах значительный кадр машинистов отличной квалификации. Вот вам пример. На паровозных кранах номер семь и номер девятнадцать работают юноши Волошко и Савичев. Мне сказали, что они комсомольцы, один украинец, другой русский. Я их внимательно наблюдал больше недели. И считаю долгом заявить, что это такие машинисты, которые даже в Америке расценивались бы очень высоко.

Инженеры и Косачёв, который сидел рядом с Тихменёвым, уже знали, что утром Купер подарил Семёну Волошко и Витьке Савичеву, тому и другому, золотые часы. Ошарашенные неожиданным подарком, ребята прибежали с часами в рабочком: «Брать или не брать, товарищ Романчук? Ведь он же чужой, не наш и, кажется, отпетый буржуй?..» Романчук, усмехнувшись ответил: «Берите, мы вашу ловкость ещё лучше оценим». Купер хотел быть популярным среди рабочих, любил создавать о себе молву, любил удивить, блеснуть.

— Точно так же я должен отметить экскаваторных машинистов. Я мог бы назвать целый ряд имён, но вы их знаете не хуже меня.

За большим длинным столом, покрытым белоснежной скатертью, уставленным кушаньями, приготовленными собственным поваром Купера, с любопытством следили за развитием неторопливой речи. А Купер чувствовал себя в ударе.

— Вы меня простите, но я должен признаться в недоверчивости,— говорил он, остро оглядывая всех сидевших за столом. — Я скептически относился к русским инженерам. Правда, мне пришлось познакомиться в Нью-Йорке с замечательным вашим проектировщиком, профессором Александровым, но о массе инженеров у меня было мнение, что это белоручки, барчуки, кабинетные люди. Здесь я убедился в обратном. Мистер Гуржеев, мистер Сухонин, мистер Нестеров, мистер Загоруйко, мистер Ченцов

и десятки младших инженеров всегда в котлованах, на перемычках, у насосов, у камнедробилок, в блоках. Это по-американски. Инженер должен быть там, где рабочий. Он не должен бояться ни пыли, ни грязи, ни машинного масла, ни грохота перфораторов. Я пью за ваш успех, за великолепный ваш труд, за талантливых советских людей.

Было шумно, празднично, ослепительно светло от сильных ламп, несколько неумеренно пахло духами, пудрой. Миссис Купер старалась быть радушной и любезной, жёны инженеров и переводчиков чувствовали на себе внимательные, почтительно-ласковые, покорно-вопросительные взгляды американцев. Это веселило и возбуждало женщин.

Один из переводчиков тут же, за столом, рассказал Гуржееву, как Купер приехал первый раз на Днепр летом двадцать шестого года для изучения выбранного проектом места. Купер ничему не верил и всё проверял сам. Он изъездил на моторной лодке весь участок реки на два километра вверх и километров на пять вниз от Кичкаса. В конце концов Купер заявил, что он должен осмотреть пороги от Волчьего Горла вверх до Днепропетровска. Запорожский исполком прислал ему свой лучший по тем временам автомобиль. Купер раскрыл чемодан, надел рабочий комбинезон, взял шофёрские инструменты и начал проверять исправность автомобиля. Он перепробовал на колёсах все двадцать гаек, тщательно осмотрел бензинопровод, тормоза, лёг на землю лицом вверх, подполз под машину и собственноручно ощупал снизу рулевое управление. «Не сердитесь, мистер Александров, сказал он, вставая,— но таков мой характер: всё проверять самому. Зато теперь я совершенно спокоен».

В другом конце стола весёлый розовощёкий гидротехник Эймер со смехом вспоминал, какие фантастические представления о советской стране были в Америке, когда Купер предложил Гаррисону и ему отправиться из Нью-Йорка в Кичкас, чтобы произвести предварительные обследования берегов, почвы, режима реки, условий снабжения лесом, железом.

— Мы колебались. В американских газетах тогда писали о большевистской России ужасные вещи. Мне о час стыдно повторить, что там говорилось. Нас пугали,



что мы едем в дикую, полную хаоса страну, где человек не защищён никак. Мы потребовали, чтобы фирма Купера на случай нашей гибели в пределах советов застраховала наши жизни по двести тысяч долларов.

— И что же мистер Купер? — с любопытством спросила жена переводчика Ружина, молодая смуглянка, которую инженеры прозвали за слишком смелое любопытство к мужчинам Мариной Мнишек.

— Застраховал!

Ужин кончился рано,— Купер не хотел нарушать обычного режима своего дня. И сейчас же начались танцы. Американцы танцевали с упоением, как одержимые.

Довольный ходом работ и своим праздником, Купер сидел в кабинете на широком кожаном диване, вдали от танцев. В глубоком покойном кресле против него Холл курил папиросу. Вечер привёл Холла в лирическое настроение,— он рассказывал о мыслях, какие дал ему Днепрострой. Через высокие раскрытые окна в кабинет текли с клумб свежие, прохладные запахи цветущего табака и метеолы.

— Вчера я был в татарском клубе на левом берегу,— говорил Холл. — Там бетонщики и бетонщицы разыгрывали пьесу какого-то нового татарского поэта. Я видел комсомолку Дину Малееву, портреты которой печатаются в газете. Она была в ярком национальном наряде, с густым монгольским ожерельем из серебряных монет на груди, в круглой маленькой шапочке с накинутым на неё покрывалом.

— Хорошенькая татарочка. Я её знаю.

— Дина изображала жену старого муллы, пленницу, рабыню жестокого сластолюбца,— её можно было узнать только по голосу. Вы, мистер Купер, обратили внимание на голос Малеевой? Нет?.. О! Он похож... да, он похож на флейту, на переливчатую, певучую флейту. Я смотрел и думал: Чингиз-Хан, Батый, Тамерлан, страшные татарские полчища, наваливавшиеся из глубин Азии на славянскую часть Европы, как это дико звучит в наши дни, здесь, на Днепрострое! Теперь татары добросовестнейшие работники, созидатели величайшего технического сооружения.

Купер вскинул подбородок. Жёлтые брови его взметнулись вверх.

— Изумительный народ.

Холл притушил в зелёной малахитовой пепельнице папиросу и продолжал:

— В клубе пели татарские песни. Там я слышал степную монгольскую музыку. Небольшой старинный инструмент — курай — издавал ни с чем не сравнимые звуки. Игра курая взволновала меня. Это был отзвук каменного века, долетавший к нам, в нашу электрическую цивилизацию.

Он долго говорил о молодёжи, об её упорном и всеобщем стремлении во что бы то ни стало учиться, о курсах, о нарождающемся мастерстве, о кровавой украинской истории, с которой он знакомился по английским книгам.

— Вы привезёте в Америку много интересных рассказов,— сказал Купер.

— Знаете... Когда-нибудь я напишу мемуары о нашей работе на Днепрострое. Наступит старость, будет свободная тихая осень. Где-нибудь в штате Теннеси или во Флориде...

— Неправильно, мистер Холл!— вдруг перебил Купер. — Сейчас, сию минуту, нужна такая книга. Не забывайте, мы можем завязать богатейшие дела с этой страной. Возможности тут безграничные. Если вам пришло желание создать книгу, пишите не откладывая.

— Сейчас некогда.

— А я повторяю: именно сейчас! Пишите после работы, пишите по ночам, я не знаю, когда, но время надо найти. Вы представляете, какой интерес вызовет ваша книга?

Было без четверти одиннадцать, когда Холл простился и вышел из кабинета. Танцы уже кончились, гости разошлись.

Огромная тёмная ночь высилась над Днепром. Отовсюду стрекотали сверчки. Перемычки и котлованы сияли множеством электрических огней.

Холл шёл и думал. Вечно спешить, вечно строить, быть занятым каждый час, не иметь для жизни сердца ни одной минуты,— вот удел, из которого нельзя вырваться. Слуга чужих долларов, слуга дельцов, создающих состояния, он неизменно был только деталью в гигантской безостановочной машине. Любить по-настоящему ему можно было лишь одно — искусство строить. Глубокое,



увлекательное искусство. Но здесь, на Днепре, в стране большевиков, которые своими идеями хотят завоевать весь мир, в жарком степном солнце, в блеске синей сверкающей реки, в постоянном напряжении широкого народного труда, что-то изменилось, сдвинулось в душевном строе Холла. Уж не потому ли, что он увидел безродную казанскую татарку с чёрно-огненными радостными глазами? Не потому ли, что татарка преданно смотрит на него, выслушивая объяснения? Она чем-то тревожит, врывается в мысли, начинает неизвестно для чего жить там, какими-то неясными нитями связывается с задуманной книгой. Нет, это тревожит книга. Только книга и ничто больше! Писать, писать...

Где-то далеко на левом берегу заливисто заиграла гармонь. «Наверно, Пересада,— подумал Холл.— Как весело и легко у «его выходит!..»

В зареве света над рекой величественно качались чёрные стрелы Байтовых дерриков.

## VI

Управление наметило возвести бычки за летний сезон на довольно значительную высоту и в правом и в левом протоках. Между тем приближалась осень, бычки же были ещё далеки от того уровня, на какой их предполагалось поднять.

—А что, хлопцы, если мы и выходные дни в плотину заложим? — предложил однажды Ивась бетонщикам, захваченный своими мыслями.

—Думаешь, крепче будет? — усмехнулся Пересада.— А потвоему?

—Месяц вполне можно прожить без выходных.

—И два отхватим, ничего не сделается,— откликнулся сосед Пересады.

—Есть! Согласны на выходные,— сказал Костя Макаренко.

Минуту он помолчал, оглядывая товарищей, потом вдруг спросил:

—А третью смену завести нельзя? Нельзя ещё восемь часов сделать, чтобы сутки получились сквозные?

—Широко замахиваешься.

— Ничего не широко. Что мы, не сумеем ночью бетон топтать?

— Только давай. Лампы есть, свету достаточно.

— В чём же дело?

Когда Гуржеев доложил о разговорах рабочих Тихменёву, тот удивлённо поднял глаза.

— У нас технических сил не хватит. Прежде всего десятников.

— Десятников найдём. И техники будут. За это я ручаюсь, Евгений Сергеевич.

— Каким образом?

— Я преподаю на нескольких курсах. Там есть такие ребята,— им многое поручить можно. Оттуда можно черпать, как из родника.

— М-м-да...— Задумчиво протянул Тихмемев.— Давайте попробуем на неделю. Только под нашу ответственность. Это значит, что вам придётся и ночью и в выходные лично везде следить.

— Само собой разумеется.

Через несколько дней у Гуржеева был разговор с Косачёвым. Косачёв затворил за собою на французский замок дверь и сел к столу.

— Недавно у меня из рук машинист убежал,— нервно сказал он. — Два паровоза помял — и исчез в ярах.

— Слышал.

— Нагло, открыто. Ещё светло было. Прыгнул — и фью!

— А надо бы проучить за паровозы. Так проучить, чтобы небо с овчинку показалось!

— Засорена жизнь сволочными людишками, засорена на каждом шагу! Выпалываем, выпалываем и, чорт его знает, никак выполоть не можем. Одно средство: молодёжь на дело ставить.

— Я ставлю.

— Смелей надо, решительней. Выдвигайте лучших рабочих, поручайте им ответственные задания. Давайте людям ход.

— Как раз эту же мысль я высказал недавно Евгению Сергеевичу.

— Он против?

— Нет. Но смотрит на моё предложение без уверенности.



— Надо сломить его колебание фактами. Евгений Сергеевич великолепный инженер, с настоящим творческим беспокойством. А факты — великая вещь. Он поймёт, что ошибается. Поверьте мне, вы оба найдёте замечательных помощников. Я многое испытал в своей жизни. Ничто так не поднимает и не воодушевляет человека, как выдвижение вперёд. Человек тогда овладевает всеми своими способностями. У него, как крылья, появляются новые силы. Посмотрите, сколько у нас дельных, даровитых комсомольцев! Открывайте перед ними двери.

Волховстроевский опыт научил Гуржеева ценить ум, находчивость, сметливость плотников, бетонщиков, арматурщиков, даже простых землекопов. Выросший в глухом приуральском селе в нужде, сам, своими силами, без посторонней помощи пробивший себе дорогу, он выдвигал каждого одарённого человека.

Эта смелость принесла самые лучшие результаты. Выдвиженцы с исключительной добросовестностью выполняли порученную им работу.

Ивась был назначен десятником плотничных работ по пяти бычкам левого берега. Он по-прежнему работал сам и сверх того вёл наблюдение за установкой опалубки на своём участке и за распалубкой бычков после затвердения бетона. И радость наполняла его.

## VII

В самый разгар бетонировки вдруг перестал поступать цемент. Крупнейший в Донбассе Росьевский завод должен был доставить Днепрострою по разнарядке Высшего Совета Народного Хозяйства до первого сентября шестьдесят тысяч тонн цемента специальной марки, которая была выработана Тихменёвым с американцами на основании долгих лабораторных анализов. Завод недодал к половине сентября двадцать тысяч тонн. Устройство бетонных заводов было рассчитано на подачу цемента исключительно в мешках. Росьевский завод, несмотря на договор, посылал и в мешках и в бочках. Бочки приходилось разбивать и пересыпать цемент в мешки, что создавало лишнюю задержку. Мало того, завод произвольно изменил марку и начал доставлять цемент рыночного качества, непригодный для плотины.

— Евгений Сергеевич, они с ума сошли! — возмущённо докладывал Гуржеев Тихменёву. — Думают, что в спешке строительство не разберётся и пустит всё в один котёл. Телеграфируйте, что мы лабораторно исследуем пробы из каждой бочки и бракуем их цемент.

— Где этот негодный цемент?

— Я велел выгружать в отдельный склад.

— Акты составляете?

— А как же. У нас кипа актов!

— Что вы будете делать с браком?

— Пойдёт на постройку домов,— там ему как раз место. Но для плотины срочно нужен цемент заказанной марки.

На телеграммы управления Росьевский завод не отвечал.

Четырнадцатого сентября Гуржеев с тревогой вошёл в кабинет Тихменёва.

— Евгений Сергеевич, у меня цемента только на шесть дней. Это очень тонкий запас.

— А у меня ещё меньше: на четыре,— сказал находившийся в кабинете Сухонин.

Тихменёв вызвал секретаря.

— Сейчас же составьте телеграмму Росьевскому заводу и Высшему Совету Народного Хозяйства: задержка с отгрузкой цемента и преступное изменение качества грозят сорвать бетонировку плотины.

К двадцатому сентября запас цемента резко уменьшился: и на правом и на левом берегу его осталось всего на десять часов,

Двадцать третьего сентября запас упал до восьми часов.

Буров, начальник строительства, не находил себе места. Утром, днём, ночью он посылал Росьевскому заводу гневные телеграммы, одну вслед за другой, но они не оказывали никакого воздействия. Завод молчал, точно между ним и Днепрострое были порваны телеграфные провода. Приходили случайные одиночные вагоны, которые не могли поправить дела. Наконец Буров вызвал с завода жидкого кислорода Ефима Когана.

— Товарищ Коган,— сказал он горячо и мрачно. – Я знаю вашу энергию и зоркость. Вы служили под начальством Дзержинского и умеете видеть причины зла.



Сейчас же поезжайте в Росьевку. Нам нужен цемент. Мы задыхаемся.

Через тринадцать часов от Когана из Росьевки придала телеграмма. Она всех ошеломила своим содержанием: «В июле месяце триста пятьдесят вагонов цемента дне-простроевской марки завод продал на сторону, мелким потребителям».

Буров пришёл в неистовство. Успешная кладка плотины, подготовленная с огромными усилиями, должна была внезапно остановиться по непредвиденной, дикой, совершенно нелепой причине. Густые чёрные брови старого инженера взъерошились, как крылья беркута, бросающегося в полёт. Он сел к столу, взял ручку, скинул с чернильницы металлический колпачок, придвинул стопку бумаги и размашисто, не останавливаясь, не поднимая головы, начал писать. Он написал наркому Рабоче-Крестьянской Инспекции Орджоникидзе большое взволнованное письмо. Он требовал немедленной ревизии и следствия, чтобы установить, почему в самый ответственный момент прекращается поставка цемента, почему специальный, особо выработанный днепростроевский цемент продаётся тем, кто его не заказывал? Что это — результат ли исключительного головотяпства или уголовно наказуемое преступление?

С письмом был послан ночным скорым поездом инженер Загоруйко.

Загоруйко прибыл в Москву через день, на рассвете. Прямо с Курского вокзала он поехал в наркомат Рабоче-Крестьянской Инспекции. Было только семь часов утра, двери наркомата ещё не открывались. Загоруйко вызвал дежурного коменданта, предъявил своё командировочное удостоверение, показал за сургучной печатью пакет.

— Разрешите мне позвонить по вашему аппарату наркому.

— Слишком рано, гражданин. Это во-первых. А во-вторых, я не могу допустить вас к аппарату. Подождите десяти часов.

— У меня неотложное дело. Я не имею права ждать. Загоруйко несколько повышенным тоном объяснил, зачем он приехал.

Комендант окинул его взглядом с ног до головы.

— А кто отвечать будет? Вы об этом подумали?

— Я буду отвечать.

— С вас взять нечего. Я поставлен охранять здание. Спросят с меня. А не с вас.

— Здание мне не нужно. Мне нужен телефон.

— Не дам я вам телефона.

— Вы за это ответите, товарищ. И здорово ответите.

— Вы так думаете?

— Я буду требовать этого от имени всего Днепростроя.

— Знаете... Уходите-ка отсюда, пока я вас не отправил, куда следует.

— Я послан к наркому и никуда не уйду. Понятно? Они препирались ещё несколько минут, наконец комендант впустил Загоруйко в вестибюль, запер за ним на ключ дверь, окликнул стрелка и прошёл в дежурную комнату. В нерешительности комендант всё же снял телефонную трубку. Наступила напряжённая тишина. Аппарат не отвечал. Стрелок с винтовкой в руке стоял тут же.

— Позвоните ещё раз,— оказал Загоруйко.

— Бесполезно. Вы видите, нарком ещё спит.

В этот момент телефон коротко дзенькнул. Комендант вытянулся.

— Простите, товарищ Орджоникидзе,— заговорил он совсем другим тоном. — Но тут явился какой-то инженер с Днепростроя и требует, чтобы я соединил его с вами. Да, здесь. Он рядом со мной... Слушаюсь... Передаю трубку.

— В чём дело? — услышал Загоруйко нетерпеливый мужественный голос.

— Нас режет Росьевский завод. Наш цемент пущен неизвестно куда, продан в чужие руки, разбазарен. Днепрострой с часу на час вынужден будет прекратить бетонировку...

И Загоруйко рассказал, в каком положении очутилось строительство.

— Сейчас приеду! — твёрдо, даже как-то угрожающе ответил Орджоникидзе.

Через пятнадцать минут большая тёмно-синяя машина плавно остановилась у подъезда.

Орджоникидзе прочитал письмо начальника строительства.



— Я только что звонил Куйбышеву,— сказал он, вскидывая глаза на Загоруйко. — К сожалению, Куйбышев ещё не вернулся из поездки по ленинградским заводам. Придётся нам самим развязывать этот узел.

Комендант подал полученные ночью телеграммы.

— А!..— возмущённо крякнул Орджоникидзе, откидывая один из жёлтых листков. — Цемента у вас осталось только на четыре часа.

Он быстро снял с рычажка трубку телефона.

— Дайте аэропорт. Да. Кто это? Начальник аэропорта? Говорит Орджоникидзе. Вот что. Приготовьте сейчас же самолёт для вылета в Донбасс, в Росьевку, на цементный завод. Площадку найдут. Найдут, я говорю! Там гладкая степь. Пассажиров будет три человека. Через час самолёт должен быть в воздухе.

Орджоникидзе назначил комиссию из трёх инспекторов, сам вызвал их по телефону и в своей машине отправил на аэродром.

Возвращавшийся на строительство Загоруйко был в пути, где-то между Харьковом и Мерефой, когда управление Днепростроя получило от Когана телеграмму: «Прибыла на самолёте комиссия РКИ. Арестованы технический директор, заведующий складами, два экспедитора. Через пять часов по прибытии комиссии отправлено Днепрострою курьерской скоростью семнадцать вагонов цемента, через одиннадцать часов дополнительно двадцать три вагона. В дальнейшем суточная отгрузка двадцати пяти вагонов обеспечена».

Орджоникидзе спас Днепрострой от нависшей над ним угрозы. Цемент начал поступать, как по расписанию.

## VIII

Молодёжь жила торопливой, убыстрённой жизнью. Открытые на обоих берегах курсы, школы, вечерние техникумы шумели, как ульи. Количество обучавшихся непрерывно росло. Витька Савичев и Семён Волошко, кончив работу на кранах, вместе с десятками других ребят всё стальное время проводили на лекциях или за книгами. Волошко с молчаливым упорством читал и перечитывал

физику, просматривал свои записи в тетрадях, зарисовывал карандашом приборы.

Однажды Пересада, с трудом одолевавший начатки геометрии, задумался и со вздохом сказал Семёну:

— Эх, и картина, говорят, идёт!

В несмелом вздохе звучало предложение встать, выскочить за дверь, закатиться на полтора-два часа в кино.

Волошко поднял большие сине-серые глаза.

— Отложим до завтра. Сегодня вон сколько выучить надо.

Пересада разочарованно крякнул и снова принялся за геометрию. Но через несколько минут не вытерпел и раздражённо спросил:

— Зачем так вклещиваться в книжки? Всё равно сразу всего не поймёшь.

— Жить интересно, потому я вклещиваюсь.

— Какой же тут интерес, раз ты сиднем сидишь, как монах? Голова садовая! Выдь на берег, послушай, что делается. Девчата поют, прямо сердце летит, не знай куда!

— Песни и на меня действуют. Думаешь, я не слышу?

— Что ж ты гнёшь себя в дугу?

— Задача такая.

— Непонятная твоя задача.

— Хочу быть первым машинистом.

— Зачем?

— А представь такое дело. Вот кончим Днепрострой и мне поручат экспрессы водить. Голубые, синие, жёлтые. Поезд-молния: Москва — Минеральные Воды, Москва — Севастополь, Москва— Владивосток... Сколько городов, людей, какие края увидеть можно!

— Это действительно...— согласился Пересада.— Да уж больно добиваться долго.

— А как же иначе? Хочу твёрдую цель наметить. А жить без цели — от котлеты до котлеты — какой же смысл?

Пересада, зажав ладонями уши, ожесточённо уткнулся в учебник.

Как-то вечером Холл, расставив на перемычке, точи на палубе корабля, длинные ноги и помахивая тонкой



бамбуковой палочкой, сказал Семёну Волошко, который обтирал паклей запылившиеся стенки своего крана:

— Гусар чистит боевого коня?

— Иначе нельзя! Мой конь красоту любит.

— Он вам говорит об этом?

— Прямо в голос ржёт!

Глаза Холла блеснули улыбкой.

— Замечательный конь!

— А разве нет? Чище всех на нашем берегу!

— Вы учились где-нибудь? — спросил Холл серьёзно

— Кончил деревенскую четырёхлетку.

— Не много.

— Можно сказать, совсем ничего. Зато сейчас учусь

— Хотите в Америку поехать?

Семён недоверчиво посмотрел на сухощавого инженера.

— У нас и своей работы видимо-невидимо,— уклончиво ответил он. — Только бы вот научиться как следует.

— В Америке лучше научитесь.

— А это всё бросить? — Семён вскинул руку в сторону котлованов.

Холл перевёл глаза на степь, на синее сверканье Днепра и задумался.

— Нет, этого бросить нельзя,— сказал он тихо.

— Если брошу, подо мной же тогда земля провалится!

— Я бы сам здесь остался.

— Вот видите!

Семён вытер паклей руки и легко, любовно, как природный казак в седло, поднялся в кабинку крана.

Кучугура не мог понять людей, у которых было лёгкое сердце. Что они чувствовали? Ничего. Ни любви, ни боли, ни горя даже не снилось им. Таким жить — всё равно, что по полю итти.

А у него сердце нетерпеливое, пылкое, жадное к жизни. — это он сам понимал. Замучит, если не давить вкрадчивых голосов о несбыточном, о невозможном, которые вдруг прилетают неизвестно откуда, не считаясь ни с днём, ни с ночью.

— А всё эта проклятая девка!

Мысли кололи, жалили мозг. Иногда мгновенно обдавали

всю грудь кипятком обиды, и становилось трудно дышать. Кучугура закрывал глаза. «Надя!..» — вспыхивало где-то в глубине его существа. Он видел, видел её и с закрытыми глазами. Вот она возникала перед ним, румяная, милая, с ясным синим взглядом, открытая и простая. Серебряные серьги покачивались в маленьких ушах. На лице был свет радости, как тогда, в день необыкновенного его успеха... «Да что же я, последний человек на земле, что ты меня покинула?.. — вскипало гневным упрёком сердце. — Значит, я плох? Собрал экскаватор, один-на-один, без книг, без науки, одними мозгами, пустил на полный ход, пока американцы трубки покуривали,— и цена мне за это грош? Так, что ли?..»— мысленно допытывал, допрашивал он Надю. Но ответа не было и не могло быть, потому что Надя не хотела его видеть, не хотела с ним разговаривать.

Надев серую франтоватую кепку, Кучугура направлялся в соседний барак, куда чаще, чем в другие места, сходился по вечерам народ. В бараке было шумно, оживлённо, светло и как-то по-особому молодо,— должно быть, от вымытых чистых полов, от белых занавесок, от цветов на подоконниках. Это Баганча, чорт, завёл такие порядки, чтобы в бараке постоянно была чистота. И барак действительно выглядел нарядным, праздничным, уютным,— в нём приятно было посидеть, побалагурить, забыть о своей неустроенности. Чужой свет манил. Тут рассказывали разные занятные истории. Многие рабочие побывали в дальних краях, в разных переделках, немало видели и слышали,— было о чём вспомнить после работы, когда хотелось отдыха и покоя!

Но забыться надолго у Кучугуры нехватало сил. Он слушал рассказы,— и большие, мятущиеся чувства поднимались в нём. «Да что я, не проживу без девки этой? Плевать мне на неё, раз она меня осуждает! Судья, подумаешь!..» Однако тоска не проходила, не утихала. В Наде была такая сила ласковости, такая манящая доверчивость, такое очарование, каких ещё ни в ком не удавалось ему встретить. И вот всё это потеряно, потеряно нелепо, досадно, глупо, безвозвратно... «Безвозвратно? Нет! Нет!.. Ещё увидим, чем дело кончится. Увидим. Теперь поддаться, значит, под гору полететь хуже камня... Нет, не отступлюсь, запомни это! Я тебя



сломлю, сломлю, Надежда! Будешь ты меня милым называть, будешь. Умру, а горя от твоего характера терпеть не стану!..»

Однажды вечером Кучугура подкараулил на тропинке Гуржеева.

— Степан Андреевич,— проговорил он не совсем уверенным голосом. — Возьмите меня на курсы, подучите немного...

— С удовольствием! — обрадовался Гуржеев. — Идёмте сейчас. Я как раз туда. Вот хорошо!.. Знаете, при ваших способностях вам давно надо было серьёзно заняться.

И слова Гуржеева подбодрили. Кучугура усердно стал посещать курсы, увлечённо изучать чертежи, схемы, собирать и разбирать в ремонтных мастерских механизмы. А самое главное, он дал себе слово никогда, ни при каких обстоятельствах больше не пить и дал с такой изумительной твёрдостью, какая только и таилась в его натуре. «Руку отрублю, а не буду!..» Это была замечательная его победа над собой. Случалось, прежние дружки звали иногда погулять, покуролесить, напустить дыму и пыли, как бывало. Кучугура коротко отвечал:

— Нет! Этому делу аминь, ребята. Кончено! Доктора запретили мне наотрез.

И улыбался с сознанием своей силы над соблазном.

А Гуржеев давал одно задание за другим. То заставлял работать на экскаваторе в самых трудных условиях, когда каждую минуту нужна была ловкость и находчивость, то поручал управлять вантовым дерриком, то давал подъёмный кран в наиболее ответственных, даже в аварийных местах. Гуржеев как будто испытывал пределы его виртуозности, чтобы насладиться зрелищем необычайного уменья, какого может достигнуть человек.

И слава Кучугуры зашумела снова. Снова о нём заговорили с удивлением и восторгом.

Однажды на многолюдном собрании в летнем театре Кучугуру вызвал к столу Буров.

— За ваше отличное мастерство управление премирует вас золотыми именными часами,— сказал начальник строительства торжественно.

И зал загремел рукоплесканиями. Зал всколыхнулся, как море. Возвращаясь на своё место, Кучугура внезапно

столкнулся в проходе между рядами с Надей. Сердце его замерло. А синие глаза радостно сияли ему навстречу – Поздравляю, поздравляю!.. — порывисто прошептала Надя и торопливо стиснула ему руку выше локтя точно близкому другу.

## IX

Рано утром седьмого октября в квартире Тихменёва резко и продолжительно зазвонил телефон. Телефонные звонки в самое неожиданное время, не исключая и глубокой ночи, были привычны для главного инженера. Он очнулся от сна, протянул руку, взял трубку.

— Слушаю.

— Евгений Сергеевич, говорит Загоруйко. На левом камнедробильном заводе несчастье.

— Что такое?

— На большой дробилке лопнул коренной эксцентриковый вал. Машина вышла из строя.

— Как лопнул? Позвольте! Вал в полметра толщиной, из крупповской стали?

— Прямо как ножом разрезало.

— Что за нелепость? Сейчас приеду.

Прошло несколько томительных минут. В соседних дворах голосисто пели петухи. Это ничем невозмутимое пенье всё ещё поддерживало уверенность, что ничего страшного не случилось. Но с каждой минутой уверенность становилась ненадёжней, призрачней. Наконец к крыльцу подошла машина. Тихменёв сел рядом с шофёром. Машина, мягко шурша и покачиваясь, полетела к далёкому Кичкасскому мосту, чтобы там перескочить через Днепр. Над рекой стоял розовый, освещённый восходящим солнцем туман.

Когда Тихменёв подъехал к камнедробильному заводу, его поразила странная тишина. Завод молчал, как мёртвый. А ещё вчера он грохотал каменными громами скрежетал, шумел бункерами, дымил серой гранитной пылью. Сейчас всё в нём безмолвствовало. У наглухо закрытых гигантских заводских ворот, сипя отработанным паром, стояли в затылок друг другу два поезда с полными составами платформ, гружённых камнем. Поездов в завод не пускали. Из узкой калитки выбегали суетливые люди в серых, запылённых спецовках. Они кого-то искали,



кого-то звали и снова взволнованно скрывались в недрах завода.

Тихменёв подошёл к месту аварии. Там, как над трудом, толпились рабочие. Толстый вал безжизненно лежал, дорванный посредине. На него страшно было смотреть: сталь в чудовищном изломе светилась зияющим серым блеском.

— Да, сломано — хуже не надо... — подавленно проговорил Тихменёв. — Как это случилось? — обратился он к Загоруйко.

Загоруйко, измазанный серой каменной пылью, был бледен и худ, как никогда. Глаза его в воспалённых от недосыпания и пыли веках болезненно горели.

—В дробилку попал огромный валун, гладкий, обкатанный, без граней,— и заклинился в самое узкое место, распёр челюсти. Когда челюсти стали сжиматься, валун, точно чугунный, не дал никакой трещины и не шевельнулся, влип. Вдруг — как из пушки — б-бах! Даже стены вздрогнули. Всё сразу оборвалось,— тишина, жуть после грохота наступила. Мы, Евгений Сергеевич, думали — взрыв, динамит между челюстей угодил. Подбежали,— видим: челюсти целы, а вал надвое!

Загоруйко снял кепку и устало вытер рукавом пыльной куртки потный лоб.

—Где у вас ближайший телефон? — спросил Тихменёв.

—Вот здесь, за перегородкой.

Тихменёв позвонил начальнику строительства.

— Да, знаю,— мрачно ответил Буров. — Мне уже говорили.

— Левобережный завод нам очень нужен. Нужнее правобережного. Тут сейчас главная работа. Я думаю взять вал с правого берега. Как вы полагаете?

Буров молчал. Тихменёв плотнее прижал трубку к Уху.

— Ну что ж, берите,— послышалось наконец. — иного выхода нет.

Камнедробильному заводу на правом берегу было дано Распоряжение снять свой коренной вал. Бетон требовал щебня. Щебня на складах было мало,— бетонировка снова оказалась в критическом положении.

Загоруйко весь день метался на правобережном заводе,

следя за работами спешно составленной аварийной бригады. Бригадиром он назначил старого механика, самого лучшего мастера, какой был на заводе. Запыхавшийся, взволнованный, прибежал Драхенфельс. Гуттаперчево вертясь около вала, он в смятении бормотал:

— Мадонна, мадонна, мадонна!..

Ни Загоруйко, ни бригада не уходили на обед, они поели хлеба с солью и снова принялись за работу.

К ночи вал перевезли на левый берег.

Заурчали лебёдки, застучали краны, зазвенели подъёмные цепи, закачались на тросах тяжёлые кованые гаки. Вал осторожно подали к злополучной дробилке. К валу подходили, как к живому благодетельному существу, которое завертит остановившиеся машины.

— Ребята, у меня с глазами неладно!— вдруг испуганно крикнул старый механик, чистивший правую кольцевую шейку вала. — Посмотрите, кто помоложе. Беда...

— Что ещё такое?

— Прямо искры чёрные плывут... Трещина!

— Ну, вот ещё выдумаешь!..

К механику подбежали Загоруйко, подбежали чёрные, измазанные слесари.

— Давай лампы! — сдавленно крикнул Загоруйко. -Давай большие, тысячесвечные! — Он расстегнул ворот спецовки, ему трудно стало дышать.

Когда шейку осветили сильным светом, трещина проступила совершенно ясно: по очищенной наждаком стали вился тонкий зловещий волосок.

— Теперь пропали...— выдохнул кто-то растерянно. Загоруйко, вне себя, до боли прикусил нижнюю губу.

Волосок змеёй впился в вал. Это было уже непоправимо. Ошеломлённый, убитый, сразу почувствовавший невыносимую усталость, он подошёл к телефону. Никогда ещё чёрная маленькая трубка не была так тяжела для него. Он с трудом поднял её.

— Евгений Сергеевич,— глухо сказал Загоруйко. Второй вал тоже не годится.

— Что? Что такое?..— несколько раз переспросил Тихменёв.

Трещина... Шейка лопнула... На заводе Драхефельс осматривал. Вал был в порядке. Неужели по дороге лопнул?



Не может быть! Ничего не понимаю. Где мы прозевали, ума не приложу. Теперь нет смысла ставить — А кто вынимал вал?

— Моя бригада. Я сам был. Драханфельс помогал. Он, чорт его знает, суетун, вертун, а в деле неловок: раньше времени один конец лебёдками выворачивать стал. Я не сдержался, крикнул. Если придёт жаловаться, имейте в виду.

Был час ночи. В окна дул дикий, порывистый ветер, Провода на столбах свистели и выли. Тихменёв оделся и пошёл к начальнику строительства. Бетонировка плотины требовала безостановочной подачи щебня. Бездействие обоих камнедробильных заводов грозило сломать, спутать все планы.

Буров мрачно курил папиросу за папиросой. Он слепо уминал в пепельнице одну и начинал другую.

— Утром я телеграфировал Круппу, чтобы для нас срочно изготовили и выслали два эксцентриковых вала,— сказал он. — На один я рассчитывал, как на запасной.

— Хорошо, что два заказали. – Да, но пройдёт месяц, пока их доставят!

— Придётся плинтовать камень вручную. Поручите Гуржееву. Пусть организует. Не миновать третий вал заказывать. Пусть лучше лежит, чем чувствовать себя над пропастью.

С утра на следующий день Гуржеев послал в карьеры на скалу Дурную свыше двухсот каменоломов. Он собирал их всю ночь, ходил по баракам землекопов, по стоянкам грабарей. Люди соглашались итти на камень неохотно,— то была тяжёлая работа,— но всё же удалось удвоить и даже почти утроить число бригад.

Каменоломы разбивали кувалдами крупные глыбы гранита на такие куски, которые уже можно было пустить во вторичные дробилки. Дробилки эти Загоруйко с аварийной бригадой слесарей приспособил под самостоятельную, не зависевшую от сломанного вала работу. Щебень снова повезли на бетонный завод, бетонировка бычков продолжалась без задержки.

Теперь всё зависело от каменоломов, от их старательности и усердия. Важно было продержаться недели три, до прибытия новых валов. Между тем среди каменоломных бригад зашныряли озиравшиеся, быстро переходившие с

места на место возбуждённые фигуры. Они по-заговорщицки поспешно бросали загадочные, будоражащие слова, точно сообщали какую-то запретную новость, и озабоченно перебирались из карьера в карьер. Начались разговоры.

Некоторые каменоломы и раньше косо смотрели на механическую разработку камня. Машины вызывали у них ревнивую неприязнь.

— Шутка сказать, экскаватор за смену вынимает грунта не меньше, чем сто человек!— ворчали они. — Жаба анафемская! Не может наскочить на разрыв-траву какую-нибудь, чтобы разнесло его вдребезги...

— Только хлеб у людей отбивает.

— Железо! Разве против него сработаешь?.. Весной в кременчугской артели произошла нелепая история.

— Плевать нам на такое дело! Не покоримся машинам!..— крикнул широкоплечий самолюбивый парень, когда ему сказали, что он мало добывает камня. — Мы привыкли сами скалу ломать и сами её дробить. А здесь всё между машинами растасовано: что полегче — им, что потяжельше — нам. Василь! Михалко! Кидайте гемеры. Раз человека на железных зверей сменяли, пусть и живут с ними. Гайда, хлопцы, землю пахать!

Парень нехорошо засмеялся и ушёл в сторону вокзала, бесшабашно заломив кепку и даже не взяв расчёта, точно удалой бродяга, которому всё нипочём. Он скрылся в степи за холмом, будто его и не было никогда. Вслед за ним собрали свои котомки и ещё два каменолома, его приятели. Артель была сбита с толку этим уходом и начала таять с каждым днём. Через неделю она рассыпалась, как песок: в карьерах осталось всего семь человек. Тогда выручили нижегородцы, большой партией приехавшие на строительство. Но нижегородцы работали только до середины лета, пока у них на родине не поспела рожь.

— Ага-а!.. Поломались бисовы мельницы, не угрызли нашего камня. И до веку не угрызут. Так и будут торчать тут людям насмех,

Шутки и глумливые остроты над камнедробильными заводами вызывали дерзкое веселье. Уязвимость мощных машин слепым торжеством тешила некоторые легкомысленые головы. «Что, взяли! Человек-то вышел надёжней!..»

Работа стала падать.



Вечером по укромным углам бараков среди каменоломов занималось подозрительное жужжанье. Хозяйственные бородачи из новых бригад, Дудник и Ярошенко, заговорили о низких расценках.

—Працюй, Миколо, не журись, що пузо голо!— насмешливо поддразнивали они деревенских парней.

—Не будь овцой, не развешивай лопухами ушей,— убеждал кого-то житомирский мастер Барабуш.

—Дурни мы. Талан в руки идёт, а взять смелости нет,— вспыхивало в разных местах.

—А что, скажешь, не так? Нам скоро телята уши отжуют за смиренство.

К одной группе подсел стриженный бобриком, чёрный, скуластый херсонец по фамилии Олефиренко.

—Слухайте сюды, хлопцы...

И стал разъяснять, что момент для управления настолько затруднителен и остр, что можно делать дела. Было бы глупо не воспользоваться случаем, который сам бог кинул под ноги: только нагнись да подыми! Нельзя серяками всю жизнь жить,— кто везёт, того и погоняют, а работать за пустое спасибо или за статейки в газетах — да хай их побьёт лихая година!

Олефиренко наклонился к жадно слушающим головам и, блестя дерзкими, бегающими глазами, зашептал:

—Если у людей разум есть, можно за короткое время столько червонцев отхватить, сколько в другой раз и за полгода не удастся.

Тихий, полный жгучей ненависти Барабуш, незаметно подходя то к одному, то к другому топчану, вкрадчиво внушал:

—Теперь мы всему голова. Хотим — работаем, хотим — нет. В ножки поклонятся, просить будут. Машины без нас ни тпру, ни ну! Камнедробильный на мелких дробилках остановится,— и бетонный замрёт. Замрёт, як комар на морозе!

Дудник, про которого ещё совсем недавно говорили, что он хитрый, как чорт, дурной, как ворона, а упрямый, как свинья, подзуживал не привыкших к строительству новичков:

—Мы ж, хлопцы, сила. Инженеры повинны нас бояться не меньше, чем заяц бубна.

Барабуш в тон ему добавлял:

— Пропустим, потом не вернёшь. И в селе засмеют. Скажут: лесом шли, дров не видели.

Все эти разговоры на многих действовали, как сладкая отрава: соблазнительные возможности манили. Пожилые селяне и молодые парни молча лежали на койках и невольно подсчитывали в мыслях, что можно купить для себя и для хозяйства, если удастся добиться высоких расценок. Чоботы, рубахи, свитки, пиджаки, коровы, плуги, кони,— всё это охмеляющей вереницей проплывало в воображении.

Утро началось ветром. Над степью клубились сизые, дымные облака с косыми дождевыми расчёсами, свисавшими за Днепром, у горизонта. По дворам беспокойно горланили петухи, точно перед переменой погоды.

Работа в карьерах никак не налаживалась. Вялые редкие удары молотов по клиньям сменялись спорами. Раздражённые голоса раздавались то у высокой стены берега, то у реки. Потом на время разговоры заглушались звоном стали по граниту, а затем опять завязывалась болтовня.

— Будут новые расценки, будет и работа! — в десятый раз навинчивал свои соображения направо и налево Ярошенко. — А не согласны,— счастливо оставаться! Служите молебны вашим машинам, может, они помогут бетон класть.

— Не горазд, хлопцы, задумали!— поднял голос удивлённый неожиданным поворотом дела Лысогор. — Надо совесть иметь.

— Поди ты со своей совестью в болото! — накинулся на него Дудник.— Люди серьёзный разговор начали, а ты с пустяками лезешь. Тебе не нравится? Иди лови решетом звёзды в реке. Лови, хоть захлебнись. Мешать не будем.

Барабуш сел на камень, достал чёрную прижжённую люльку, неторопливо набил тютюном и закурил. Около него опустились с кисетами ещё два каменолома.

Прибежал Загоруйко. Он встревожено посмотрел на сидевших.

— Вы что, ребята? Что случилось?

— А ничего.

Барабуш обнял свои колени, как в праздничный день на лугу во время компанейской беседы, и с независимым видом попыхивал дымом. Люлька его сипела. В дальнем конце, у развороченных скал, кто-то со звоном уронил лом и не поднял. В карьер вошли Гуржеев и председатель рабочкома.



Что за праздник, хлопцы?— прищурившись, спросил Романчук.

— Одпочить трохи хочемо. Стомились,— с притворной кротостью ответил Барабуш.

— С утра?

— А шо ж, колы с утра руки не працюють...

— Переспал или недоспал?

— Яки гроши, така и работа! — насмешливо ввернул сбоку Ярошенко. Глаза его блеснули колючим ехидством.

— Расценок мал! Расценок набавляй! — резко выпалил вдруг Дудник.

Каменоломы подходили со всех сторон, с любопытством ожидая, чем кончится схватка председателя рабочкома с горлохватами, затеявшими нивесть что.

— Ребята! Да разве это советский разговор?..— укоризненно спросил Романчук.— Разве вы на графа Бобринского или на фабриканта Морозова работаете?

— Э! Дид про хлиб, а баба про фиалки!..— пренебрежительно протянул Дудник.

Романчук начал стыдить Дудника, привёл в пример плотников, бетонщиков, водолазов, стал рассказывать, что пишут о лучших рабочих в газетах. Широкоскулый Дудник, враждебно насторожившись, некоторое время слушал, потом, точно взорвавшись, крикнул:

— Дуже складно говоришь, аж .в ушах свербит! Ты бы хочь где-нибудь запнулся.

Послышался смех.

— Такого свинства ещё не было на Днепрострое! — рассердившись, в упор Дуднику воскликнул Гуржеев.— Не было и не будет!..

— А ты свинством не дуже козыряй, товарищ инженер! А то я так козырну... костей не соберёшь!..

— Кого слушаем, хлопцы?— не вытерпев, возмущённо обратился к толпе Лысогор.— Это же безобразие! Стыд. Что мы, рвачи или отпетые бандиты с большой дороги! Кулаки нас мутят, а мы на них смотрим!..

— Кулаков захотел? Кулаков?.. — хрипло зашипел Барабуш.

— Дай ему, Олефиренко, под душу,— приказал Ярошенко.— Ишь, раззявил рот, як халяву.

Не успел Романчук оглянуться, как Олефиренко и Барабуш угрожающе двинулись к Лысогору.

— Мы тебе заткнём глотку!

Лысогор вдруг отставил для упора ногу и, как топором, взмахнул над головой тяжёлым ломом:

— На месте уложу! Только суньтесь!..

Лицо его побледнело. Глаза стали страшными.

— Гады!.. Зашибу при народе!

Каменоломы бросились на Дудника, на Ярошенко, на Барабуша, отталкивая их в сторону от Лысогора. Выпад сговорившихся крикунов мог кончиться дракой.

— Стой, ребята! Не горячись. Неладно так!..— кинулся в гущу рабочих Романчук.

— Нехороший дело!.. Скандал дело... — осуждающе, горько взывал Магомет Тарифов.— Завод ждёт, бетонщик ждёт, Тихменёв ждёт, а худой люди базар делал... Кончай базар, давай камень!..

— Старый вол борозды не скривит,— стараясь справиться с своим волнением, твёрдо сказал Лысогор.— Я иду работать. Гнать их к свиньям в три шеи, балакирей этих шелудивых!

Магомет Тарифов махнул татарам:

— Айда, ипдашляр!

И татары дружной кучкой сразу снялись и пошли в соседний карьер.

— Наша бригада тоже сидеть не будет! — вызывающе, даже с какой-то гордостью крикнул один из парней, входивших в бригаду Барабуша. Он взял молот и, не оглядываясь, направился на свой участок.

Один за, другим за ним пошли и остальные.

— Изменники!— кинул им вслед Барабуш. — До кого подмазаться хочете?..

Он злобно плюнул, в раздражении и растерянности постоял несколько минут, угрюмо поглядывая то на Дудника, то на Ярошенко, затем выбил трубку, продул её, собрал свой инструмент и с мрачным ожесточением пошёл плинтовать камень, чтобы не отстать от других.

— Пустозвон! Балалайка!..— выругался в спину ему Ярошенко. — А туда же, в орлы лез!.. Курица!

— Тебе сегодняшний скандал так не простится,— строго пригрозил Романчук.— За волынку будешь отвечать. И вся твоя бражка вместе с тобой.

— А ты не пугай. Мы уже пуганные.

— Вижу!



Всю ночь в бараках, где жили каменоломы, стоял галдёж, гул, шум споров. По баракам ходили Романчук, Гуржееев и Косачёв. Они говорили о злых силах, стремящихся всячески задержать, остановить строительство.

Часов в двенадцать ночи от имени плотницких бригад левого протока пришли к каменоломам Ивась и Махоткин. Они сказали, что плотники, работающие на высотах, на опалубке бычков, удивлены попыткой какой-то низкой, подозрительной кучки заварить чортову кашу в карьерах.

— А нам плевать на ваше удивление! — запальчиво крикнул Олефиренко.— Мы в плотницкие дела не лезем, не лезьте и вы в наши. Кто вас сюда звал?

Что-то знакомое мелыкнуло Ивасю в дерзком лице Олефиренки. Видел он его где-нибудь или сталкивался с ним в работе? Что-то тревожное шевельнулось в памяти.

— Нас послали товарищи, сорок шесть человек,— ответил он на вызывающий голос.— Завтра их будут сотни, а может, и тысячи. К нам пристанут бетонщики, землекопы, все рабочие. И все осудят болтунов, которые хотят сорвать дело.

— А считать до тысячи ты умеешь?— с наглой злостью спросил Олефиренко.

В этот миг будто молния сверкнула перед Ивасем, выхватив из тьмы прошлого страшное видение. Серые, в яблоках, кони, запряжённые в чёрную лакированную коляску, бегут по пыльной дороге. В коляске сидит длинноволосый Нестор Махно, затянутый в ремни офицерского походного снаряжения. Вслед за коляской несутся всадники, над сёдлами там и сям поднимаются чёрные знамёна анархии, своеволия, за всадниками пылят сотни тачанок,— кочевая армия, пестрея бархатом, парчой, сивыми и чёрными смушковыми шапками, лавиной движется в степь.

И вдруг около пшеничного поля встречается отряд, высланный накануне самим Махно на разведку. В отряде пять верховых и запылённая тачанка. Мокрые от пота невысокие кони носят боками. В тачанке два смуглолицых парня с обнажёнными саблями в руках, а между ними зажат бледный человек лет тридцати, по виду рабочий, в синей выцветшей рубашке с разорванным до пояса воротом. Волосы на непокрытой голове его спутаны, лоб и скулы в запёкшихся ссадинах.

— Кто это? — спрашивает Махно, остановив кучера.

— Комиссар, батько,— отвечает один из парней, играя голосом, как самоуверенный охотник, прискакавший с удачной добычей.

Арестованного стаскивают с тачанки.

— Коммунист? — спрашивает его Махно.

Человек с ненавистью смотрит ему в глаза и ничего не отвечает.

— Я тебя спрашиваю!

— Коммунист.

— Ты с кем борешься? Со мной?

— Не мути народ, не толкай его в горе, в кабалу.

— Вон как! Ну, довольно! Довольно, говорят! Ты уже кончил.

— Нет, буду...

— Врёшь, не будешь!— срываясь в крик, заглушает арестованного Махно. — Ничего не будешь. Ты сейчас умрёшь.

Человек бледнеет. Глаза его выцветают, расширяются, становятся стеклянными.

— Значит, другие будут... — произносит он, задыхаясь.

— Молчать!

Махно вскидывает подбородок в сторону всадников из отряда. Те выдёргивают из ножен сабли.

— Закопать,— отрывисто бросает Махно, ткнув рукой в землю.

Всадники в голубых грязных галифе спешиваются. Они делают движение, чтобы взмахнуть над арестованным саблями.

— Живьём!— кричит Махно.

Происходит короткое замешательство. Потом кто-то из приближённых атамана распоряжается:

— Эй, Олефиренко, тащи лопаты!

Оттуда, где остановились тачанки, мимо Ивася и Чечени бежит черноволосый, скуластый парень с лопатами. С тачанок соскакивает несколько охотников. Они начинают рыть яму на конце поля. Круглая яма становится всё глубже. Ивась, похолодев, смотрит и никак не может поверить, что это могила. Приговорённый стоит около ямы неподвижно. Лицо его сереет, меркнет.

Хватит! — нетерпеливо говорит Махно. – Мелко ещё,— отзывается черноволосый, скуластый парень, стоящий в яме по грудь.



— Переверни,— будет как раз. Другим концом отправь в царство небесное. Там примут!

Парни бросаются на неподвижного человека, валят его лицом к земле и начинают толкать в яму виниз головой. Человек борется, бьёт парней ногами, цепляется руками за землю, за смятую пшеницу. Но парни сильней...

Эта казнь землёй мгновенно возникла в памяти Ивася. И даже забытый голос махновского адъютанта внезапно прозвучал снова,— он опять как кнутом выстегнул зловещие слова: «Эй, Олефиренко, тащи лопаты!..»

—Я узнал тебя, негодяй! Узнал! Не отвертишься!..— дрожа, задыхаясь, выкрикнул неожиданно для всех Ивась. — Ты махновец, собачья твоя душа! Товарищи! — посмотрел Ивась по сторонам. — Я сам видел, как он в поле вместе с такими же бандитами по приказу Махно живьём закопал в землю одного коммуниста...

—Брешешь, змея!..— взвизгнул Олефиренко.

—Косачёв, Романчук, Степан Андреевич, люди добрые! Я сам его видел... — продолжал взывать Ивась.— Я могилу того казнённого могу показать.

—Брешешь!.. Никогда!.. Ты с ума сошёл... Не верьте, не верьте ему. Он утопить меня хочет...— лихорадочно забормотал Олефиренко.

Тогда заговорил Косачёв:

—Я так и знал, товарищи, что тут дело нечисто. Гарифов, Лысогор, посидите с Олефиренкой. Не спускайте его с койки, пока мы разговор с бригадами не кончим.

—Как это посидите? — закричал вдруг Олефиренко. — А я не желаю сидеть!

— Придётся.

— Мне надо в город ехать. Ко мне жена ночным поездом приезжает.

— Откуда?

— Из... из Курска.

— Никуда ты не поедешь. Сначала выясним, что ты за человек.

Страшные слова Ивася облетели не только барак, но через несколько минут стали известны и соседним баракам, там, где ещё не спал народ. Каменоломы с испугом и любопытством смотрели на Олефиренко, который, сжавшись и утянув шею в плечи, сидел на койке, непрерывно вкладывая ладонь в ладонь, то справа налево, то слева направо.

Около него стеной теснились люди. Кольцо вокруг койки росло. Ни о каком бегстве нельзя было уже и думать.

Раскрытие прошлого Олефиренко, точно ключ, отперло многое. В ту ночь нашлись землекопы, хорошо знавщие Дудника и Ярошенко.

— Це ж петлюровцы, богатеи, один из Кибинцев, другой из Яновщины,— оказал молчаливый, сухощавый дядько, недавно пришедший из какого-то лубенского села. — Они в центральную раду делегатами ездили. Можно справку достать.

— У Дудника одних гусей уйма и сейчас,— подтвердил растревоженный, обличающий голос. — Свой ветряк за левадами.

— А пшеницы, жита, мёду!.. — Я у Дудника цилый рик в наймитах працював, знаю його хозяйску ласку,— заявил широкоплечий, уже немолодой человек из бригады Лысогора. — Це така ехида,— собаку укусит!

— Чего же ему, сукиному сыну, надо?

— Не спится волку под селом.

— На старое повороту ищет?

— Дудка знае, на що грае...

Поздно ночью каменоломы вынесли решение — требовать удаления с Днепростроя одиннадцати человек, тех, что не дают спокойно работать. Хай не морочат головы! – Пусть пасут своих гусей или ветряки крутят.

— И от ветряков отставить!

Было очень темно, когда Косачёв, Романчук и Гуржеев вышли из барака. Ночь повернула к утру. Сырой ветер дул в лицо. Над головой летели низкие тучи. Романчук успел позвонить в милицию. Явились три милиционера. Они деловито приблизились к Олефиренке и, кивнув на дверь, приказали итти. Кольцо людей разомкнулось. Олифиренко, как во сне, поднялся, оглянулся, всё ещё на что-то надеясь, и медленно пошёл.

На следующий день уборщица Дуня рассказывала бабам из семейного барака:

— Сидит он, девоньки, на койке, чёрный, мурластый, ошалелый. По щёкам пятна красные ползут. А глаза, как у кабана в закуте горят. Того гляди, вскочит, ударит чем ни попадя, убежит... И повели его под наганами!

Потрясённый происшедшим, Ивась не спал всю ночь.



Враги Днепростроя были его врагами. Они унижали, попирали большое тёплое чувство, какое он нёс в себе, выходя на работу и возвращаясь после работы домой. В нём поднималась лютая ненависть.

Утром он нашёл Косачёва и подал ему сложенную вчетверо бумажку.

– Что это?

– Заявление написал.

Косачёв развернул линованный в клетку, вырванный из тетради листок. Там стояла только одна строчка: «Прошу принять меня в партию».

Косачёв весело улыбнулся.

— Прижгло вчерашнее дело?

— Места себе не могу найти.

— А поручители есть?

— Я ещё ни с кем не говорил.

— Ну, что ж. Передам секретарю. Обсудим. Один поручитель у тебя уже есть.

— Кто?

— Я.

— Оправдаю, Никита Матвеевич.

— А второго найдём.

В десять часов утра управление строительства получило от Круппа телеграмму. Там было сказано, что стальной вал тех же размеров и той же серии, что и лопнувшие, был изготовлен по заказу Югостали для Макеевского металлургического завода. По сведениям Круппа, вал этот ещё не пущен в дело. Он советовал взять его в Макеевке заимообразно. Когда же новые будут отлиты и обточены, один из них можно будет прямо из Германии отправить в Макеевку.

Управление немедленно снеслось с Югосталью. Через три дня привезённый из Макеевки вал был установлен. Левобережный камнедробильный завод снова начал работать полным ходом.

— Вот так осведомлённость!..— в изумлении сказал Гуржеев Сухонину. — Мы живём по соседству и ничего не знаем, что делается в Макеевке, а им всё известно.

— Даже страшно становится... — тревожно произнёс Духонин, и его большие византийские глаза за стёклышками пенсне наполнились тревогой.

## X

Осенью, как всегда, Купер уехал с Днепростроя в Америку. Зимой работы суживались, бетонировать при низкой температуре было нельзя. Всё самое ответственное и технически значительное отодвигалось до весны.

— Я точно перелётная птица,— говорил Купер Холлу, укладывая чемоданы. — Живу в согласии с временами года. Гуси и журавли на юг, а я в Нью-Йорк. Желаю вам счастливой зимы. Пишите книгу.

— Книга уже начата.

— Да? Вы меня радуете. Оч-чень хорошо! Я верю в ваш успех.

Даровитого, неутомимого Холла внутренне Купер ценил больше, чем своего заместителя, почтенного Гаррисона. Гаррисон многоопытен, осторожен, да! Н-но... пороха не выдумает. Гаррисон никогда не пойдёт ни на какой риск, он — верная, надёжная неподвижность. А в Холле полёт, воображение, сила пытливой, ищущей мысли.

Из Запорожья Купер отправился в Москву для личного доклада Куйбышеву. Кладка плотины началась на редкость хорошо, гораздо лучше и быстрее, чем предполагалось. В сентябре было уложено пятьдесят семь тысяч кубометров, в октябре — пятьдесят девять тысяч. Нигде в мире, ни на одном строительстве, бетонировка не достигала таких колоссальных размеров на протяжении месяца, Последний рекорд был установлен американской плотиной на реке Коневинго. Днепрострой превзошёл месячный успех Коневинго в сентябре на пять, в октябре на семь тысяч кубометров.

Купер пробыл в Москве только два дня и выехал в привычный далёкий путь. Из окон международного вагона он видел Варшаву, Берлин, Париж, в говоре вокзалов, в тревожных заголовках газетных сообщений слышал смутный противоречивый гул послевоенной Европы. Всё было неясно, напряжённо, непрочно. Какие-то глухие, мрачные огни клокотали под видимой коркой жизни. Что-то грозно зрело в тёмных, непостижимых недрах, будто из преисподних глубин земного шара поднималась буря.

В Гавре Купер сел на великолепный американский трансатлантический пароход «Георг Вашингтон».

Красное дерево каюты, начищенная, пылающая медь



ручек, зыбь океана, Необозримые просторы, восходы, пышные, долго горящие в небе закаты, безукоризненно вышколенные, почтительные стюарды,— всё давало чувство покоя, отдыха. У Купера было достаточно времени для размышлений. Он достиг высших успехов, на какие мог рассчитывать удачливый делец, избравший в качестве пути к обогащению не биржевые спекуляции, не торговлю, не промышленность, а крупные строительные работы. Без институтов и университетов Купер прошёл науки, необходимые для первоклассного гидротехника. Не имея инженерского диплома, он знал в своей специальности больше любого американского инженера и сделался главой одной из сильнейших консультационных строительных фирм Америки.

Купер очень хорошо умел считать деньги. Это искусство предохраняло его от неверных шагов и ошибок. Он быстро взвешивал выгодные и невыгодные стороны строительных замыслов, возникавших в той или иной стране, и брался только за то, в чём угадывал несомненную выгоду и новую для себя известность. Технические науки сослужили ему свою службу. Купер построил Ассуанскую плотину на Ниле, в Египте, крупнейшие гидростанции на Миссисипи, на Ниагаре, в Пенсильвании, в штате Теннеси, был в качестве консультанта в Англии, в Японии, в Индии, в Китае.

На закатах вода в океане казалась сиреневой, голубовато-аметистовой. Сквозь толстое стекло иллюминатора доносился широкий шум волн. В шестьдесят пять лет Купер сохранил привычки молодости. Вставал неизменно в семь часов утра, всегда сразу, как только просыпался, принимал холодный душ, завтракал, начиная с фруктов, и брался за технические журналы. На Днепрострое в этот час он надевал рабочий костюм и шёл в котлованы, в камеры шлюза или спускался в блоки, чтобы посмотреть, хорошо ли идёт кладка бетона.

На пароходе ехали дипломаты, фабриканты, европейские финансовые дельцы, инженеры, артисты, чикагские скотопромышленники, журналисты, один английский писатель с женой и просто богатые молодые люди, возвращающиеся из Старого Света. На второй день плавания все они уже знали, что среди пассажиров находится Купер. Когда он неторопливо проходил в столовую или в салон для бриджа, острое внимание

и любопытство устремлялось на него со всех сторон.

— Купер... Смотрите, смотрите!

— Тот, что строит большевикам на Днепре какую-то феноменальную гидростанцию?

— Строят сами большевики. Он только консультирует.

— Бросьте! Разве большевики могут?

— Английские газеты пишут.

— Верьте англичанам!

— И что же, мистер Купер живёт там, в Советах?

— А как же.

— Вот отважный бизнесмен!

— Он выглядит, как миллион долларов.

— Интересно, как будет выглядеть большевистская гидростанция?

Бритый скотопромышленник иронически развёл руками. Блеснули бриллиантовые запонки его манжет.

— Её просто не достроят! Русские не умеют работать. Разве вы не знаете? Вот если бы станция была действительно отдана американцам!

— О, тогда Купер выглядел бы, как два миллиона долларов!

В откровенном любопытстве, в пристальности останавливающихся долгих взглядов, в шопоте при его приближении была слава. Такого явного ощущения славы он никогда не испытывал до Днепростроя. Днепрострой стал как бы волшебным крылом, с высоты которого он увидел множество обращённых к себе глаз.

Купер вспомнил президента Гувера, его расспросы о Днепрострое, о народе, о советских государственных деятелях. Гувера он знал со времени войны, когда тот был главой продовольственной администрации. Как много нового можно было бы рассказать ему о прошедшем лете!

В воображении Купера проносились лица рабочих инженеров, возникали котлованы, деррики, качающиеся стрелы, гигантские бычки, синий, ослепительно сверкающий Днепр. Сколько юношей и девушек на этой торопливой работе! Сколько нетронутого степного здоровья, свежести, бодрости, неутомимости, песен! Песни звенели даже по ночам. Ни на одном строительстве в мире не слышал он такого удивительного пения. «Да, перед этим народом необыкновенное будущее...» — с завистью думал Купер.



Из глубины его памяти вставали суданские феллахи на Ниле, таскавшие камни для Ассуанской плотины, знойный Египет, выжженная солнцем Ливийская пустыня. Феллахи тоже пели. Но что это были за мрачные, заунывные, безрадостные песни!

На шестой день вечером из тумана показалась на горизонте смутная громада города в электрическом зареве. Начался Нью-Йорк — грохот, гул, рёв бесчисленных улиц. Голубой мягкий шевроле понёс Купера по Уоллстриту, Бродвею, Пятой авеню, мимо сияния реклам и криков газетчиков. Днепрострой с его трудностями и энтузиазмом потонул на дне сознания.

В Америке в последние месяцы шёл головокружительный биржевой ажиотаж. Громкие нефтяные скандалы и разоблачительные судебные процессы о чудовищном взяточничестве даже среди самых высших чиновников сеяли в населении смятение. Спекулятивная лихорадка охватила промышленников и банкиров. Начался крах прославленного «просперити». Безработных становилось всё больше и больше. К концу двадцать девятого года их было уже несколько миллионов человек.

Появился новый интерес к русскому «эксперименту». Советский пятилетний план стал темой оживлённейших разговоров среди озабоченных американцев.

Купера расспрашивали сотни людей. Он был одним из немногих настоящих дельцов, кто собственными глазами видел большевиков и новый, никогда не существовавший раньше социальный строй. Его снова вызывали в Вашингтон, в Белый Дом, к Гуверу. В холодной неуютности президентского дворца, похожего больше на провинциальный пантеон, Гувер с непроницаемым выражением слушал рассказы о стране, занимающей одну шестую суши земного шара.

— Какие же выводы, мистер Купер? — спросил наконец президент.

— Мы можем делать вид, что большевистского государства нет в природе, что мы его не хотим знать совсем, но от этого будут страдать только Соединённые Штаты.

— Значит?

— Надо признать и вступить в деловые отношения,

— Вы уверены в этом?

— Меня трудно в чём-нибудь убедить. Прежде, чем

высказать своё мнение, я должен прийти к нему на основании личного изучения и ознакомления.

За толстыми зеркальными стёклами окон в порывистом ветре летел мокрый снег. Президент несколько мгновений смотрел на белое мятущееся мелькание. В глазах его было беспокойство. Он встал и, пожимая Куперу руку, сказал:

— Благодарю вас за посещение, за беседу. Будьте здоровы.

Купер выступал с речами о Советском Союзе в целом ряде городов и всюду с большим успехом. Однажды директор политехнического института в Вильямстоуне пригласил его прочитать доклад для студентов и профессоров. Институтский актовый зал не мог вместить всех желающих услышать Купера. Купер вышел «а эстраду и начал с того, что он не верит в догмы ни социализма, ни коммунизма, ни всяких других «измов»,— он придерживается лишь старого американского здравого смысла. Этот здравый смысл заставляет его видеть, что Днепровская гидростанция явится центром колоссальной, сверхмощной металлургической промышленности, что строительство на Днепре есть начало настоящей технической революции в стране, которая ещё недавно находилась под косной властью царей. Нельзя упрямо игнорировать сто семьдесят миллионов населения Советской России, владеющей громадными неразработанными естественными богатствами. Надо как можно скорее избавиться от неумных выдумок, невежества и предрассудков при рассмотрении «русского» вопроса.

С увлечением предприимчивого путешественника, открывшего новую страну, Купер старался нарисовать портреты тех членов советского правительства, с которыми ему пришлось встречаться по делам Днепростроя, и рассказал, что минувшей осенью сам Сталин пригласил его для беседы на Кавказ.

Вспоминая эту встречу, Купер волновался снова. Зал слушал, затаив дыхание. Купер вспомнил даже цветы, даже посыпанные мелкими ракушками дорожки, звук приближающихся лёгких, сильных шагов и синие горы, высившиеся за оградой временной резиденции Сталина. Беседа происходила перед вечером, в саду, и на следующий день в тени деревьев того же большого сада. Было много света воздуха, простора, от ярких дорожек слепило глаза,-



именно ощущение безграничного солнца осталось у него в памяти от тех двух дней вместе с образом необыкновенного человека. Сталин поразил Купера широким кругозором, острым, ясным анализом задач, стоящих перед Советским Союзом, великолепной в своём спокойствии иронией по отношению к западно-европейским державам и изумительной осведомлённостью в вопросах Днепростроя.

— Это мудрый, добродушный и непоколебимо твёрдый человек, глубоко уверенный в своих планах. Его перспективы поражают широтой и убедительностью, каким-то небывалым, почти библейским величием. Я не могу принять его политической концепции, но я считаю своим долгом сказать здесь, у себя дома, всё, что я видел и слышал там, в изумительной, неведомой нам стране.

Деловая натура Купера не мирилась с близоруким упрямством американского общественного мнения, стоящего на точке зрения непризнания Советского Правительства. Слишком хорошо видны ему были огромные выгоды от тесного сотрудничества двух великих стран.

— Я вас спрашиваю,— горячо закончил он своё выступление,— должны ли Соединённые Штаты всеми дружескими и разумными способами помочь Советскому Союзу в его гигантском эксперименте или, наоборот, всячески ему помешать?..

Актовый зал вспыхнул оглушительными, всё разраставшимися аплодисментами. Купер сошёл с эстрады в возбуждённую толпу, как герой. Директор жал обе его руки, студенты неистово хлопали в ладони. Какая-то девушка, очевидно, дочь одного из профессоров, порывисто отколола с своей груди гвоздику и прикрепила к лацкану чёрного пиджака Купена.

Речь в Вильямстоунском институте имела шумный успех. Телеграфные отчёты о ней были напечатаны на следующий день во всех крупных американских газетах.

## XI

Гуржеев вызвал Ивася в контору.

— На вас возлагается большое дело, – сказал он. – В среднем протоке надо ставить ряжи. Опять две перемычки,— верховую и низовую.

— Дело знакомое.

— Не совсем. Вы назначаетесь старшим десятником плотничных работ по всему среднему протоку. На вас надежда, но с вас и спрос!

Ивась, не веря тому, что услышал, удивлённо посмотрел на Гуржеева.

— По всему протоку? — переспросил о«.

— Да. Вы будете вести наблюдение за рубкой. Самую установку ряжей я поручил Костицыну. Ближайшим начальником у вас будет Ченцов.

Точно ветром подняло Ивася.

– Новость замечательная!

– Справитесь?

— Надо справиться, Степан Андреевич.

— Вот я отлично. Набирайте бригады. Предварительные буровые работы геологов говорили, что дно в среднем протоке представляет собою гранит. Однако детальной картины поверхности они не дали. Между тем перед опусканием ряжей надо было совершенно точно знать, на что станут перемычки — на скалу или на валуны. Если под ряжами окажутся валуны, то по дну, между валунами, неизбежно образовался бы ток воды, с которым очень трудно было бы бороться. Низовое течение в расселинах валунов таило в себе разрушительную силу,— оно могло вызвать внезапные катастрофические прососы и полную необеспеченность работ в будущем котловане. Воронков. Аниканов и Легейда попеременно опускались в глубину Днепра, шаг за шагом осматривали дно. Промерные плоты, сделанные отцом Лукийки, работали от восхода солнца до заката. Напор воды в среднем протоке был несравненно сильнее, чем в крайних протоках,— трудность работы иногда казалась непреодолимой. На Чёрном и Стрельчьем островах Костицын установил лебёдки, натянувшие над Днепром целую сеть стальных тросов. Оба промерных плота тросами удерживались на нужном месте и по тросам же передвигались от точки к точке. Натянутая сталь звенела, как гигантские басовые струны. Запертая справа и слева река прорывалась только через средний проток. Здесь она развивала бешеную быстроту. Лоты и футштоки, опускаемые для промера глубины, сносило вниз, будто детские игрушки,— они не в состоянии были держаться вертикально. Ченцов предложил Гуржееву выписать из Мариупольского завода тяжёлые стальные трубы. Трубы прибыли.



Их стоймя опускали через клетки промерных плотов на дно и в защищённых таким образом столбах воды измеряли глубину футштоками.

Ивась организовал рубку ряжей на береговых стапелях. Топоры звонко и густо зазвенели под кручами у самой воды. Случались дни, когда для подачи брусьев нельзя было дождаться крана.

— Ребята!.. Давай на себе!.. — просил тогда Ивась плотников и сам первый поднимал брус на плечо. От тяжести *у* него подгибались ноги, наливалось кровью лицо, но он подносил брус за брусом, чтобы не стояла работа.

Увидев его в бане. Махоткин ахнул:

— Ты что, брат? У тебя ведь плечи от синяков чёрные! Ивась скосил глаза на левое плечо, потом на правое, затем махнул рукой-

— Чепуха!

— И спина по обе стороны, от шеи как чугунная.

— Пройдёт! На здоровом теле всё заживёт.

— Ой, надорвёшься, парень!

— Я же с умом беру.

— Где же тут ум, птицы небесные! Весь воронёной стал... Ум у тебя горячий, будто игрок в азарте. С таким умом хорошо за девчатами ударять, а не брусья таскать.

Ивась нахмурился.

— С девчатами мне не везёт, Илья Максимович.

— И не будет везти никогда, раз ты на работе день и ночь хлещешься. С девчатами погулять, поговорить надо. Они шутку, задор любят. А у тебя и минуты лёгкой нет.

В ближайший день, когда на стапелях нехватило леса, Ивась снова взялся за подноску брусьев.

— Слушайте, это не дело,— сурово заметил ему Гуржеев.

— Не стоять же, Стёпам Андреевич!

— Вы должны кран требовать.

— Не дают.

— Кто не даёт? Почему? Вы должны кричать, настаивать, жаловаться, звонить по телефону Ченцову, мне, наконец, в крайнем случае, Тихменёву, но отнюдь не египетскую казнь для себя устраивать.

Недовольство Гуржеева остро подействовало на Ивася. «Ну, подожди же!..— пылко подумал он. — Заставлю я краны плясать. На скандал пойду, а заставлю!»

## XII

Осенью много народу разошлось по домам: кого тянула семья, привязанности нетерпеливых чувств, любовь, кого звало хозяйство, кто страшился работ на зимних ветрах и морозах, кто просто хотел отдохнуть. Но ещё больше понаехали вновь, впервые, главным образом, из дальних мест. Люди переливались из стороны в сторону, шла непрерывная смена,— и всегда, каждый день, всё время приходилось тысячи новичков учить, как и что надо делать. Учить производственным навыкам, сноровке, мастерству, быту, общественным отношениям, сознанию необходимости начатых в стране строек. Днепрострой стал грандиозной школой, местом внутреннего роста, развития способностей, выдвижения, успеха, славы,— и эту его сущность многие ценили выше всего.

И всё же в обширном муравейнике находились люди, работавшие без участия сердца, равнодушно, спустя рукава, лишь бы как-нибудь дотянуть до вечернего гудка. Они тяготились своими обязанностями, ворчали, быстро уставали.

— Ах, мешки, ах, гусаки!..— смеялся над ними Ивась.— Да разве можно такую кислоту на себя напускать? Вы же на ходу протухнете!

Но большинство отдавалось труду с увлечением, с жаром, с неутомимым азартом, испытывая радость от одного вида необъятных сооружений. Из таких постепенно создавалось крепкое ядро строителей, не боявшихся никаких трудностей.

После разговора с Гуржеевым Ивась выполнял порученное ему дело с необычайной, приподнимающей теплотой, волнуясь от удачи и расстраиваясь от неудачи. Утренняя заря, как песня, хватала его за сердце: облака, небо, далёкий горизонт, свисты кланов, паровозов, торопливое, горячее чохканье экскаваторов, звон и лязг железа, человеческие голоса и Днепр, синий, неизменно мощный, грозный, прекрасный,— всё это будило силы, рождало бодрость, наполняло смелой окрылённостью.

Ряжи сначала брали на тросы или на «усы», как говорили плотники, и на усах подводили к нужному месту, где загружали с баржи камнем и опускали на дно.

Из-за быстроты течения перемычки возводились не



сплошной стеной, как в левом и в правом протоках, а звеньями, между которыми оставались ворота для прохода воды.

В декабре ворота между ряжевыми звеньями начали закрывать железобетонными шандорами — тяжёлыми, непроницаемыми щитами. По боковой стороне ряжей шли пазы,— в эти пазы опускали шандоры. Задача была поставлена большая: повернуть Днепр в левый проток, пустить реку между левобережными бычками. Это дало бы возможность откачать котлован среднего протока, чтобы начать возводить плотину и здесь.

Закрытие ворот началось с правой стороны: река постепенно оттеснялась, отжималась влево. Стояли жгучие морозы. Острые степные ветры били в гигантские клетки ряжей, высившиеся уже через всю ширину Днепра. Шандоры приходилось поднимать высоко над перемычкой и опускать в каждые ворота двумя кранами. Краны ходили по рельсам, уложенным на ряжевых клетках. От такелажников и машинистов требовалась большая ловкость, зоркость и находчивость. Каждый шандор весил свыше тысячи пудов: он состоял из массивной железной рамы, заплетённой в середине каркасом и сплошь залитой бетоном. Первый шандор вплотную прикасался ко дну. На него опускали второй, затем третий, четвёртый, пятый — и так до самого верха непомерно высоких ворот. Получалось прочное заграждение, подобное крепостной стене. По мере закладки шандоров шла забивка стального шпунта, который, как в броню, наглухо заковывал всю перемычку среднего протока.

Ночью, в мороз, Гуржеев обходил перемычку. Вокруг электрических ламп огненной мглой клубился леденящий туман. На средине протока работали подъёмные краны Савичева и Волошко. Они разом подняли шандор, разом вставили в ряжевые пазы, и обе крановые стрелы плавно пошли вниз. Такелажник первого крана уверенно играл пальцами. Второго такелажника из-за тумана плохо было видно. Вдруг, уйдя в воду метров на двенадцать, шандор перекосился.

— Стоп! — крикнул первый такелажник и резко рассёк воздух ладонью.

Второй, не расслышав этого крика, сделал какой-то сигнал, и в следующую секунду шандор выскочил из

пазов. Стрелы дрогнули. Даже самые краны качнулись. Напор воды на площадь шандора, не поддерживаемого ничем, кроме тросов, резко усилился. Гуржееву показалось, что сейчас произойдёт авария: оборвутся тросы или перекинутся краны, и весь подъёмный мостик полетит с рельсов в воду.

— Вира! — крикнул он молодому такелажнику, который был ближе к нему.— Вира!.. Скорей!

Надо было успеть во что бы то ни стало выдернуть, выхватить шандор из воды.

— Вира! Правей! Ещё чуть. Ещё. Вира!

Самообладание Гуржеева передалось напряжённо следившему за стрелой парню. Парень угадал нужную последовательность крановых движений. Он быстро засигналил Савичеву, взволнованно ждавшему из кабины его команд. Савичев, чувствуя себя на смертельном обрыве, выполнил сигналы с мгновенной точностью. Шандор выровнялся, двинулся вверх. Краны вынесли его из воды, подняли над перемычкой и снова начали вставлять в ряжевые пазы.

— Майна! Майна!.. — командовал Гуржеев. Громоздкий, тяжёлый шандор, скользя по обмерзающим пазам, быстро пошёл в глубину Днепра.

— Вот это номер! — в невольном восхищении проговорил Гуржеев, улыбаясь в молодое безусое лицо такелажника.

— Выскочили! — сам удивляясь своей удаче, ахнул такелажник.— Эй, крутило! — крикнул он через площадку своему соседу. — Ты что же ворон ловишь, хрен тебе в шапку? Чуть-чуть Витьку с Семёном под лёд не затакелажили!

Второй такелажник от досады только крякнул.

Острый холод щемил и обжигал руки. Безусый парень шерстяной варежкой растёр пальцы и опять начал сигналить. За электрическими фонарями чернела наполненная морозным туманом ночь. До утра было ещё далеко. Со степи тянуло немилосердной стужей. Гуржеев пошёл к водолазам, которые работали, несмотря на ночь и мороз.

На перемычке показался Тихменёв.

— Ну, как, товарищ?— спросил он, приблизившись к Витьке Савичеву.

Морозный иней белел у Тихменёва на ресницах. Кожаный треух закрывал наполовину лицо.



— Да вот тут Шандер крутнул нас за сердце,— сквозь шум воды сказал Савичев.

— Упустили?

— Загнали! Сидит теперь, лучше не надо. Спасибо, Степан Андреевич поддержал. В самую опасную минуту подоспел.

Тихменёв долго смотрел, как в электрическом свете высокие стрелы поднимали и опускали шандоры. Савичев и Волошко закладывали их в ряжевые ворота с суровой методичностью. С такой же методичностью работали и другие машинисты. Они как бы сливались с своими кранами, становились душой исполнительных механизмов. Тихменёв с невольным изумлением следил за выдержкой, настойчивостью и деловым спокойствием молодых рабочих. «Вот они, солдаты великого полководца!— думал он.— Сквозь ночь, мороз и лишения идут вперёд, к жизни, которая горит в их воображении...»

## XIII

В эту ночь Воронков спустился в Днепр ровно в три часа, в самую жгучую, предрассветную пору. Перед спуском Гуржеев спросил его:

— Как ряж сел в пятом звене? Не видали?

— От Чёрного острова? Сейчас пойду туда.

— Хорошо бы подпиленные брусья к утру вытащить.

— Сделаю.

— Проберитесь по дну под клетки. Только осторожней. Там есть подрезы метра на три от края. Как бы не жмякнуло, когда потянете.

— Ну, вот ещё.

Воронков надел скафандр. Легейда и Аниканов навесили на него грузы.

— Теперь мне под ряжем погибнуть было бы совсем стыдно! — сказал он несколько задетым томом.

— Я тоже так думаю,— ободряюще согласился Гуржеев.

Легейда навинтил шлем, и Воронков вышел из тёплой каюты на мороз. Вода вокруг водолазного дуба была черна. От неё шёл пар, как от кипятка. Днепр у Кичкаса уже замёрз, вдоль берегов справа и слева образовались толстые ледяные кромки. Только быстрого, крутящегося течения в среднем протоке не мот ещё сковать мороз, но и

сюда с каждой ночью всё ближе и ближе подступал лёд. Воронков взялся за обледеневшую лесенку и исчез в клубящейся черноте.

Для удобства работы он надел только одну двадцатифунтовую свинцовую калошу и то на левую ногу. Правая нога, обычно более уверенная и твёрдая, без калоши отделялась в воде вбок, как пустая травяная дудка. Воронков шёл в глубину слепо, не глядя по сторонам, рассеянно цепляясь за брусья, как за сруб бездонного колодца. Вдруг вместо бруса пальцы схватили пустоту, Воронков взмахнул руками, руки скользнули по дереву, в глазные стёкла мелькнули спутанные тени, всё закружилось, полетело вверх. Он падал очень неудачно — головой вниз,— привешенные к спине грузы перевернули его. Это лишало свободы движений.

Воздух из шлема мгновенно перешёл в ноги скафандра.

Ноги стали легче головы,— выровняться, выпрямиться, несмотря на отчаянное сопротивление, не удавалось. Никакие усилия уцепиться хоть за какой-нибудь брус не помогали. Будь на ноге вторая калоша, такого перевеса никогда не произошло бы. Получив лёгкость воздуха, ноги перестали слушаться и запутались в деревянных перекрестиях. Воронков беспомощно повис среди водяной тьмы. При слабом свете электрического фонаря он успел определить, что не дошёл до дна около трёх метров.

Обычным нажатием затылка на золотник в шлеме Воротков пытался «потравить», выпустить отработанный воздух, чтобы открыть доступ свежей кислородной струе из шланга. Но воздух был в ногах,— через клапан золотника в шлем ворвалась вода. Вода залила лицо, захватила дыхание. Воронков судорожно рванул сигнал. Сверху сейчас же потянули. Однако сил вырвать ноги из ряжевой клетки нехватало, ноги запутывались всё больше и больше, попав в какую-то узкую щель. Верёвка, которую тянули с дуба, ломала через брус спину. Боль оглушила тело. Воронков почувствовал, что его совершенно заливает водой Он захлебнулся и потерял сознание. Когда вода заполнила весь скафандр, тело тяжёлым мешком пошло ко дну.

На сигнале, на водолазном дубе, стоял в тот момент Легейда. Не понимая, почему застряла верёвка, боясь, что отсутствие дальнейших рывков из глубины означает беду, он попробовал потянуть снова, но уже не прямо, а вбок.



И верёвка сразу пошла. Скоро около правого борта из воды показался серый безжизненный тюк с медной митрой.

Легейда и Аниканов в испуге втащили Воронкова на катер. Отвинтили шлем. Воронков лежал мертвецом, побелевший, неподвижный, с закатившимися под лоб глазами. Его сейчас же перенесли в каюту. Начали делать искусственное дыхание, приложили к носу смоченный в нашатырном спирте платок. Тело Воронкова оставалось бездыханным. Его отяжелевшие руки, поднимаемые то Аниканом, то Легейдой, казались каучуковыми. Щемящее чувство непоправимой беды охватило Легейду, Аниканов хмуро сжался. Такой же участи надо было ждать и ему самому. Река была грозной, непобедимой силой, она тянула в себя, как в мрачную бездну, и на каждом шагу угрожала смертью...

Неожиданно послышался стон, потом тяжёлый вздох. Веки Воронкова шевельнулись. Воронков двинул головой, дёрнулся, ожил. С него сняли скафандр и мокрое шерстяное бельё. Часы на столике показывали половину четвёртого утра.

— Чья очередь лезть?— спросил Аниканов.

— Твоя,— тихо ответил Легейда.

— Давай. Только позови кого-нибудь на шланге постоять.

Легейда выскочил из каюты. Вверху, на путях, около кранов, он увидел человека, осторожно пробиравшегося по шпалам, висевшим сквозной сеткой над рекой.

— Эй, братишка!— крикнул Легейда. — Иди скорей. У нас беда случилась. Постоишь на шланге вместо Воронкова.

Человек по льду подошёл к дубу. Это оказался Махоткин. Он посмотрел на лежавшего на скамейке Воронкова и с почтительной бережностью взял воздушный шланг в руки. Аниканов спустился в Днепр.

К утреннему гудку подпиленные брусья были выдернуты, ряж в пятом звене плотно сел на дню. Воронков крепко спал. Его разбудили.

— Ну, как, Сергей Фёдорович? В больницу или в Днепр пойдёшь? — спросил Аниканов, счастливо возбуждённый только что законченной работой.

Воронков потрогал поясницу, согнулся, разогнулся. — Давай скафандр,— сказал он.

Ряжи наращивали безостановочно. Их делали не только днём,— дни были коротки,— но и по ночам. Паровые молоты забивали вдоль новых ряжей шпунтовую стену. Проверяя эту стену, Легейда увидел однажды, что две шпунтины не добиты до гранита. Он дал сигнал. Сверху ему сбросили несколько мешков с песком. Мешки медленно, точно во сне, опустились в темноту. Легейда подхватил один из них и хотел заткнуть отверстие. Но вода шла под стальные доски с такой бешеной силой, что едва он приблизился, как его рвануло за ноги, подсекло, повалило и потянуло под шпунтины. Он отбивался, пытался встать, откинуться, отползти в сторону, но река борола, толкала его в гибель. Через две-три секунды он оказался втянутым в дыру, под стальные доски, по самую грудь, точно в чудовищный капкан. Легейда дёрнул за верёвку. «Спасите!..» — забились на поверхности отчаянные рывки. Воронков потянул прямо на себя,— верёвка не пошла. Воронков потянул вправо, затем влево, снова вправо и снова влево: Легейда так застрял в узкой щели между сталью и гранитом, что только после долгих усилий удалось освободить его оттуда.

— Будто из драки выхватили! — удивлённо проговорил Аниканов, рассматривая содранную на спине и на плечах товарища кожу.

— Что драка! Змей в пасть заглотил!.. – сказал Легейда, ещё не успокоившись после пережитого страха. — Из пасти вырвали, из смерти.

Воронков, Легейда и Аниканов учились водолазной работе в морях. В морях было светло и тихо. Там никакие течения не сбивали с ног. А Днепр постоянно грозил затянуть струёй в какую-нибудь неожиданную смертельную западню. В Чёрном море или в Балтийском — вода прозрачная, как стекло, в её глубине, даже довольно значительной, ясно видно без лампы. В Днепре же стоило опуститься на пять метров от залитой солнцем, сверкающей поверхности, как всё вокруг становилось буровато-зелёным, сумрачным, а на пятнадцати метрах наступала кромешная тьма. Электрический фонарь на дне среднего протока был подобен свету спички в погребе: чуть повернёшь голову от фонаря, уже ни зги не видно.

Работы по закрытию среднего протока продолжались полным ходом, несмотря на наступление зимы. И всюду – от острова до



острова — при всех операциях требовались водолазы. Ту часть перемычки, вдоль которой забили шпунт, начали уплотнять по низу, по неровностям гранита, мешками с песком. Ветры нагоняли стужу, обрушивались тучами летящего беснующегося снега. Метели кружились целыми неделями. После мотелей наступили резкие морозы. Днепр скрылся под толстым слоем льда, точно ушёл в землю. Водолазный дуб пришлось поднять краном на стапель, чтобы он не лопнул от размерзающегося вокруг него ледяного кольца.

А Гуржеев каждое утро упорно посылал водолазов в Днепр валить по дну мешки, возводить вдоль стальных досок толстую песчаную стену. Плотники вырубили топорами против среднего протока четырёхугольную прорубь, поставили около проруби на льду бревенчатую будку. Эта будка служила водолазам спасительной теплушкой. В теплушке непрерывно горел в чугунном казанке каменный уголь. Воронков, надевая скафандр, выходил на скрипучий снег и спускался в дымящуюся от стужи прорубь. В прорубь грузчики бросали мешки, набитые мелким речным песком,— он укладывал их под водой вдоль шпунтов, как гору, чтобы преградить ход воде. Через полтора часа Воронков поднимался. На его место уходил Легейда, Легейду сменял Аниканов, после Аниканова снова погружался в чёрную жуткую воду Воронков.

Холода становились всё жгучей и нестерпимей. Снег под ногами звенел. Неповоротливые, медлительные парни обмораживали руки, щёки, носы, ноги. При двадцати двух градусах никто на плотине не работал. Было бы сверхчеловеческой выносливостью стоять всю смену под обжигающим побелевшим небом, источавшим немилосердный ветер. Но водолазы не пропускали ни одного дня. Они лезли под лёд при всякой погоде, несмотря на то, что закон допускал водолазную работу при морозе не больше чем в девятнадцать градусов.

Однажды вечером в будку встревожено заглянул Ченцов.

— Скаженный мороз заходит к ночи, ребята,— сказал он, скинув варежки и ожесточённо растирая застывшие руки.— Двадцать семь градусов. И, видать, ещё нажмёт. Земля трещит, как арбуз. Пожалуй, придётся эту музыку бросить.

— Нам, если на градусы оглядываться, это когда же мы плотину кончим? — сурово спросил Воронков.

— Да ведь вас жалко.

— А вдруг морозы полмесяца простоят? — спросил Аниканов.— Что же мы тогда, сторожами сидеть тут будем?

— Ну, смотрите.

— Пусть лучше грузчики мешков побольше валят. Мы за грузчиков опасаемся: как бы они не скисли.

Водолазы вышли к проруби — Воронков в скафандре, Легейда и Аниканов в нагольных дублёных шубах, в валенках и шапках. Высоко над левым берегом в зелёном небе висела ледяная серьга молодого месяца. Чепцов остановился. Всё тело его невольно сжалось. Прорубь за несколько минут затянуло мутным стеклом. Воронков разбил ногами стекло и исчез. Осколки уплыли под лёд. В чёрной проруби закачались рога пронзительно холодного месяца.

Поднявшись со дна реки, в мокром скафандре невозможно было стоять. Едва Воронков показывался из воды, как Легейда и Аниканов сейчас же бросались к нему.

— Снимай голову скорей! — торопили они друг друга. Круглый медный шлем быстро отвинчивали. Голыми руками к нему нельзя было прикоснуться: пальцы щемяще прилипали к металлу. Воронкова заводили, в будку. На морозе минут через десять он мог заледенеть столбом.

Газета строительства «Пролетар Дніпробуду» изо дня в день вела счёт уложенным мешкам. Впереди шёл Воронков. Он обгонял Легейду и Аниканова. Газета кратко, почти одними цифрами рассказывала, что делается на дне Днепра, у шпунтовой стены среднего протока, и сотни людей с нетерпеливым интересом следили за движением этого беспримерного успеха. Несмотря на метели и морозы, за ноябрь и декабрь Воронков, Легейда и Аниканов уложили под водой восемнадцать тысяч мешков. Деревенские бородачи приходили смотреть на водолазов, как на непостижимых людей. Чапаевец Кондратов, изумлённо тронув рукавицей свой бурый медвежий треух, сказал раз Воронкову:

— В старину, говорят, святые подвиги совершали. Да разве какой-нибудь Симеон-столпник с тобой смеряется? Стоял и стоял на пне, как журавль на кочке. Велика штука, подумаешь!



Морозы становились с каждым днём крепче. Между тем по дну оставалось уложить ещё около трех тысяч мешков. В степи гулко лопалась земля. Колёса платформ, гружённых мешками, въезжая на перемычку, издавали дикий визг и звон, точно они были сделаны из поющего льда. По утрам седая мгла стояла над Днепром. Печные дымы поднимались в небо гигантскими столбами. Синяя соломинка в термометре на крыльце рабочкома ужималась всё ниже и ниже. Она уже показывала тридцать, тридцать один, тридцать два градуса. При выходе на улицу захватывало дух, руки и колени через пятнадцать минут немели, морозный ветер выдувал из глаз слёзы.

Второго января после двенадцати часов ночи к водолазной будке прибежал Косачёв.

— Воронков не в реке?— запыхавшись, спросил он вышедшего Легейду.

— Только подняли.

— Скорей пусть одевается.

— В скафандр?

— Нет, к телефону его...

Косачёв сам вбежал в будку.

— Сергей Фёдорович, давай скорей со мной в партийный комитет. Надевай шубу, шапку, живо! Тебя из Москвы вызывают.

— Как из Москвы?

— Из Кремля.

Сердце Воронкова дрогнуло и сейчас же растворилось в теле. От реки он побежал вверх по рытвинам, по брусьям, через канавы, по шпалам, по мёрзлому скрипучему снегу. Косачёв едва поспевал за ним.

В партийном комитете был только дежурный. Телефонная трубка лежала на столе. Воронков с робостью поднял её.

— Слушаю. У телефона водолаз Воронков,— сказал он неуверенно.

— Сейчас с вами будет говорить товарищ Сталин. Что-то потрескивало, шумело, гудело в невидимых проводах. И вдруг голос, не похожий ни на один из тех, какие Воронков слышал когда-либо в жизни, сказал:

— Здравствуйте, товарищ Воронков! Как вы с морозами справляетесь?

— Не поддаёмся пока!

— А жмут?

— Жмут, Иосиф Виссарионович.

— Непредвиденный противник. Победим или не победим? А? Имейте в виду, средний проток надо закрыть в течение января непременно. Тихменёв вам говорил? В феврале мы должны повернуть Днепр в левый проток. Это совершенно необходимо. Иначе половодье наступит нам на пятки. Наступит, тогда зря потеряем месяца три, а то и весь сезон. Я знаю, водолазы для Днепростроя много сделали. Хорошо знаю. Но надо ещё постараться. Сейчас ваш подводный фронт самый главный. Меня очень беспокоят морозы. Сколько у вас сегодня?

— Тридцать три градуса.

— Вот видите. Не сорвут они вашей работы?

— Нет, Иосиф Виссарионович: самое главное мы уже одолели. Морозы нас не остановят. Мы дали друг другу братское слово итти в воду при любой стуже. И идём.

— Значит, можно надеяться?

— Всё сделаем, Иосиф Виссарионович. — Это твёрдо?

— Не отступим.

— Ну, желаю вам здоровья. Чтобы ни один из вас не простудился и не заболел! Слышите? Это мой приказ. Так и знайте. Может, тёплого белья прислать? Я скажу. Смелости вам, успеха! Крепко жму руку. Привет вашим товарищам.

Воронков положил на рычажок трубку и несколько мгновений не мог двинуться с места, как бы ещё не веря тому, что случилось. Но всё было, было действительно! Он слышал голос, приказ, просьбу человека, стоящего во главе необъятной страны.

Косачёв ожидающе, радостно смотрел Воронкову в глаза.

Воронков в самозабвенном порыве взял его за плечи

— Насчёт морозов беспокоится. Спрашивает, выдержим или не выдержим. А?.. — Слёзы радости выступили у Воронкова на глазах. — Да мы с ребятами, будь вода вдвое холодней, полезем. Теперь только мешки давай. Подкрути там, Никита Матвеевич, покрепче. Пусть гонят без отказа.

На улице было звёздно, сугробы мерцали голубыми радужными искрами. Острое, колючее сверканье переполняло небо. От звёзд шёл чистый, возвышающий свет.



Тугой, перемёрзший снег пел, звенел, играл под ногами. Дорога к реке казалась слишком длинной.

Чёрная прорубь перед средним протоком мелькнула морозным дымом.

— Ребята, привет вам от Сталина!— крикнул Воронков, влетая в будку.

Что?.. Ты говорил с ним?

— Вот как с вами.

— Прямо лично?

— Лично, лично! Как с самым близким человеком.

И Воронков подробно передал весь разговор.

Он не в очередь надел скафандр и ушёл в Днепр. Легейда и Аниканов стояли над прорубью — один на сигнале, другой на шланге. Они говорили о случившемся, изумлялись, качали головами, старались представить Кремль, кабинет, письменный стол, телефонный аппарат, необыкновенного человека, который среди государственных трудов и забот думает и о них, днепровских водолазах.

Было пять часов утра, когда Воронков дал сигнал на подъём.

Утром уже всё строительство знало, что ночью Воронкова вызывал из Кремля Сталин.

## XIV

Девятого января начали разбирать перемычки левобережного котлована, чтобы пустить этой дорогой Днепр. Водолазы за восемь дней уложили в среднем протоке две тысячи девятьсот мешков песку. Вся новая линия, за исключением нескольких открытых ворот, была прочно укреплена. На разборку левобережной перемычки Гуржеев бросил бригады плотников и каменоломов. Ивась и Махоткин привели сотни людей.

Они разворачивали могучую крепость, которую ещё недавно всячески старались сделать непроницаемой. Камень, заполнявший клетки ряжей, смёрзся. Засыпанный песком и схваченный льдом, он превратился по твёрдости в нечто подобное бетону. Его долбили ломами, били молотами, кирками, кувалдами, взрывали. Плотники развинчивали глухари, вытаскивали их из глубоких дыр и снимали верхние венцы ряжей целиком, не портя брусьев.

Брусья складывали в кучи, камень сбрасывали в реку. Подходили паровозные краны, подхватывали перевязанные тросами охапки тяжёлых брусьев и переносили на берег.

Косачёв ходил по баракам, разъяснял необходимость ускорения работ. Он говорил, что реку надо успеть отвести зимой, при низком уровне. Прозевать низкий уровень — значит, совершить непростительную ошибку. Необходимо к февралю средний проток наглухо закрыть по всему фронту.

Утром, посоветовавшись с товарищами, Костя Макаренко сказал Косачёву:

— Комсомолия обсудила это дело, Никита Матвеевич. Наша думка такая: повернуть Днепр к годовщине смерти Ленина — к двадцать первому января. Это будет наш венок Владимиру Ильичу.

Лицо Косачёва растроганно посветлело.

— Очень хорошо,— с неожиданной нежностью проговорил он. — Правильно, ребята. Только условие: раз наметили срок, не сдавать! Точно решили, точно выполнить. Согласны?

— О чём говорить!

Когда верхние венцы перемычки были сняты, нижние клетки до самой поверхности речного льда стали распиливать пилами.

Чем меньше оставалось в среднем протоке незакрытых ворот, тем выше поднималась вода. Она залила лёд до Кичкаса, до железнодорожного моста, и с каждым днём прибывала. От реки на морозе шёл белый пар. Огромная наледь застывала по ночам, уходя вверх за мост, за Волчье Горло, в снежную степь, к Вильному порогу.

К двадцатому января остались незакрытыми только двое ворот. Гуржеев дал распоряжение подрывникам заложить в верховую и низовую перемычки левого протока по нескольку динамитных патронов. Устин Денисов с своей бригадой установил на перемычках электрические провода, укрепил электродетонаторы, построил на берегу блиндажное укрытие.

Вечером Гуржеев вызвал в свою контору Савичева и Волошко вместе с их такелажниками. Синьки на стенах многозначительно темнели.

— Сегодня ночью, товарищи, мы повернём Днепр в



левый проток,— сказал Гуржеев торжественно. – За ночь Вы должны успеть закрыть и те и другие ворота.

— Шандоров мало,— ответил Савичев. — Тут надо с запасом иметь. Один не подойдёт, другой загнать.

— Шандоры будут.

— Пусть сейчас же везут, Степан Андреевич,— с беспокойством сказал Волошко.

— Дело нешуточное,— в один голос заявили такелажники. — Раз на быстроту гнать, откладывать нечего.

— Я уже звонил.

— В котором часу перемычки взорвут?

— В шесть.

— Давайте шандоры. Давайте скорей. Делать, так делать,— заговорили все сразу — и машинисты и такелажники, поспешно направляясь к выходу.

У перемычки их окликнула Лукийка:

— Вы что, хлопцы, ватагой ходите, будто свадебные старосты?

— А так и есть. Свадьбу на ночь задумали! — крикнул Савичев.

— Ещё что выдумаешь?

— Днепр в левый проток будем сватать.

— Вы?

— А что ж. Засватаем. Закроем последние ворота,— куда ж ему деться? Пойдёт! Приходи посмотреть.

Косачёв не спал всю ночь. Он возбуждённо носился от машинистов к плотникам, от плотников к каменоломам, от каменоломов к подрывникам. Савичев и Волошко опускали шандоры с суровой сосредоточенностью. Они знали, что никакой остановки или задержки допустить нельзя. Стрелы кранов то поднимались кверху, то плавно склонялись вниз. Прожекторы заливали светом ряжевые звенья. Тысячепудовые шандоры наглухо становились друг на друга в последних пролётах ворот. Приближалось утро двадцать первого января.

В пять часов пятьдесят минут подрывники заложили динамит. На востоке смутной зелёной полоской проступил рассвет. В шесть часов горнист Царенко заиграл первый сигнал. К подрывникам присоединились Гуржеев, Косачёв, Сухонин. Они скрылись за прикрытием. В боковой подзор им был виден весь левый проток. Прозвенел колокол. И опять

крылато запела, затрепетала в рассвете труба. Царенко играл, как вестник, возвещающий победу.

Едва погас последний звук меди, как Устин Денисов включил рубильник. Грянул артиллерийский гром. Гул и треск покатились по льду назад. Куски камней и деревянных брусьев взлетели на воздух. Морозный, дымящийся Днепр, тыкаясь пенистыми головами потоков в ямы и канавы, выхваченные взрывами, тремя могучими змеями ринулся вперёд. Он бросился в пролёты между бычками, загрохотал шумными водопадами, быстро наполнил пустой котлован. Мутная вода закрутилась огромными воронками, хлынула через низовую перемычку в безмолвное ледяное поле. Далеко за перемычкой, в нижнем бьефе, как отдираемое руками толстое стекло, затрещал лёд.

— Ух!..— восторженно выдохнул Гуржеев.— Сила-то, сила какая!

— Богатырь!..— крикнул сквозь шум Сухонин.— А злющий!.. Смотрите, смотрите.

Днепр на глазах у всех рваными взъерошенными гривами поворачивал из среднего протока в левый.

— Вот это высчитано!..— сказал позади Гуржеева Косачёв. — Степан Андреевич, замечательно!

Река широкой жёлто-бурой лавиной, сокрушающим морем мчалась через левый проток.

— Надо бы Евгению Сергеевичу позвонить,— вспомнил вдруг Гуржеев, радуясь удаче, рассвету, своей молодости.

— Он здесь! Вон где,— Косачёв показал рукой на берег в сторону скалы Сагайдачного.

— А и верно...

Около низовой перемычки, над крутящимися бурунами, от которых шёл густой белый туман, стоял Тихменёв. Мимо него бежали к Днепру с железнодорожных путей девушки из бригады Лукийки. Со стороны шестого посёлка в коричневой меховой кожанке, в грубых рабочих сапогах приближался Буров. Он был сосредоточенно хмур и строг. Но уже свет торжества и гордости проступал на его лице.



## XV

Всё шло по плану. Каждый этап строительства имел свои строго обдуманные сроки. Техническая мысль старалась предусмотреть, учесть малейшие затруднения, чтобы не задержать работ, чтобы заранее предотвратить, устранить препятствия. Управление выработало твёрдую последовательность строительных процессов.

Но вот в рабочих бригадах, среди людей, видевших результаты своих ежедневных усилий, начались разговоры о встречном плане, об увеличении норм кладки бетона, о таком развороте дела, чтобы до зимы уложить в плотину и гидростанцию четыреста пятьдесят, а может, и все пятьсот тысяч кубометров. От этих разговоров у многих явилось чувство тревоги, чувство беспокойного опасения, что налаженная стройность сломается, придёт в замешательство.

— Ой, ребята, куда же через силу загадывать?.. Сорвёмся к богу в рай!

Загоруйко, Чепцов и Тернава взялись за перерасчёт плана. Перерасчёт показал, что замысел рабочих выполним.

— Ребята,— строго спросил Косачёв,— а вы не промахнулись? Ошибки у вас нет?

— Нет, Никита Матвеевич.

— Подумайте. Дело нешуточное.

— Ошибки не может быть.

Косачёв всё же взял усеянные цифрами листы и отнёс их Гуржееву.

—Степан Андреевич, проверьте, пожалуйста. Не сердитесь за лишнюю нагрузку, но иначе нельзя. Молодые инженеры хороши, но у них опыта нет. Я понимаю, вы будете поддерживать управление. Однако задача есть задача. Правильно они её решили?

Гуржеев просмотрел расчёты.

— Математически всё верно.

— А в чём неверно?

— Я не говорю — неверно. Суть в людях, вы сами отлично понимаете.

Косачёв задумался.

—Людей хватит.

— Подготовленных?

— Велика премудрость, подумаешь, бетон топтать! Подготовим.

— Кроме премудрости, старательность нужна, добросовестность. Огонь нужен. Люди для такого дела зажечься должны. Тогда разговор будет другой.

— Значит, вы не верите?

— Почему не верю? Если сумеете вызвать большое движение, движение не на день, не на неделю, а на всю задачу в целом, тогда вера придёт сама собой.

Косачёв медленно поднялся.

— Равнодушных много,— оказал он с огорчением.

— Они везде.

— Даже среди инженеров.

— Среди инженеров особенно.

— Но неужели нельзя их поднять?

— Когда человека ценят по-настоящему, он может отдать все свои способности и всю силу.

— Если бы так...

— Это закон.

Уже простившись и подойдя к двери, Косачёв неожиданно обернулся и сказал:

— Хочу вам успеха, Степан Андреевич! Самого большого, самого глубокого. Если бы вы на какой-то градус ещё ближе, ещё теснее повернули к Днепрострою, к нашему будущему, к великим планам, выдвигаемым партией! Если бы именно вы, с вашим здоровым, честным отношением к труду, не только заинтересовались строительством, а увлеклись им, как увлекаются люди научными открытиями, изобретениями, необыкновенными путешествиями!

Гуржеев молча пожал Косачёву руку.

Буров должен был уехать в Германию и в Америку для заказа основного оборудования. Партийный комитет попросил его сделать перед отъездом на заседании бюро доклад. Буров, как всегда, очень обстоятельно говорил о состоянии дела, о поступлении машин, приборов, материалов, об организации питания, о постройке жилых домов и о необходимости во что бы то ни стало уложить за лето и осень четыреста семнадцать тысяч кубометров бетона.

— А по-нашему, четыреста пятьдесят тысяч надо втоптать,— несмело сказал кто-то справа у стола.



— А то и все пятьсот! — уже громче и уверенней заявил из задних рядов Загоруйко.

— Ясно, на пятьсот итти. Пятьсот тысяч кубометров принять,— и на них гнать!

— Совершенно верно!— со всех сторон послышались оживлённые возгласы.

Буров раздражённо вскинул тяжёлые чёрные брови, оглянул коммунистов.

— Что «совершенно верно»?

— Пятьсот тысяч.

— Что верно, я спрашиваю? Мы не на митинге. Четыреста семнадцать тысяч — это технический предел, дальше которого итти нельзя.

— А если мы докажем, что можно?

Это сказал Прокоп Зернов, сказал лёгким, молодым теноровым голосом. Слова его прозвучали радостной смелостью, задором готового к состязанию борца, уверенного в своей силе, синие глаза улыбались, вокруг глаз залучились мелкие морщинки.

Буров вздёрнул широкими, точно отлитыми из чугуна плечами.

— Я пришёл сюда не для болтовни! — едва взглянув на Зернова, отрубил он и начал обиженно собирать со стола бумаги.

— Позвольте... Вы не так меня поняли!— поспешно, с доверчивой теплотой в голосе хотел объяснить свой возглас Зернов, но Буров его уже не слушал.

— Я сделал технический доклад. Если угодно обсуждать, прошу обсуждать серьёзно, а мальчишеские выкрики мне не нужны. Нельзя наобум, с потолка называть цифры ради цифр. Галочий галдёж между взрослыми людьми недопустим.

И сразу начались резкие, острые разговоры. Было сказано много возмущённых, колких слов о чересчур властном характере начальника строительства. Но многие коммунисты, в том числе Косачёв, Воронков и Прокоп Зернов, горячо защищали Бурова от несправедливых нападок, от мелкого, придирчивого недовольства, не помогающего, а только мешающего делу.

Гуржеев удивился горячности, с какой Зернов старался оградить человека, который только что его оборвал.

После собрания Буров молча встал и молча ушёл, высокий,

широкоплечий, нелюдимый, уносящий в себе раздражение и обиду. Тернава долго шёл с Косачёвым, касаясь плечом плеча, но не произнося ни слова. Потом, как будто продолжая что-то доказывать, сказал:

— А не сделать ли нам, Никита Матвеевич, такой ход? Американцы народ деловой, умелый, тёртый. Если они возможность встречного подтвердят, у нас же тогда на руках будет козырь.

Косачёв, неопределённо шевельнув густыми светлыми усами, крякнул:

— Леший их знает, американцев...

Ночью Косачёв зашёл в барак, где жил Ивась. Было уже около одиннадцати часов, некоторые спали, некоторые сидели у своих тумбочек, дед Левон мешал в печке угли. Ивась читал физику — отдел электричества.

— Идёт? — спросил Косачёв, показывая глазами на залитые светом страницы с чертежами.

— Трудно, Никита Матвеевич.

— Тебе? Тебе трудно?

— Очень. Слов нет, интересно, заманчиво, не оторвёшься. Но после топора тяжело. Иной раз среди ночи проснусь: щемит заноза какая-нибудь и щемит. Фундамента нет, вот беда.

Косачёв сел на койку около столика, закурил. Отсюда ему были видны склонённые над книжками и над тетрадками головы Семёна Волошко, Магомета Гарифова, Витьки Савичева. Неутомимость этих ребят трогала Косачёва. Все учились, все неустанно ходили на курсы.

Магомет Тарифов почему-то мечтал стать лесничим. «Лес буду садить вдоль Волги. Много леса,— говорил он. — Волгу песок заносит, а мы сосновую стену поставим, не пустим. Разведу питомники, подниму народ, целые сёла выйдут. На сто, на двести, на триста километров лес посадим. Ой, зашумит!.. А по берегам яблони, вишни зацветут, соловьи защёлкают. На пароходах люди поедут: «Кто придумал такое дело?» — спросят. А им ответят: «Наш лесничий Магомет Тарифов...» И улыбался широкой наивной улыбкой в предчувствии необыкновенного этого счастья...

И в других бараках — везде горели огни, везде были раскрыты книги. Ноги Косачёва ныли от усталости. Столько было исхожено за день! Столько непрерывных, бесконечных забот беспокоило, терзало, разрывало сердце! И от утомления чувство грустной зависти на какую-то секунду шевельнулось в нём. Ничего этого у него в жизни не было — ни учебников, ни тетрадей, ни доступных, каждый вечер открытых курсов, ни преподавателей-инженеров. Но сейчас же в груди разлился тёплый, мягкий свет. К Ивасю, Магомету, Семёну и Витьке у Косачёва жила нежность, точно это были его собственные сыновья, которые продолжат его человеческую жизнь и его труд.

Утром Загоруйко, Тернава и Косачёв пришли к главному инженеру американской консультации. Они начали с того, что, по их мнению, гидростанцию можно пустить раньше намеченного срока, именно — в мае тридцать второго года, а для этого надо успеть уложить в предстоящий сезон пятьсот тысяч кубометров бетона. Загоруйко развернул старательно составленный примерный график работы. Гаррисон выслушал доводы, не обращая никакого внимания на график, точно его не было совсем. Потом пожевал губами и каркающим, хриплым голосом начал говорить.

Переводчик перевёл:

— Если к этому графику,— говорит мистер Гаррисон,— приклеить ещё два фута бумаги — один для тридцать третьего года, другой для тридцать четвёртого,— тогда будет как раз. А об укладке пятисот тысяч кубометров в один сезон не может быть и речи. Управление скромнее вас, но даже его план является невыполнимым.

Пренебрежительный тон Гаррисона рассердил Косачёва.

— Не туда сунулись. С головы надо начинать. С Купером говорить, а не с приказчиком.

Купер бегло взглянул на Косачёва, на Тернаву, на Загоруйко. Всех их он знал по работе. Его дряблое, испещрённое морщинами лицо выразило неодобрение.

— Это несерьёзный разговор, мистер Косачёв. Окончание строительства есть вопрос такого отдалённого будущего, что надеяться на событие чрезвычайное было бы легкомыслием. Уложить пятьсот тысяч кубометров — всё равно что на один доллар выиграть пятьсот. Вероятий столько же.

Загоруйко почувствовал себя униженным после этих разговоров. Тернава угрюмо молчал. Только у Косачёва как-то странно посветлели, сузились глаза. Это был

острый, обозлённый свет решимости, который появляется, когда человек готов кинуться на любые препятствия.

— Вопрос отдалённого будущего? — фыркнул он. — Посмотрим! Посмотрим, придётся вам клеить два фута бумаги или не придётся...

## XVI

Половодье весной тридцатого года было небольшое. Днепр шёл невысоко, вода спала быстро,— на целый месяц раньше, чем предсказывали гидрологи. Это давало неожиданный выигрыш времени для работ.

Тридцатого мая в среднем протоке началась откачка котлована. На воду были спущены понтоны с насосами. Громоздкий «Александр III» выхлюпывал воду из широко разинутой пасти, точно допотопный ихтиозавр. Гуржеев с нетерпением ждал, что окажется в котловане, какое будет дно, на какую глубину придётся снимать скалу.

Откачка была закончена через двадцать семь дней. Огромный котлован, ограждённый высокими стенами ряжей, казался фантастической пропастью в поддонные недра реки. Толстоголовые сомы ошалело метались в ямах между камнями. Серебристо сверкали в воздухе подпрыгивающие из воды щуки и карпы. Их ловили рубахами и просто руками. Одного из пойманных сомов увезли на грузовике в столовую. Там его втащили на весы. Он потянул больше пяти пудов.

По неровным зеленовато-серым скалам дна лежали толщи наносного грунта. Всюду громоздились крупные и мелкие валуны. Дно казалось поверхностью неведомой планеты.

Гуржеев боялся, что до здоровой скалы в среднем протоке придётся снять не меньше шести метров ослабевших гнейсовых пород. Однако первые же буровые скважины доказали, что крепкий гранит начинался уже с трёхметровой глубины.

При удалении из котлована ила рабочие наткнулись с левой стороны от Чёрного острова на странную находку. Они выкопали из глубокого песка пять огромных мечей. Мечи были франкского происхождения. Археологи насчитали им свыше тысячи лет. Рукоятки мечей обвивала тонкая серебряная проволока. На одном мече сохранились



золотые украшения, а на конце рукоятки геолог Свечин рассмотрел даже метку мастера, который, очевидно, с гордостью, как произведение искусства, выпускал в мир орудие из своей кузницы. Десять столетий пролежали мечи в песчаном днепровском иле. Какая битва произошла тут в глубине веков? Печенежские ли стрелы, вылетевшие из засады, сразили воинов с франкскими мечами или открытая схватка яростно сцепившихся среди Днепра лодок погубила тех давних людей?..

Историк Шумейко, сухонький маленький старичок, с белыми, мягкими, как ковыль, волосами, написавший несколько толстых книг об украинском казачестве, за что седоусые старики из краеведческих музеев называли его украинским Вальтер-Скоттом, рассказывал удивительные вещи.

Он любил и знал археологию. Советское правительство поручило ему тщательнейше наблюдать за рытьём земли и за сносом скал по берегам Днепра, чтобы случайно не были погублены исторически ценные следы прошлой жизни.

Земляные работы дали много интересного. В районе строительства Шумейко нашёл могилу скифского вождя и одиннадцать могил времён неолита — новокаменного века. В скифской могиле, в сухом золотистом песке, оказался хорошо сохранившийся скелет рослого человека и скелет его коня. С правой стороны от скифа, у комковатых костей запястья, лежало шестьдесят девять бронзовых стрел. Возле черепа стояла чёрная лакированная ваза — изделие Древних греков.

В неолитических могилах откопали ручные жернова, точильные камни, костяные и роговые амулеты, бронзовые серьги и куски разной глиняной посуды. Раскопки вызвали огромный интерес среди рабочих. Целыми группами люди ходили смотреть на разрытые древние могилы и просили археологов рассказать о старой, непредставляемой жизни в этом краю.

Когда на левом берегу строили шестой посёлок, при рытье фундамента нашли в красной глине череп носорога и огромные, похожие на слитки неизвестного металла, желтовато-белые зубы мамонта. Несколько носорожьих черепов нашли также и около Криничной балки на правом берегу. На правом берегу, у переправы, были киммерийские, сарматские и половецкие погребения. Там находили

бронзовые браслеты, кольца, стремена и глиняные светильники.

На пурисовых островах оказалось много сохранившихся человеческих костей, наваленных кучей. Они поразили старого историка тем, что при них он не видел ни одной головы. Зато в четырёхугольной яме между скалами скоро была обнаружена новая загадочная находка, очевидно тесно связанная с первой,— груда занесённых песком полуистлевших черепов, лежавших без скелетов. Кто кому рубил головы на этих камнях? Шумейко считал, что верхние черепа имели тюркские черты,— возможно, что они принадлежали печенегам,— а нижние были славянскими.

В степи, где шла планировка будущей Запорожстали, землекопы наткнулись на древнее погребение. Они выкопали бронзовый молоток в виде головы орла и круглое бронзовое зеркало. Был яркий июньский день, с юго-востока дул сильный ветер, знойное солнце горело над степью. Землекопы с недоумением рассматривали непонятный позеленевший металлический круг, который отражал некогда глаза, губы, смуглые лица молодых скифянок, хотевших нравиться и ждавших любви.

Остатки прошлого повествовали *о* жестокой первобытной жизни. Народы ордами переходили великую реку, направляясь с востока на запад, гонимые стрелами, мечами врагов, азиатским немилосердным солнцем и нуждой. Народы плыли по реке с севера на юг, «в греки», на Дунай, в Византию, волоком перетаскивая свои долблёные многовёсельные ладьи вдоль порогов. Греческие купцы поднимались по Данапрису-Днепру из Царьграда на север, до Крарийской переправы, переименованной потом татарами в Кички, а немцами-колонистами в Кичкас.

На острове Хортице росли бурьяны, терновник, глёд. По преданиям, там хранились заклятые запорожские клады — награбленное у турок, у татар, у греков, у болгар золото. Говорили, что где-то на Гадючьем острове закопано двенадцать пушек красной меди, набитых несметными сокровищами. Около скалы Дурной и в балке за скалой Сагайдачного, по рассказам стариков, было заклято сечевиками двенадцать кладов. Некоторые каменоломы, бурильщики и подрывники искали турецкого золота, польских червонцев, венгерских талеров, сказочных персидских самоцветов. Но никто ничего не находил.



Только одному каменолому, Савке Задорожному из Пирятина, когда очищали котлован гидростанции, блеснуло в глаза настоящее золото. Оно ударило, как молния, сухим, жарким, ошеломительным светом. У Задорожного онемели, задрожали ноги. Он жадно схватил и зажал в руке тяжёлую монету, кинулся искать кругом, нет ли ещё,— а вдруг тут глиняная кубышка, медный казанок или целая казацкая гармата, затаившаяся под скалой! Может, эту только случайно выперло землёй, выжало из переполненной посуды или из гарматного дула, а остальные — только копни — горят, как жар, здесь же, совсем близко. Однако других монет, несмотря на лихорадочные поиски, нигде больше не оказалось.

— Ты что нашёл? — подозрительно спросил сосед.

— Да вот.., попалась золотушка какая-то... — сказал наконец Савка и сам не узнал своего голоса.

— Золотушка?

Сосед подскочил беззвучно, как тень, впился глазами в находку.

— Смо-отри какая! — выдохнул он завистливо. — Не николаевская.

— Заграничная.

— Ну?

— Видишь, личность незнакомая.

— А тоже царь, наверно.

На правом берегу в тот день работал Шумейко: недалеко от здания управления, за сквером, нашли некрополь — большое скифское кладбище. Старику сказали о находке. Он с неожиданным проворством, семеня плохо слушающимися ногами, спустился в котлован. Взял в руки тёплую, уже покрывшуюся потом монету, поправил очки, суетливо вынул из бокового кармана мешковатого чесучевого пиджака вторую пару очков, взгромоздил их на переносье — и весь углубился в рассматривание таинственного бледно-жёлтого кружка.

— Какого царя, папаша, золото? — не вытерпел, спросил Савка Задорожный.

— Давнишнего...— глухо, преодолевая волнение, проговорил Шумейко.

Очки его скользили на переносьи. Дужки плохо держались за маленькими дряблыми ушами.

— Ну, всё-таки?

— Это, козаче, денежка византийского императора Юстиниана Великого. Слыхал такого?

— А пёс его знает! Может, и слыхал когда,— храбро сказал Савка. — Сколько же ей лет будет?

— Если считать кругло, без пустяков,— тысяча четыреста!

— Ого!

В кругу засмеялись:

— Старовата...

— Не примут, Савка.

— Раз она не ходячая,— очень просто.

— Зря ты обрадовался!

Но Савка вызывающе обвёл глазами любопытных.

— Это золотушку-то не примут?.. Императорского чекана?

— Продай для музея,— предложил Шумейко. — В Днепропетровске замечательный музей есть, его даже из Швеции и из Англии приезжают смотреть. Положу эту денежку под стекло, рядом с другими монетами. И фамилию твою подпишу: «Нашёл такой-то во время работ на Днепрострое».

Савка азартно, как на ярмарке, оглянулся на окружающих. Каменоломы ждали, что он скажет.

— Давай четвертной. Так и быть, хай в музее красуется.

— Двадцать пять карбованцев? Что ты, козаче! Дорого!

— Это же не керенка какая-нибудь поганая, а золото, папаша.

— Ну, ладно, ладно...

Шумейко пощупал карманы и вдруг вспомнил, что утром, выходя из квартиры, где остановился, сунул бумажник в чемодан, а чемодан запер в шкаф. Он торопливо выкарабкался из котлована и почти побежал за деньгами.

Через несколько минут о находке стало известно по всему берегу. В котлован гидростанции спустилась экскурсия ленинградских инженеров. Один из них, плотный, бритоголовый крепыш, с рыжими бровями, попросил посмотреть диковинную монету. Он подкинул её на ладони, как на весах, поднёс к маленьким голубоватым глазкам и небрежно бросил наудачу:

— Хотите, сорок дам?



Савка Задорожный боязливо повёл взглядом по берегу, коротко оглянулся.

— Что вы, товарищ, старик обидится досмерти.

— Подумаешь! Письменного договора ведь у вас нет. Поговорили и разошлись.

Савка оглянулся снова.

— Накиньте ещё десяточку...— скороговоркой пробормотал он.

— Вот это другой разговор.

Неизвестный инженер вынул из заднего брючного кармана бумажник, отлистал пять червонцев и затерялся среди сновавших по берегу людей.

Когда запыхавшийся, потный от непривычной спешки Шумейко вернулся и узнал, что Юстиниан Великий исчез, он готов был заплакать.

— А, чтоб под тобою земля горела! — клял он в бессильном негодовании инженера. — Чтоб тебя свиньи съели, хапуга чортова!

Через несколько дней Ивась, Семён Волошко и Хачапуридзе вечером после работы пошли смотреть могилу скифа. Около раскопанного кургана неутомимый Шумейко с молодым помощником возился над какими-то тёмными глиняными черепками. Перед палаткой вился синий дым полупотухшего костра.

— Чулы, хлопцы, як мене обдурилы? — ещё не успокоившимся от обиды голосом встретил пришедших старик. Такими словами он встречал, вероятно, всех днепростроевцев.

По рассказам Гуржеева, Ивась знал, что в знаменитой картине Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» хитрый писарь сорок лет назад был нарисован именно с историка Шумейко. Из-за этой картины у Ивася было совсем особое отношение к старику, смотревшему на мир через две пары очков.

— А правда, что вы когда-то с Репиным тут ходили? — спросил он почтительно.

— А ты чул, хлопче? О! Ще й як ходылы!..

И Шумейко начал рассказывать, как он и Репин осматривали Хортицу, расположение бывшей Запорожской Сечи, как прошли пешком вдоль всех порогов, как против Ненасытецкого порога явились в старинный белоколонный дом помещицы Малама, высокомерной, гонористой старухи,

происходившей из рода гетмана Данилы Апостола. В сундуках у этой «бисовой бабуси» хранились гетманские жупаны и шапки. Репин хотел срисовать яркие стародавние одежды для будущей своей картины. Малама близко его не подпустила к жупанам. Точно неприступные чудотворные иконы, она подвесила их в зале к верхнему косяку окна, и Репин, сидя на террасе, должен был торопливо делать быстрые эскизы только через стекло.

— Был я весною возле Ненасытца, посмотрел, что сталось с тою бабусей.

— Разве она жива? — испуганно спросил Семён Волошко.

— Куда там! Померла ещё тогда, через год или через два после того, как мы приходили. Нет! Я спустился в склеп, где весь род Маламихм похован. Гранит, мрамор, фортеция, а не склеп! И вот вижу,— гробница с тою бисовою бабусею. Золотые буквы, герб разбитый. «Ну, як ты себе тут почуваешь, видьмо? — пытаю... — Де жупаны и шапкы твоего Данила?..» Поднимаю крышку,— матерь божия! Только череп от Маламихи остался, а из черепа страшенный зуб торчит, жёлтый, длинный, грязный, как у бабы-яги. «Скоренько, скоренько чорты тебе в пыль пустили! И що взяла, вельможна пани, гетьманский выплодок? Витром розвияло жупаны твои. А картина жива, на весь свет уславлена, людей веселит и будет жить и жить, пока солнце горит!..»

Шумейко ссохся, пожелтел, подряхлел, но дух озорства и хитрости, вспыхивавший на его маленьком, тонкогубом, бритом лице, всё ещё напоминал писаря из «Запорожцев».

Ивась спустился в могилу скифа. Семён Волошко и Хачапуридзе осторожно сошли вслед за ним. На дне могилы лежал серый крупный костяк. Череп скифа был чёрно-жёлт, только застывшие челюсти горько светились ровными белыми зубами.

— Вот так зубы! — восхищённо сказал Ивась. — Красота.

Хачапуридзе дружески посмотрел на Ивася.

— У нас в Грузии и сейчас есть такие. Засмеётся,- прямо миндаль цветёт; белый, свежий, чистый.

Семён Волошко задумчиво смотрел на неизжитую силу



и молодость ослепительно белых зубов, пролежавших сотни лет в земле.

— Ох, и дивчата такого, наверно, любили!..— проговорил он тихо.

— А то нет? Смотри — богатырь!

Скелет был широк и длинен. Пустые глазницы его казались исполненными печали. Ветер сушил крепкие кости. Высоко над могилой с быстрым шумом пронеслась чёрная стайка играющих ласточек.

— Что тут было, когда он жил? — спросил Ивась, показывая на скелет неведомого древнего человека, может быть, своего праотца и праотца многих других, кто работал на Днепрострое.

Шумейко повеселел, подобрался. Интерес рабочих поднимал его, вдохновлял. Он говорил о кочевых народах, населявших приднепровские степи в давние, первобытные времена, рассказывал о греческих и римских историках и географах, которые описывали Днепр, пороги, доставку по Днепру янтаря, мехов, мёда, описывали людей, живших здесь две и две с половиной тысячи лет назад, о курганах, раскопанных археологами близ Никополя, где оказались погребения скифских царей. Он как бы выводил из тьмы прошлого безвестных степных владык, их жён, украшенных ожерельями, браслетами, серьгами, кольцами, цветными цареградскими паволоками из яркого шёлка, многочисленных рабов и рабынь, заколотых при похоронах своих повелителей, рассказывал о пьяных и кровавых тризнах над могилами, о битвах, о предательствах и засадах, об истреблении человека человеком.

За Криничной балкой дымным заревом догорал степной закат. Сизая тонкая мгла залегла по низинам. Влажный запах трав, перебиваемый тёплыми и нежными ароматами цветов, поплыл со степи. Сумерки становились синей, гуще.

## XVII

Котлован среднего протока требовал быстрой очистки. Надо было как можно скорее выбрать глубокий слой верхней испорченной тысячелетиями скалы. Между тем уже ко времени окончания откачки начался резкий отлив рабочей силы. Каждое утро обнаруживалась убыль рабочих на участках. Койки в бараках пустели. Каменоломов

нехватало. В котлован приходилось посылать людей, которые никогда каменоломным делом не занимались. Работа, им казалась несносной, трудной.

Лето достигло полного разгара. Везде по Украине начали созревать хлеба. Херсонские, мелитопольские, одесские, николаевские, подольские крестьяне смотрели на солнце, на выцветшее от жары небо, останавливали глаза на степных далях. Они знали, что пора косить сено, что налилась и просится под серп рожь, а за рожью белеет ячмень, за ячменём поспевает пшеница, а там, не успеешь оглянуться, созреет и овёс. Крестьяне брали расчёт и исчезали в мареве июньского зноя. Их пытались уговаривать, останавливать,— они уходили без расчёта. Крестьяне снимались, как журавли или дикие гуси, почувствовавшие, что наступило время перелёта. Котомки, сундучки, фанерные чемоданчики, весь нехитрый багаж собирался в несколько минут, и люди растекались целыми партиями — по двести, по триста человек сразу.

Текучести способствовала плохая организация некоторых столовых. На должности заведующих нередко попадали недобросовестные люди, думавшие главным образом о собственной выгоде и наживе. У хлебного дела они были сыты, одеты, обуты, всегда при деньгах, а на остальное им было наплевать. Качество обедов ухудшалось, посуда подавалась нечистой, подавальщицы грубили, дерзили, а приняв заказ, пропадали где-то в недрах кухни.

— Вот на Сталинградском тракторном, говорят, борщ дают, так это действительно борщ,— что надо,— громко начинал кто-нибудь. — Наваристый, жирный, густой,— ложка стоит!

— Да что ты?

— Ей-богу. Я сам на станции видел человека оттуда; в отпуск приехал.

— Без пищи дух падает. Понимают, значит?

— А как же! Это только у нас заводят порядочки. работай, как вол, ешь, как заяц. Лошадь овсом погоняют, а не кнутом.

— А на Урале, сказывают, нашли Магнит-гору, вся из железа, и возле неё какой-то необыкновенный Магнитострой начали,— рассказывал другой. — Гонят туда целые поезда мяса, масла, яблок.



— И рабочим дают?

— А то кому же!

— Слушай, браток...— сейчас же загорался кто-нибудь по соседству. — А не махнуть ли нам на эту самую Магнит-гору? На билет наскребём — и гайда!

Иногда среди каменоломов, плотников, бетонщиков разносился слух, что в Харькове или в Донбассе выше расценки, что там больше платят. Этот слух, как ветер, пролетал по баракам. Находились озорные, ни над чем не задумывавшиеся удальцы, которые сразу поднимались.

— Кулишь не каша, сто рублив не гроши. Поихалы, хлопцы!

И рабочие, совершенно неожиданно для инженеров, покидали строительство.

Комендантами бараков были иногда оголтелые крикуны, мнившие о себе нивесть что, чванливые, державшиеся с начальническим высокомерием. Оформление вновь прибывших рабочих длилось подвое, по-трое суток. Сплошь и рядом, плюнув на комендантов, новички разъезжались по домам, так и не начав работать.

Махоткина отравляли блуждавшие по баракам шопоты о земле, о хлебе, о колхозах. Один подолянин особенно не давал ему покоя.

— Пока мы тут спину гнём да мозоли трём,— ворчал он,— там, на селе, наше хозяйство в корень разорят... Домой надо!.. Домой, хлопцы! А то потом ничего не ухватишь.

— Не зуди! — раздражённо обрывал его Махоткин.— Что ты вьёшься осой над сердцем! Мне и без тебя тошно. Видишь, дело расстраивается...

— Значит, правда тебе не нравится?

— Какая правда, зуда ты крапивная? У тебя столько правды, как у козы хвоста.

А люди всё исчезали и исчезали. Администрация строительства не знала, какими средствами задержать, остановить разъезд. В рабочком приходили Гуржеев, Сухонин, Чепцов, Загоруйко. Ни одной конкретной меры никто предложить не мог. Гуржеев часто бывал в рабочих бараках и общежитиях, разговаривал с молодыми ребятами и степенными бородачами, убеждал, доказывал. Его слушали, соглашались с доводами, осуждали бегущих.

Что и говорить, Степан Андреевич! Несознательный народ. Бессовестные крикуны!..

Но через несколько дней Гуржеев не находил осуждавших ни на работе, ни в бараках. Увидев как-то парня, торопливо собиравшего сундучок, Гуржеев с обидой в голосе спросил:

— Неужели не жалко уходить?

— А чего жалеть?

— Это ведь Днепрострой, а не сарай какой-нибудь. Нам же люди всю жизнь завидовать потом будут, что мы такую махину строили.

Парень смутился.

— Ну и пусть завидуют!.. Я, может, только в другой барак хочу перейти, а вы, Степан Андреевич, уже не знай чего подумали...

— В какой же барак?

— А вон по-над берегом стоит.

Парень взвалил сундучок на плечи и пошёл медленными, неуверенными шагами. Гуржеев с волнением и тревогой смотрел ему вслед. Дойдя до подъездных путей, парень оглянулся. Он поддёрнул на спине сундучок, сдвинул на затылок кепку и направился именно к тому зданию, на которое указывал. Через день Гуржеев встретил его в котловане и обрадовался, точно внезапно увидел друга, которого считал погибшим.

Прокоп Зернов ходил к комсомольцам.

— Куда это годится, ребята? — говорил он им. — Теряем рабочие руки — что ни день, то больше. Везде течёт, как сквозь решето. А ведь будущее ваше, оно принадлежит вам, чорт вас побери! Давайте останавливать стариков...

Один раз поздно вечером в квартиру Гуржеева постучался Косачёв.

— Степан Андреевич, извините, что беспокою ночью, но отложить никак нельзя. Надо вам пойти по баракам. Прямо с завтрашнего же дня. Читайте доклады, лекции, ведите беседы о значении Днепростроя, о заводах, об орошении Поднепровья, о близком преображении этой земли. Кроме вас, с лекциями пойдут Сухонин, Тернава, Ченцов, Загоруйко. Надо, чтобы человек знал, что он делает и что его ждёт завтра. Увлечь, захватить,— вот что надо.

Почти каждый вечер на плотине созывались производственные



совещания. Вопросы ставились одни и те же: как усилить работу в среднем протоке, чем задержать людей? Было много пылких споров, взаимных упрёков, колкостей, обвинений. И всякий раз расходились с чувством досады и беспомощности. В начале июля Прокоп Зернов, состоявший постоянным председателем этих совещаний, резко заявил:

— Мы можем заседать сколько угодно — и ничего не высидим. Мы упёрлись лбом в стену. Давайте сами пойдём работать. Все как есть. Встанем — и за ломы, за кирки, за кувалды.

— Что значит — все как есть?

— А вот так, как сидим: члены рабочкома, инженеры, техники, десятники — все спустимся в котлован и возьмёмся за самую чёрную работу.

— Ложкой море черпать?

— За нами народ потянется.

— Кто потянется?

— Вот увидишь.

— Пока видим только одно: день и ночь люди тянутся на вокзал да в степь.

— Что же делать, по-твоему?

— Честно говорю: не знаю.

— Зачем же ты срываешь моё предложение? Зачем?

— Правильно, хлопцы! Надо пример показать! — сказал вдруг Микола Бойчук. — Возле сухого дерева и сырое горит. Ленин брёвна носил? Носил! За ним десятки тысяч пошли, сотни тысяч. Миллионы!

Косачёв от имени партийного комитета одобрил предложение Зернова. Зернов сразу повеселел.

— Бери, Бойчук, знамя! — распорядился он. — Бери самое большое, с пятикрылой звездой.

И кучка людей, насчитывающая не больше тридцати человек, с широко развёрнутым знаменем впереди спустилась в котлован.

По берегу проходили рабочие. Они заметили торжественную и необъяснимую на первый взгляд картину.

— Что такое? Почему знамя? И после смены... Гуржеев, Косачёв, Сухонин, Загоруйко, Прокоп Зернов...

— Смотри, смотри, камни таскают! Инженеры.

— Непонятно.

— А как работают!

Недоумение, явившееся в первый момент, сменилось чувством неловкости.

— Что за чертовщина!

— Идём, узнаем.

— Почему нас не позвали?

Поздно вечером к Зернову подошли Лукийка и Надя.

— Запиши нашу девичью бригаду на завтра. Кончим свою смену, тоже придём в котлован.

По лицу Прокопа струился пот.

— Приходите прямо без записи. Комсомолки — одна другой лучше — да ещё записываться! Приходите гуртом. Чем больше, тем лучше.

На следующий день группа добровольцев, желавших работать после смены, насчитывала уже около ста человек. Среди них, подобно цветам, ярко мелькали красные, белые, жёлтые косынки. Лукийка была в мужских сапогах, в мужских брюках. Серая брезентовая кепка придерживала её русые, коротко остриженные волосы. Было что-то покоряющее в этой смелой, мужественной девушке, готовой работать до последних сил.

— Да вы сдурели, девчата? Тут же сила нужна. Куда вас леший несёт? — напустился на девчат Лысогор.

— Хуже вас работать не будем.

— Вы же кишки сорвёте себе на этих камнях!

— Ничего не сорвём. А хлопцам, у которых лень зацарювала в мозгах, нос утрём,— это верно. Может, всё-таки стыдно будет от нас отставать?

— Вот бисова дивка! — пробормотал Лысогор. — Хоть стреляй в неё,— до чего упряма.

Бригада Лукийки сначала неумело, но очень старательно принялась за работу. Вслед за ней спустилась в котлован и бригада Зины Богдашовой, которая давно уже отделилась от Лукийки.

— Ну, свет перевернулся до горы ногами! — зло отплёвываясь, ворчали каменоломы. — Чего вы лезете поперёд батька в пекло! Чего?..

Зина хмуро присматривалась к работе старых каменоломов. По неосторожности она зашибла кисть левой руки. Зашибленное место припухло, стало багрово-синим. Рука досадно болела. Было страшно отстать от других. Лысогор и Тарифов показывали девушкам, как надо бить ломом, как пользоваться стальными клиньями, как



ударять молотом. Высокая смуглая Надя Ракитная была сильна и проворна. Пот струился у неё по лицу, волосы выбивались из-под выцветшей бордовой косынки, белки глаз от натуги порозовели. Она ни в чём не отставала от Лукийки, а некоторые работы благодаря своей силе делала даже с чисто мужской сноровкой.

— Ох, и дивка,— як тополя!.. — восхищённо воскликнул Семён Волошко, проходя мимо с пустыми носилками.

— Сознался? — с торжеством крикнула Лукийка.

— Всегда сознавался.

— Вот сделай столько, сколько она, тогда будем слушать.

Одному вялому, нерасторопному парню, который попробовал заигрывать с Надей, она, пожав круглым почерневшим от загара плечом, насмешливо сказала:

— Який з тебя толк? Ни з губы мовы, ни з носу витру!

Каменоломы долго смеялись над мешковатым парнем.

— Убила! Прямо на обе лопатки бросила! Ты знаешь, Юхим, сколько ты должен теперь вырабатывать, чтобы тебя люди уважали?

Весёлый нрав Лукийки держал в приподнятом настроении всю её бригаду. Девушки зажигались радостным азартом. Котлован как бы представлял для них луг для шумной, увлекательной игры. Они грузили куски сколотого гранита в железные короба. Под ударами камней железо гудело. Короб висел на стреле электрического деррика. Стрела поднимала его высоко вверх, в небо, и круговым поворотом уносила к перемычке. Ажурные стальные мачты, установленные на бутовых пилонах, высились по всему котловану. Байтовые оттяжки делали их похожими на мачты кораблей, тесно сгрудившихся в гавани.

Так шло до сумерек, до синей темноты. А когда запирались над Днепром звёзды, ломы, кувалды, кирки и лопаты складывались в огромные деревянные лари, и народ выбирался из котлована. По тропинкам звенел смех, занимались песни. Каждый день к концу работ рубашка Ивася взмокала от пота. Но он шёл вместе с другими с растроганным, лёгким, как будто поющим в груди сердцем.

## XVIII

Народу на выемку скалы из среднего протока выходило всё больше и больше. Плотники, механики, слесари, рабочие центральных механических мастерских и лесозавода, служащие главного управления и инженеры,— все после смены направлялись *в* развер-стый среди Днепра котлован. Добровольцы шли колоннами с красным знаменем в руках, с песнями, с музыкой. Они оставляли знамя возле будки рабочкома, укрепляли его на специально поставленной деревянной мачте, а сами потоками спускались вниз. Будка рабочкома помещалась над котлованом, на перемычке. Широкое красное полотнище гудело и хлопало на ветру, придавая плотине ещё более необыкновенный и волнующий вид. Вечером, кончив работу, добровольцы поднимались на перемычку, брали знамя и возвращались в посёлки. Снова гремели песни, будто в темноте бесконечно двигалась из лагерей молодая загорелая армия.

Походы в котлован производили огромное впечатление. Дружба, молодость, благожелательная внимательность друг к другу объединяли в эти часы людей. Число добровольцев с каждым вечером росло. Комсомольцы приходили всей своей организацией, у них никто не пропускал ни одного дня. Песни, шутки, весёлые выкрики придавали вечерним работам характер трудового народного праздника.

Бывали случаи, когда в каком-нибудь месте не успевали выбрать взорванную скалу и выровнять путь для машин. Груды камней и гранитные ямы задерживали продвижение экскаваторов и подъёмных паровозных кранов. Рабочком сейчас же включал сирену. Гудок тревоги взлетал над строительством. С разных сторон прибегали люди. На деревянном маленьком мостике, висевшем над котлованом вроде крылечка скворечни, появлялся Косачей или Гуржеев. Они коротко объявляли, почему дана тревога и что надо немедленно сделать.

— Давайте, показывайте! — кричали им.

— Куда итти? Каким ходом?

— Инструмент где? — требовали прибежавшие у десятников.

Десятники едва успевали распределять людей по участкам.



Желание принять участие в дружной сверхсменной работе приобрело неожиданные размеры. Скоро в средний проток стали приходить тысячи днепростроевцев. Только что затихал колокол отбоя, возвещавший окончание взрывов, как в котлован бросались комсомольцы. Костя Макаренко, Пересада, Магомет Тарифов были тут главными заправилами. Важно было так расставить силы, чтобы не толкаться, не мешать друг другу. Механизмы густо усеивали сравнительно небольшое пространство: деррики строем стояли у верховой перемычки, паровозные краны непрерывно ходили по рельсам у низовой.

Из Харькова, из Киева, из Минска, из Ростова, из Москвы и из Ленинграда приезжали на Днепрострой экскурсии с разных фабрик и заводов. Рабочие с паломническим нетерпением стремились увидеть своими глазами первую грандиозную социалистическую стройку. Они прежде всего являлись в партийный комитет. Иные экскурсии были многочисленны, достигали двухсот и трёхсот человек. Их кормили в столовой обедом и вели в средний проток.

— Не обессудьте, товарищи, но у нас такой обычай,— говорил Косачёв,— сначала просим гостей немного поработать.

Экскурсанты спускались в котлован и начинали таскать, выворачивать, разбивать камни, грузить железные лотки и кузова. Движение невиданных двадцатиметровых стальных стрел, крики, свисты, гудки, грохот, лязг, звяк, гул, урчанье и чохканье машин,— всё это изумляло и восхищало приезжих. Отработав часов шесть на полную совесть, они отправлялись осматривать другие участки. А вечером долго не могли уснуть, оглушённые огромным днём, проведённым на Днепре.

— Хоть пустяк, а всё-таки и нашими руками кое-что для плотины сделано,— говорили они друг другу.

— Днепростроевские мозоли на память повезём домой.

— Мозоли! Сердце другое повезём. Своим трудом, дыханием, потом приняли Днепрострой. Теперь он наш, наш.

Однажды после обеда Ивась увидел на правом берегу вереницу крестьянских подвод. Они ехали к плотине, как по наряду. Старые разъезженные возы, звеня высокими, туго окованными колёсами, остановились на склоне горба,

спускавшегося от главного управления к реке. С возов соскочили колхозники. Они распрягли коней, подвязали к конским мордам торбы с травой и пошли на перемычку. — Дайте нам дело, хлопцы,-— попросили они у первых встретившихся рабочих. — Кто тут главный над вами? Днипро стародавний наш батько. Хай знает, что мы его не забыли.

Колхозники работали, пока не наступили сумерки. А когда степь затянуло синью и в этой сини янтарно-тмяным сделался месяц в небе, уехали в накалённую мглу ночи, как чумаки. Потом никто даже не мог сказать, из какого села они приезжали.

## XIX

Судовой мастер Микола Бойчук возвращался домой поздно вечером. Он похудел, стал суше, темней, но легче в движениях и как будто даже моложе. Смутные, беспокойные чувства переполняли его. Они напоминали давнюю пору влюблённости, невозвратно ушедшие годы.

Бойчук умывался, наскоро ужинал и доставал из сундучка тонкую школьную тетрадь в синей обложке. Жена и Лукийка ложились спать. За окном чернела жаркая ночь. В углу между стеной и плинтусом стеклянным струящимся голосом журчал сверчок. С карандашом в руке Бойчук долго сидел над линованной в клетку страницей, ерошил густые седые усы, тёр пальцами лоб, затихал, подносил карандаш к губам. Видения минувшего дня проносились перед ним спутанной вереницей лиц. Большие волнующие чувства клубились в нём. Бойчук пытался выразить их торжественными, необычными словами, в таком счастливом подборе, чтобы страницы засияли и затрепетали. Всё, что видели глаза, что слышали уши, что пережило сердце хотелось вложить в глубокие, тёплые, крылатые строки стихов. Бойчук писал до глубокой ночи, зачёркивал, думал и снова писал. Но стихов не получалось, удивительные слова не являлись, а те, что выводил карандаш, не имели крыльев, в них не было ни певучей лёгкости, ни силы,— они загромождали строки тяжёлыми, глухими глыбами. Между внутренним видением и написанным не было ничего сходного. Бойчук опускал голову на руку и долго сидел



неподвижно. Мучительное недоумение, обида на самого себя, на свою беспомощность терзали его.

За окном начинали кричать петухи, небо зеленело, синело, приближалось утро нового огромного дня. Бойчук поворачивал выключатель,— надо было скорее ложиться спать, чтобы не опоздать на работу.

Но на следующий вечер, вернувшись с Днепра, он снова нетерпеливо ждал, когда дочь и жена улягутся спать, и снова с надеждой брался за синюю тетрадку. Стихи упрямо не давались. Они не имели складности, душевности, той таинственной проникновенности, какая должна была волновать, покорять не только его самого, но и других людей. Тяжёлые, угловатые рифмы казались неверными, пустыми. И опять мрак охватывал Бойчука.

Однажды в отчаянии он написал:

«Измучила, меня несбыточная моя мечта. Мал я перед жизнью, слаб, бессилен. В душе всё торжественно и высоко, тысячи голосов поют и светят, бывают минуты, когда делается легко, как птице, всё во мне замирает от удивления, а написать про это нет сил: не подберу слов. Вот мы заложили на пристани большой катер для перевозки рабочих с берега на берег, человек на сто, не меньше. Визжат фуганки, шипят пилы, вылетают, вывиваются, как ленты, стружки, катер растёт с каждым днём, белый, душистый, смолевой,— корабль на синей реке. Корма, нос, борта, палуба, машинное отделение,— всему я знаю форму и меру, мастерская сила встаёт во мне каждое утро. Я сделаю такое судно, какого не видала река, у меня сердце выпирает из груди, как подумаю о нём.

Вчера к нам на стапель пришёл Ивась Баганча. Горячий, нетерпеливый человек, у которого всё кипит в руках, он. будто перед дивом, час целый стоял перед нашей работой. «Ты волшебник, Бойчук,— сказал он наконец.— До чего чисто, хорошо одевается досками катер. Ведь это живой корабль тут у тебя на стапеле! Честное слово, живой!..»

Бойчук сжал пальцами карандаш, прищурился. И внезапно пожалел, что нет сына! «Эх, не родил, промахнулся! Вот бы кому дело это показать».

За окном уже синело утро. Он щёлкнул выключателем и сунулся на койку. Перед глазами из зыбкой мглы появился белый дощатый катер. Катер стал увеличиваться,

шириться, расти, откуда-то взялись на нём мачты, реи, ванты.

С этого вечера Бойчук уже не искал стихов, он просто стал записывать события каждого дня, то, что совершалось на строительстве, о чём говорили на берегах, на перемычках, в котловане.

И произошло чудо. Когда недели через три Бойчук случайно прочитал первые свои страницы, изумление и сладостный испуг охватили его: в неровных, торопливых строчках он вдруг почувствовал движение настоящей жизни, смутный отзвук того, что его восторгало, мучило или поднимало в шумном кипении труда. И Бойчук ещё старательней, ещё настойчивей стал погружаться в ночные записи, как в мир, который ему хотелось навсегда удержать около своего сердца.

## XX

Лето было жаркое, дули сухие, горячие ветры. В глубоком, ограждённом с четырёх сторон котловане стояла томительная духота. Камни раскалялись, белый песок жёг, слепил глаза. Гранитное дно источало жар, как огромная огнедышащая печь. Голые до пояса, загорелые, потные люди в одних брезентовых фартуках, подобно коричневым муравьям, сновали по обнажённому днепровскому ложу.

После четырёх часов дня среди множества новых каменоломов начинали работать инженеры. Торопливыми шагами спускался в котлован Тихменёв и брался за носилки в паре с Сухониным. Оба гигантского роста, они перетаскивали под немилосердным солнцем к дерриковым кузовам камни, выполняя это с такой старательностью и добросовестностью, что вызывали почтительное удивление среди рабочих.

Гаррисон *с* биноклем в руках стоял на верховой перемычке и, глядя вниз, раздражённо говорил Эймеру:

— Боже мой, что это за люди! Главного инженера заставляют гнуться над носилками, как самого последнего чернорабочего. Зачем? Разве его физическая сила поможет? Непостижимо, непостижимо!

Однажды Сухонина после четырёх часов вызвали на правый берег в центральные механические мастерские, и Тихменёв грузил камни в паре с бурильщиком Петренко.



Петренко был горд и счастлив от этого, как от необыкновенной удачи.

— Вот человек! — рассказывал он потом в своей бригаде. — Профессор, учёный, может, тысячи книг в уме держит, а совсем простой, душевный в работе, как друг. С ним об чем хочешь поговорить можно. По лицу пот течёт,— поди-ка с непривычки поворочай! — а он шутит, смеётся, будто мы с ним всё время напарниками идём. Вечером пошабашили,— ну, прямо расставаться с человеком жалко. Кажется, так бы на руках и вынес его из котлована! Он мне теперь вроде побратима сделался, я его совсем за своего считаю, будто он в отцовой семье вместе со мной жил.

Совместный напряжённый труд сближал рабочих и инженеров, ставил их в условия |родственности, общности судьбы. Вся жизнь в стране поворачивала в тот год на путь великих планов, которые объединяли, воодушевляли и звали вперёд. Газеты каждый день приносили известия о начале невиданных и неслыханных строек. Об этом гремело из чёрных рупоров радио, о новостройках пелись песни, звенели стихи поэтов, сияли стремительными картинами экраны кино. На Урале, в Западной Сибири, на Украине, у Азовского, Каспийского и Чёрного морей, в Кавказских горах, на дальнем севере, на юго-востоке, в Таджикистане, Узбекистане, Казахстане,— во всех краях строились индустриальные гиганты, могучие крепости культуры и государственной мощи. В степях, в лесах, на берегах буйных горных рек, за полярным кругом, в пустынных просторах среднеазиатских песков, в тайге, в печорских и онежских дебрях, на сопках Дальнего Востока открывались залежи руд, угля, редких минералов, драгоценных самоцветов, нащупывались новые подземные бассейны нефти, закладывались рудники, шахты, бурились скважины, добывалось золото, открывались молибденовые, вольфрамовые, платиновые, медные месторождения. Самолёты производили топографические съёмки необъятных, нехоженых и неезженых пространств, росли заводы, целые комбинаты заводов, создавались электрические станции, прокладывались железнодорожные магистрали, возникали новые города.

Всё это заставляло задумываться. Каждый невольно проверял себя, свою работу, поступки, планы, стремления:

правильно ли он решил свою судьбу, верно ли идёт по жизни. Работа тысяч людей в среднем протоке была выражением взволнованных человеческих чувств, порывом честности, трудолюбия, готовности отдать себя делу будущего. И именно в эти горячие, переполненные трудом дни совершилась революция в сердцах большинства днепростроевцев.

Отлив рабочих прекратился.

В средний проток каждый вечер стекалось отовсюду уже до пятнадцати тысяч человек. Из Запорожья приходили колонны заводских рабочих, отряды красноармейцев, учителя городских школ, домашние хозяйки. Играли духовые оркестры, весёлым гулом рассыпались по степи барабаны, будто там от села к селу шла свадьба и парубки, гуляя, били в бубны. Народу стало так много, что котлован не в состоянии был вместить всех приходящих,— понадобилось установить очередь в работе.

Однажды на окраине котлована произошёл дикий случай. Немецкий инженер Драхенфельс вздумал подшучивать над рабочими. Уверенный в неотразимости своего остроумия, он начал приставать к татарам с оскорбительными для их верований намёками. Татары с минуту в недоумении смотрели на него, затем Сафи Хакимов плюнул на камни и отвернулся.

— Муххамет швами кушаль? — с ехидной вкрадчивостью спросил Драхенфельс.

— Ай-яй-яй!..— покачал головой Мухтаров. — Нехорошо, немец! Шибко нехорошо! Наш люди такой слово не скажет.

Драхенфельс расхохотался. В него вселился бес озорства. Чувство превосходства над рабочими и самоуверенность заслонили перед ним весь мир. Он подхватил правую полу своего расстёгнутого пиджака и, выставив из кулака синий кончик, точно свиное ухо, потряс им.

Мухтаров побледнел.

— Брось! — крикнул он гневно. — Брось, собака!..

— Татар, татар, вас ист дас?— потрясал Доахенфельс воображаемым свиным ухом.

Мухтаров угрожающе поднял лом.

— Татар, татар, вас ист дас? — не унимался Драхейфельс, гуттаперчево отступая и не переставая смеяться.



Мухтаров кинулся на него, как на зверя, и Драхенфельс вдруг понял, что за свою непристойную выходку он может поплатиться жизнью. Он с юркой прытью побежал вон из котлована. Впереди были каменные насыпи. Драхенфельс с необычайным проворством взбирался на них. На крутом месте ему пришлось карабкаться на четвереньках. Глаза его по-рачьи вытаращились, словно готовы были выскочить на лоб. Мухтаров в мстительном ожесточении гнался за ним по пятам, и казалось, вот-вот ударит со всего маху.

— Да плюнь ты на него, поганца!— раздались голоса.

— Стой, Мухтаров! Стой!..

— Не тронь гада. Потом беды не оберёшься. Драхенфельс добежал до ряжевой стены и, как по лестнице, начал подниматься по клеткам, безобразно виляя толстым задом.

Мухтаров остановился. Он в бешенстве грозил ломом в сторону немца и долго не мог успокоиться.

Всю эту картину видел Гуржеев.

— Зачем мы их держим, Никита Матвеевич?— пылко сказал он Косачёву. — Пользы никакой, а вреда того и жди!

— Вижу, вижу...— согласился Косачёв.— Они мне давно поперёк сердца стоят. Двойного действия люди!..

В тот же вечер Буров вызвал Руммеля к себе в кабинет.

— Вам известно о сегодняшней выходке Драхенфельса?— спросил он строго.

Руммель заискивающе улыбнулся.

— О, это была шутка! Не совсем умная, но, уверяю вас, невинная шутка.

— Невинная?.. Я вынужден буду просить правительство сделать об этой «невинной шутке» надлежащее представление германскому послу.

— Помилуйте, герр Буров!.. Зачем создавать неприятную историю из-за пустяка?

Вы настаиваете, что выходка Драхенфельса пустяк?

— Но как же иначе? Прошу вас... Ведь это вызовет последствия.

— Моё решение твёрдо. До свидания.

В тот день многое вспомнилось не только Гуржееву и Косачёву, но и Бурову, и Тихменёву, и Загоруйко:

и сложный, на долгие годы рассчитанный метод строительства, настойчиво предлагавшийся немецкой консультацией, и постоянные конфликты Руммеля с американцами, и мягкие, быстро перетирающиеся дробилки, и лопающиеся по неизвестным причинам стальные валы, и медлительные бурильные станки Вирта. Всё, что накапливалось в течение долгого времени, как недовольство и смутная, не имеющая ясного «азвания тревога, всплыло из недр сознания на поверхность и требовало выхода. Буров написал доклад. К докладу присоединил свою подпись Косачёв. Ночью Буров вызвал Загоруйко и, подавая ему пакет за пятью сургучными печатями, сказал:

— Это письмо надо вручить лично товарищу Орджоникидзе. Никому иному, только ему. Садитесь в мою машину и поезжайте на вокзал. Ровно через час пройдёт на Москву севастопольский поезд. Вы как раз успеете. Билет вам уже заказан.

Через три дня по телеграмме из посольства немецкая консультация в полном составе была вытребована в Москву и на строительство больше не вернулась.

## XXI

Бурильщики оглушали. Тициан Хачапуридзе, серый от гранитной пыли, упорно бурил дно трескучим, пронзительно визжащим перфоратором. Иногда мимо проходила Райка Богуславка. Огонь её ярких чёрных глаз, едва коснувшись его, скользил вниз, вбок, в самую гущу снующих взад и вперёд носилок. Хачапуридзе боялся даже взглянуть в её сторону.

Высокий Петренко, худой, жилистый, сильный, едва кончив одну скважину, тотчас же, без передышки, принимался за другую. Он даже курил торопливо,— жадными, быстрыми глотками,— хватая плоскую самокрутку, как целительное лекарство.

В конце июля к нему неожиданно приехала жена Меланка.

— Кинь ты цю чортову работу. Оглохнешь! — стала она упрашивать в первый же день, затыкая уши от нестерпимого грохота.

— Кончим,— кину.

— Колы ж це буде, чоловиче?



— Дай срок, буде.

— Покинь, кажу, поки вуха чують.

— Не дури мени голову, Меланко! Разумиешь? Становись краще з дивчатами поручь.

Меланка заплакала от досады мелкими, скупыми слезами.

— Пойду я до дому. Пойду. А ты... а ты загниёшь, пропадёшь от страшенного цього ревища.

— Ну и поезжай. Поезжай, если в голове у тебя свистит. Подумаешь, краля какая, перфоратор ей не по ушам пришёлся!..

Но Меланка не уехала. Расстроенная, она ходила несколько дней по строительству, ища успокоения, а потом внезапно затихла и стала присматриваться. Присмотревшись, она упросила Зину Богдашову принять её в свою бригаду.

Тициан Хачапуридзе одобрительно похлопал хмурого товарища по плечу:

— Хороший у тебя баба, Петренко! Настоящий человек!.. Наша грузинка тоже так сделал бы.

Птициан Кавказец был одним из лучших мастеров бурильного дела. Смелость и находчивость отличали его. Он до тонкости знал устройство перфоратора, с удивительной верностью по одному лишь звуку угадывал, почему тот или иной из них плохо работает. За эту способность постигать душу механизмов бурильщики относились к Птициану, как к особенному, редкостному человеку.

— Даром, что молодой, а поди, потягайся с ним! — говорили они.

— Молод молот, да бьёт хорошо!

— У него глаз умный. Глазом берёт.

— Талан такой. От талану и глаз.

— Птица, друг! Посмотри мою машину,— часто просили комсомольцы. — Чем её лечить, скажи, пожалуйста. Заедает и заедает где-то внутри, пропади она пропадом!

И Птициан, как опытный доктор, давал советы, которые помогали.

На строительстве было много скромных, незаметных людей с большим, ярким прошлым. Один раз Ивась услышал разговор, который волновал его потом несколько дней.

После дневного зноя в бараке стояла неимоверная духота.

— А ну, хлопцы, переезжай на курорт! — предложил кто-то решительным голосом.

— Верно! Ставь лагерь под окнами,— отозвался Витька Савичев.— Вообразим, будто мы в Кавказских горах.

Койки быстро вынесли на воздух.

— Вот он, рай! Дыши, братва!..

С востока тянуло лёгким, едва ощутимым, ветром. После дневной жары ветер казался прохладным и душистым. Над рекой шёл высокий полный месяц. Ивась лёг на соломенный тюфяк, укрыл простынёй ноги и слушал обрывки разговоров. На скамейке у барака сидели незнакомые рабочие, пришедшие не то к Семёну Волошко, не то к Махоткину. В лунной тени, падавшей от крыши, разобрать их лиц было нельзя,— проступали только красные точки цыгарок и трубок. Переплетались шутливые негромкие голоса:

— Эх ты, Золотоноша кругом хороша!..

— А ваши Лубны пустяками полны: кругом вода, а в середине лебеда.

— Ты, Грицку, голый як бубен, а гострый як шило!

Голоса барахтались, лениво боролись, точно медвежата.

Месяц медленно поднимался в небе. По Днепру сверкал широкий пламень золота. Он был похож на воздушный мост в чудесное будущее. Отовсюду звенели непрерывно сыплющимися стёклышками сверчки. Кто-то вспомнил про центральную раду, про гетмана Скоропадского:

— Вот ещё кукла была!

— Кум приблудный з бисова болота.

— Полез на наше пиво.

— Ну, дали ему! Очуманел, як баба с самогону. Потом пошли рассказы про войну с поляками, про страшный двадцатый год. И вдруг неожиданный голос тепло сказал:

— Вот тогда я Сталина видел! Сам, своими глазами.

— Далеко?

— Прямо рукой подать от меня прошёл. Вот как до того кленочка будет.

Ивась приподнял голову: молодой клён стоял под месяцем шагах в восьми от скамейки.

Человек помолчал, точно всматривался в картину прошлого, и заговорил снова:

— Как наяву, и сейчас идёт передо мной. Было это



вечером. Наш эскадрон стоял на краю леса. Хлопцы всё больше молодые, горячие, отчаянные — орлы, а не конники. Мне тогда едва девятнадцать исполнилось. Развели костёр, сидим на траве, песни вспоминаем. Только начали «Ой, у поли витер вие...» И вдруг вижу, идёт он, член Реввоенсовета республики, как на карточке — молодой, сильный, загорелый. Во рту трубка,— совсем свой. Походка лёгкая, решительная, строгая. У меня сразу сердце взлетело: «Вот это командарм! За таким хоть куда». Хлопцы моментально петь перестали. «Пойте, пойте»,— Сталин сказал. Даже остановился послушать. Мы опять подхватили, подняли на верха,— ведь это же замечательная песня — «Ой, у поли витер вие! А жито половие...» Какие голоса были! Душа летит, сам весь летишь от песни, никакая смерть не страшна. Сталин был тогда во главе красных армий, его Ленин послал Украину от панов защищать. Весь фронт от его ума зависел. Сталин постоял, послушал — и дальше к штабу пошёл. Мне в память врезались и сумерки те, и сизые облака над лесом, и красные угли в костре, и как он нашу песню слушал. Тут же нас вперёд двинули, прямо в ночь. А через день утром, чуть свет, только-только темнота редеть стала, как ударим мы всей конной армией, как дадим панам! Вот рубка была! Шашки по рукоять кровью обливались, тысяч восемь положили мы тогда панских молодчиков. Прорвали, опрокинули к чорту-лещему весь фронт, смешали, спутали всю пилсудскую музыку. Подумаешь иной раз: неужели не сто лет назад это было, неужели только десять? А как услышу где-нибудь: «Ой, у поли витер вие!»-— .опять сердце вспыхнет, прямо огнём оплеснётся, опять будто подо мною конь, опять в руке шашка!..

Рабочий в тени на скамейке кончил рассказывать, а Ивась представил леса, бои, стук пулемётов, блеск стальных отточенных сабель и необыкновенного человека, спасшего тогда Украину, сумевшего организовать победу. А потом, как всегда, пошли мысли о будущем, о своей судьбе, прошлое смешалось с настоящим, ощущение стремительного, зовущего вперёд движения подхватило сердце. Река, доски, брусья, брёвна,— всё поплыло, закрутилось в мглистом, переливающемся мерцании...

## XXII

В кабинете Бурова ярко горела бронзовая люстра с семью круглыми белыми шарами. Высокое ровное сияние заливало большой стол, покрытый сукном жаркого пурпурного цвета. Буров, подавшись вперёд и опершись левой рукой на подлокотник кресла, курил папиросу за папиросой, внимательно слушая. За столом сидели Тихменёв, Купер, Гуржеев, Сухонин и геолог Свечин, старый московский профессор, которого вызвали со степи, из района верхних порогов. Тут же около Купера, несколько боком к столу, лицом к Куперу, поместился переводчик. За раскрытыми окнами стояла голубая месячная ночь.

— Я хотел бы знать, мистер Свечин,— сказал Купер, отодвигая веснущатой рукой листик бумаги с карандашными пометками,— последние результаты ваших изысканий. Берега Днепра на протяжении всего района будущего затопления,— вот что важно сейчас для нас. Из ваших прежних докладов мы знаем: ложе реки— гранит. Но что вширь от него, что дальше в степь, направо и налево? Если мягкий грунт, надо строить бетонные дамбы, чтобы обуздать воду, чтобы вода не обманула нас. Я приведу вам поучительный случай. Лет тридцать тому назад группа молодых инженеров построила на одной реке в Америке плотину. Плотина получилась отличная, но река нырнула в землю, вбок, переменила русло и километров за пять обошла плотину. Картина получилась нелепая. Река одурачила инженеров. Я не хочу, чтобы в таком положении оказались мы.

Свечин улыбнулся.

— Нет, в этом отношении мы можем быть спокойны.

Точно готовясь взлететь, он лёгким движением поправил золотые очки. В его серых глазах блеснули горделивые искорки.

— Днепр идёт по гранитному крылу Карпат,— сказал он с живостью,— по крылу, которое покоится под нами не только здесь, но и выше, вплоть до Киева, и дальше на восток, почти до Дона. Ширина крыла сказочна, шаг за шагом поднимаюсь вверх, исследую бурильными станками берега, прибрежные долины, устья степных речек, ручьёв и особенно балки, прорезанные половодьями в течение тысячелетий. Балки могли бы таить в своих недрах самые каверзные неожиданности. Но всюду, неизменно,



под верхним слоем земли — гранит. Гранит классической твёрдости и красоты,— прямо хоть дворцы строй. Вот прошу вас.

Свечин быстро встал и подошёл к огромной карте, изображавшей Днепр со всеми притоками от Кременчуга до Чёрного моря. Он подробно стал рассказывать, где и на какую ширину от реки уже выяснена «подстилка», какие трудности встретились на пути, как он их преодолел, насколько бесспорна и надёжна сейчас картина глубинного Поднепровья. Это была яркая по своей обстоятельности речь человека, влюблённого в свою науку, захваченного интересом дела, увлечённого стоящей перед ним задачей. Он говорил так просто, с такой взволнованной теплотой, с такими занимательными подробностями, что даже Купер не сводил своего взгляда с карты, по которой мелькала тоненькая указка Свечина.

Перед инженерами почти ощутимо вставали на необозримую ширь мощные гнейсовые породы, с которых Днепр никуда не мог свернуть.

Тихменёв, Буров, Гуржеев задавали вопросы,— и после каждого ответа ещё верней и ценнее казалась проделанная геологической партией работа.

— Олл райт! — горячо воскликнул Купер, выслушав доклад, и пожал Свечину руку. — Благодарю вас, профессор, за ваш рассказ. Он доставил мне, как практику и дельцу, настоящее удовольствие. Ваш труд достоин преклонения. Чем больше я узнаю русских учёных и инженеров, тем глубже становятся мои симпатии к вашей стране. Скорее кончайте ваши изыскания.

Свечин ночевал у Гуржеева. Месяц высоко светил в чистом небе, каменные тротуары были ещё горячи от дневного зноя, в сквере и в садах около домов, как тонкие сыплющиеся с высоты золотые лепестки, звенели сверчки. На белой скатерти в столовой Гуржеева стоял ужин: холодная телятина, сыр, масло, нарезанный тонкими ломтиками хлеб, бурлил горячий самовар, и пахло чаем.

— Боже мой! Белоснежная скатерть, кипящий самовар!..— обрадовано воскликнул Свечин.— Я в степи от этого уже отвык. Мы варим кулош, жарим картошку, яичницу, едим сало,— словом, живём, как запорожцы.

— Хорошо!

— А какие песни поют по ночам мои ребята!..

— Песни у нас, наверно, лучше. Тут же тысячи певцов.

— Со мной работают комсомольцы. Если б вы знали, Степан Андреевич, какой это чудесный народ, сколько твёрдой честности в них, как неутомимо они выполняют то, что я им поручаю, как они заботливы и внимательны ко мне! У меня был сын Борис, тоже геолог. Он погиб в тяньшаньской экспедиции, сорвался со скалы в стремнину и размозжил себе голову. Потеря сына подействовала на меня ужасно. Что ни говорите, а инстинкт продолжения рода — один из сильнейших инстинктов. Я был стар, жена моя давно умерла,— чувство одиночества охватило меня с такой силой, будто я потерял землю и попал в чёрную тучу. Конечно, работа спасает, это мы знаем. Ещё старик Толстой сказал: «Лучшее средство от горя — труд». Но настоящее спасение от душевных страданий дали мне мои комсомольцы, живые, полные горячих стремлений люди. Представьте, дорогой мой!.. Они так бережно и почтительно относятся к моим нуждам, что будят во мне лучшие отцовские чувства. Да, да! Именно отцовские. Мир для меня не пуст, со мной юноши, которые с любовью будут продолжать мой труд, мою жизнь... Вот сейчас я сижу с вами, а в сердце уже тоненькая струйка тревоги: «А как там мои ребята без меня?..» Это великолепнейшее чувство, доложу я вам!

Они долго говорили, сидя на диване. Гуржеев погасил свет. Сияние месяца косыми голубыми полосами падало сквозь балконную дверь на крашеный пол, на скатерть, на остролистую пальму в тяжёлой кадке. Ночь стояла за стенами дома, как волшебство. От месяца по Днепру блестела, переливаясь, широкая золотая дорога. Жидкое золото этой дороги как будто уводило манящим зовом в какие-то чудесные дали. Всё заставляло думать о будущем, о близких необыкновенных успехах, о труде, о счастьи, которое вот-вот обожжёт, озарит сердце...



## XXIII

И, наконец, средний проток был очищен, глубоко ушедшее в сизые недра гранита основание для плотины готово,— оставалось начать бетонировку.

Партийный комитет устроил по этому случаю большой праздник. На этом празднике лучшим ударникам выдавали специальные грамоты, отмечавшие их заслуги.

Златоустовский бородач Кондратов, горячий работник, всё ещё чувствовавший себя чапаевцем, поднялся на трибуну.

— Я привезу эту грамоту домой,— сказал он,— в нашу лесную деревню, на Урал, вставлю в рамку под стекло и повешу в избе на стену. Я накажу детям своим хранить её даже после моей смерти, чтобы они помнили и внукам-правнукам передавали, что я Днепрострой своими руками строил и что была мне за это честь оказана,— потому как строил я от желан-сердца.

Победа в среднем протоке оказалась не только технической, но и психологической. Она придавала идее встречного плана стремительную энергию боевого наступления. Косачёв, Воронков, Зернов, Ченцов, Загоруйко, Тернава,— все они пришли к твёрдой уверенности, что до конца строительного сезона уложить пятьсот тысяч кубометров можно.

Но было много и сомневающихся: не только некоторые инженеры, не только управление, не только американская консультация,— находились и коммунисты, которые хмуро покачивали головами и считали план ненужным бахвальством.

— Да вы что, ребята?— накидывался на таких Косачёв.— Забыли гражданскую войну? Не помните, как шептали тогда со всех сторон, что с Деникиным и с Колчаком нам не справиться? Где они, Колчак и Деникин? Где?.. А теперь вам плана страшно? Давай, крой, возражай, я отвечу! Выкладывай открыто, чего боишься?..

Но большинство стояло за план. О нём говорили с азартом и увлечением, с готовностью к самому упорному труду и лишениям. Пятьсот тысяч кубометров,— эти три слова гвоздём засели у каждого в мозгу. Цифра становилась лозунгом, выражением смелости, трудового усердия, нового, небывалого раньше уменья. Вопрос о встречном

плане был поставлен на широкое обсуждение. В треугольниках, в ячейках, в клубах, в красных уголках,— всюду решали одну и ту же задачу. Наконец было созвано общее собрание рабочих.

От бетонщиков встал Костя Макаренко.

— Время терять на речи некогда,— заявил он.

Скажу прямо, товарищи. Каждый из нас вполне может уложить в смену не меньше двенадцати кубометров бетона, если кран будет без задержки подавать бадьи. А двенадцать кубометров на брата,— это значит пятьсот тысяч до холодов обеспечены. Краны поднять надо,— вот что!

Крановые машинисты переглянулись... — Разве в нас причина?— запальчиво начал Витька Савичев.

— Пусть паровозы во-время доставляют бетон,— перебил его Семён Волошко,— мы дадим по сто двадцать подъёмов! Краны не подкачают.

Паровозные машинисты уверенно загудели:

— Мы можем подвезти по сто бадей в смену.

— А по сто двадцать?

— И по сто двадцать, если их выдадут бетонные заводы.

— Дадим по две тысячи кубометров с каждого берега, только топчи!— сказали мастера, изготовлявшие бетон. — Но условие: пусть камнедробильные заводы со щебёнкой не сядут.

— Как это сядут? Седунов нашёл!.. — обиделся Загоруйко. — По две тысячи кубометров? Пожалуйста! Обещаем. Если экскаваторы скалу дадут, не задержим.

Экскаваторные машинисты, на которых устремились глаза всего собрания, сказали:

— На бога не берите. Выработаем не меньше семидесяти пяти думпкаров. Восемь тысяч кубометров камня в день считайте как у себя на складе.

Когда на следующий день Косачёв, встретившись на перемычке с начальником строительства, изложил ему суть рабочих разговоров, Буров вскипел:

— Уложить пятьсот тысяч кубометров до зимы нельзя! Нельзя, я вам говорю. Это не игрушки!

— Почему же нельзя?

Буров сдвинул широкие львиные брови и, круто, рывками загибая пальцы, как на счётах, начал отсчитывать:



— Росьевский завод не сумеет столько цемента дать,— раз. Из Евпатории песку столько не пригонят,— два. Его не успеют накопать,— три. Не успеют погрузить,— четыре. |Не сумеют достать нужного количества вагонов,— пять. Ваши расчёты — дым! Что вы понимаете в этом деле?

— Кое-что понимаем,— упрямо произнёс Косачёв.— Кое в чём разбираемся, товарищ начальник. Научились под вашим руководством — спасибо за науку! Вы замечательно говорите, только упускаете из виду, что в Росьевке и в евпаторийских карьерах советские рабочие, что ими руководят большевики и что там тоже могут дать больше, чем вам кажется.

— Выше своей головы никто прыгнуть не может. Тогда давайте сделаем проверку.

— Выше головы?

— Зачем? Я прошу проверить план, который вы защищаете.

— То есть тот, что выдвигаете вы.

— Пусть наш, всё равно.

— От него пыли не останется.

— Значит, он того будет стоить.

Через пять дней ни правом берегу, в Доме техники, партийный комитет по настоянию Косачёва созвал собрание инженерно-технических работников. На повестке дня стоял только один вопрос — о плане.

Тихменёв сделал обстоятельный профессорский доклад, суть которого сводилась к тому, что строительство может уложить до наступления холодов четыреста семнадцать тысяч кубометров. Учитывая же общее желание уложить как можно больше, Тихменёв прибавлял сверх прежних расчётов ещё десять тысяч. Таким образом, управление соглашалось поднять план до четырёхсот двадцати семи тысяч кубометров.

— Но это крайний, почти непосильный предел, выше которого итти нельзя. Всё, что выше, пустая фантастика, сплошные турусы на колёсах. А руководствоваться в таком грандиозном строительстве, как наше, фантастикой...— Тихменёв пожал плечами,— извините меня, можно только из детской наивности или из упрямого озорства.

— По-озвольте!— послышался протестующий голос Косачёва.— Мы же проверили математически.

— Двух математик быть не может. Вы думаете, у вас

своя, а у нас своя? Математика наука точная, бесспорная.

— Тогда разбейте наши выводы по всем правилам вашей точной науки, а не голым отказом.

— Вам просто понравилось число пятьсот тысяч, снисходительно улыбнулся Тихменёв.— Не спорю, число красивое, круглое. Но этого ещё недостаточно, чтобы оно стало реальным.

Однако дело заключалось совсем не в красоте числа. Встречный план имел в виду большую практическую цель-доведение гребёнки плотины до отметки в тридцать с половиною метров выше уровня котлована. Поднятие плотины до такой высоты делало перемычки ненужными: перед весенним половодьем их можно было бы уже разобрать. Половодье при такой высоте плотины не представляло опасности. Если же гребёнку не поднять до тридцати с половиною метров, то после спада весенней воды нужно было бы снова чинить все перемычки и снова откачивать котлованы.

За столом поднялась громоздкая фигура Бурова. Густые тёмные волосы его вздыбились литыми упрямыми волнами. Он в тяжёлом возбуждении, точно в битву, двинулся к краю сцены.

— Не получим мы столько цемента!— с мрачной раздражительностью начал он.— Не могу я требовать у правительства: «Режь другие стройки, не давай, сколько надо по их заявкам, весь цемент посылай мне». Это не государственный подход к делу. И технически мы не в силах развить такие темпы, чтобы уложить пятьсот тысяч. Прежде всего геодезисты не успеют давать с соответствующей быстротой нужных точек для бычков. А без геодезистов я не позволю уложить ни одного сантиметра. Понятно?.. Кроме того, нельзя не учитывать чисто технических законов бетонной кладки, нельзя закрывать глаза на природу материала, с которым мы работаем. Вы ломитесь не в дверь и не в ворота, а в глухую каменную стену. Стены отворить нельзя, её можно только сломать.

Гул одобрения пронёсся по передним рядам. Наступление на план, выработанный главным управлением, казалось отбитым.

Но неожиданно для всех попросил слова Гуржеев. Наступила тишина. Напряжение борьбы достигло высшей остроты



— Мы долго готовились к сезону этого года,— сказал Гуржеев.— И очень осторожно взвесили всё: и техническую и трудовую суть предстоящих колоссальных работ. Чтобы найти сумму, надо знать отдельные слагаемые. Каковы же наши слагаемые? Можем ли мы добыть нужное количество камня в карьерах? Можем! Можем ли передробить его? Безусловно. Может ли бетонный завод левого берега,— я говорю только про свой берег,— может ли он приготовить столько бетона, сколько падает на нашу сторону? Может, товарищи. Сомнение в геодезистах. Пусть Леонид Николаевич Нестеров скажет нам, справятся геодезические работники или не справятся. Насколько я могу судить, за ними остановки не будет.

Десятки голов повернулись назад, отыскивая Нестерова. Тот молчал, как бы обдумывая задачу.

— Остановки?..— переспросил он, вставая. — Нет, не будет. Не будет, могу сказать точно.

Общий вздох пронёсся по залу.

— Вот видите.— продолжал Гуржеев.— Теперь вопросы транспорта, передвижения, подачи материалов. Что нам мешает? Только потеря времени от недостаточной дисциплинированности машинистов, от бессмысленных, ничем неоправданных простоев. Это относится к паровозам, к подъёмным кранам, к поездам, доставляющим цемент, и к поездам, доставляющим песок. Если халатность и небрежность — вечные явления, значит мы не осилим не только пятисот, но, возможно, и трёхсот тысяч кубометров. Если же эти постыдные, я бы сказал, неприличные для нашего строительства причины устранимы, значит, бояться нечего. Люди, находящиеся в моем распоряжении, мне известны. Они будут работать не покладая рук. Поэтому я думаю, что левый берег свою долю встречного плана уложить может.

Фронт главного управления треснул, прорвался. Раздались одиночные бунтарские хлопки. Большинство в зале ещё растерянно молчало, не зная, что произойдёт в следующий момент. Но чувствовалось, что в силе возражений против пятисот тысяч кубометров что-то бесповоротно рухнуло.

Вслед за Гуржеевым вышел на трибуну начальник правого берега Сухонин. Он кратко заявил, как о деле, для него несомненном:

— Правый берег свою долю тоже уложит. Тогда поднялся Косачёв.

— О чём же спорить? — крикнул он. — Вопрос ясен. Раз начальники берегов подтверждают техническую выполнимость «встречного» по отдельным участкам, значит, план выполним и в целом. Ссылки на природу, на Евпаторию, на Росьевку и на геодезистов отпадают сами собой. С этой минуты пятьсот тысяч кубометров — наш общий, единый план, за который мы все будем драться.

Раздались шумные рукоплескания. Кто-то восхищённо рассмеялся.

Ошеломлённый таким поворотом дела, Буров снял пиджак: в переполненном зале ему вдруг стало жарко. Он оттянул к локтям рукава рубашки и яростно уставился в бушующие ряды своих подчинённых.

— Ну, ладно же!— крикнул он в зал, едва затихли аплодисменты, и стукнул кулаком по трибуне так, что сплеснулась вода из стакана.— Теперь вы у меня не отвертитесь! Вы хотите пятьсот тысяч?..

— Да! Да! Да!..— раздались отовсюду возгласы.

— Так я же вас заставлю, заставлю выполнить! Пищать будете, а сделаете. И не как-нибудь, не на шалтай-болтай, а на совесть. Вы у меня не отвертитесь! Приняли,— работайте!

Кулак бил по тёмной полированной доске после каждого слова. Трибуна гудела от ожесточённых ударов, точно решение мстительно приколачивалось к ней на вечные времена.

— Да здравствует встречный план!— провозгласил Косачёв, подбегая из глубины зала к сцене, к самому барьеру.— Да здравствует наша победа!.. Браво! Браво!— воскликнул он, счастливо глядя в яростное лицо начальника, и захлопал в ладоши.— Приветствую вас от имени тринадцати тысяч рабочих! Всеми силами будем помогать вам.

Зал закричал «ура», взбудораженные, с горящими глазами инженеры рукоплескали стоя. Овации были направлены и к Бурову и к Косачёву. Оркестр заиграл гимн.

Так кончилось знаменитое собрание в Доме техники, о котором вспоминали и рассказывали потом несколько лет в разных концах страны.



## XXIV

В тот же день поздно вечером на заседании партийного комитета Косачёв сказал:

— Дело слишком серьёзное. Мы бросили вызов главному управлению и добились принятия нашего плана. Но если мы не справимся, если окажется, что у нас жила тонка и пятьсот тысяч кубометров нам не уложить, какие же мы после этого коммунисты? Партийные билеты, товарищи, придётся нам тогда сдать. Да. Притти и положить секретарю на стол.

Отступления не могло быть — это отлично понимали все. Что надо делать? — говорил Косачёв.

Лицо его было бледно от волнения. Зрачки глаз расширились, потемнели.

— Хорошо работать самим и уметь хорошо организовать работу других. Вот главная, самая ответственная и самая почётная задача.

Тут же были распределены наиболее уязвимые участки строительства между Ченцовым, Тернавой, Прокопом Зерновым, Косачёвым, Романчуком, Воронковым и Другими партийцами. Все они, начиная с Косачёва, кроме исполнения своих непосредственных дел, должны были помогать бригадам ежедневно добиваться успеха. Внимание к человеку, одобрение, братскую поддержку, воодушевление,— вот что надо было дать! Устранить помехи, открыть счастье труда,— разве не в этом секрет победы?..

И началась бетонировка.

Работа сразу пошла горячими темпами. Бетон подвозили с двух берегов по мостам, уложенным на гребёнке левого и правого протоков. Мостовые фермы опирались на бычки, и поезда с бетоном шли над бездной, на дне которой шумела вода. Всюду алели плакаты с надписями:

— Пятьсот тысяч кубометров!

— 500 тысяч!— 500 000!

Эти надписи были укреплены в пролётах между бычками на береговых скалах, на опалубках, на стенах бараков, они мелькали на спичечных коробках, на бутылках с молоком и кефиром. Они без слов поминутно напоминали, что идёт ожесточённый бой и что каждый должен помнить

о своём месте в бою. Надписи были понятны всем: и грузинам, и армянам, и татарам, и чувашам, и узбекам.

А по вечерам и по ночам пылали огненные транспаранты и зажигались электрические арки над улицами:

— 500 000! 500 000! 500 000!..

На перекрёстках были поставлены башни, на которых стремительной спиралью взбирались ослепительные цифры.

— 500 000!..

Достигнув вершины, цифры стекали в небо, в неостывшую ещё темноту, а от земли, извиваясь, уже снова взлетало:

— 500 000!

И люди работали неутомимо.

## XXV

В первых числах сентября на строительство приехал секретарь Центрального Комитета партии Молотов вместе с наркомом Рабоче-Крестьянской Инспекции Орджоникидзе. Они осмотрели гребёнку правого и левого протоков, спустились в Котлован среднего протока, долго следили за бетонной кладкой в блоках, за работой бригад Кости Макаренко, Лукийки, Пересады.

Лукийка была забрызгана бетоном, как штукатур. Сквозь бетонные мазки и пятна на щеках её жарко проступал смуглый румянец. Жёлтые радостные глаза глубоко сияли на залепленном лице.

— Трудно?— спросил Молотов.

Лукийка тыльной стороной руки вытерла со лба и с носа пот.

— Трудно было, пока не умели... А теперь... Как вам, девчата?

Девушки улыбнулись. Они обступили Молотова с почтительным восторгом и робостью, как деревенские школьницы хорошего, строгого учителя. Райка Богуславка по своей привычке удивлённо пожала правым плечиком.

— Нам интересно. Интересней, чем на бетоне, нигде нет.

— Возьмите другую работу, полегче,— предложил Молотов.



Лукийка оглянулась на свою бригаду, тряхнула головой, преданно и светло посмотрела на Молотова.

— Нет, Вячеслав Михайлович. Тут самый огонь. Отсюда не уйдём. Воя сегодня Зина Богдашова нас перегоняет. А там, того и гляди, Костя Макаренко вперёд выскочит. А мы разве хуже? Нас же тогда тоска заест, если поддадимся...

— Верно,— согласился Молотов и рассмеялся. Лицо его стало добрым, сердечным, очень простым.

Он тронул Орджоникидзе за руку, и они перешли в котлован гидростанции. Там, из глубины гранитного дна, точно гигантские столбы, поднимались сложенные из бутового камня пилоны высотой в семнадцать метров каждый. На пилонах были установлены невиданных размеров вантовые деррики, названные так потому, что клетчатые мачты их, подобно корабельным, были укреплены туго натянутыми в разные стороны стальными вантами — тросами. Деррики эти, качая и поводя длиннейшими стрелами, подавали сверху вниз бетон, арматуру, деревянные брусья, доски.

Ивась ставил с напарником щиты опалубки, когда в блок поднялся Молотов. Тут же геодезист с теодолитом указывал точки, которые должны были стать ненарушимыми границами для кладки бетона.

— Успеете закрепить до бетонщиков?— спросил Молотов.

Близко перед собой Ивась увидел тонкие стёклышки пенсне и за ними зеленовато-серые глаза с большими внимательными зрачками.

— Сейчас кончим. Вот угол закрепим, и будет готово. Бетонщикам ждать не приходится.

— Ну, как, по-вашему, встречный? Выйдет или не выйдет?

— Добиваемся изо всех сил. Поверите, Вячеслав Михайлович, во сне снится, как лучше, скорей опалубку ставить. Спешу, спешу, сколачиваю, пригоняю, строгаю,— и вдруг проснусь! Душа горит от работы. Чем дальше, тем больше, шире. Вся жизнь отодвинулась в сторону.

— Вытянете?

— Обязательно. Нас теперь только бури или ливни могут сбить. Ну, надеемся, выскочим.

— Учиться хотите?

Что-то вздрогнуло и гулко забилось в груди у Ивася. Голос у него перехватило, и он едва слышно выдохнул:

— Очень!..

— Мы вам поможем. Кончите стройку, пошлём в любое учебное заведение. Какое выберете, туда и поедете.

Ивась так растерялся, что не нашёлся, как и что ответить. Он только благодарно улыбнулся.

Орджоникидзе в котловане отстал от Молотова и разговорился с татарской бригадой Хабибуллы Мухтарова. Бригада, кончив смену, уходила домой. Молодые татары в брезентовых спецовках обступили наркома. Все они были измазаны бетоном, но сквозь серые засохшие лепки и брызги разгорячённые работой лица светились удовлетворением, гордостью: их только что похвалил Тихменёв. Члены бригады, перебивая друг друга, рассказывали о блоках, о полученных премиях, о хлебе, о столовках, о жизни.

— Зима-время баня мало,— пожаловался Ахмет Хайруллин. — Придёт грязь, холодный ветер, стужа, париться охота, а баня — очередь стоит.

— Построим. Без бани куда же? Сделаем,— обещал Орджоникидзе.

— Жить можно, товарищ нарком. Вон Мухтаров Хабибулла, бригадир, сын нашёл здесь.

— Как нашёл?— удивился Орджоникидзе.

— Апайка родил ему. Пошёл родильный дом,— какой дом — дворец! Там положили его белый, как снег, койка,— там и родил. Хорош апайка! Татарский люди рад, когда жена сын даёт.

— Поздравляю, поздравляю! — горячо воскликнул Орджоникидзе и широко улыбнулся. Он порывисто взял Мухтарова за плечи.— Молодец апайка. Поздравляю, дорогой.

Орджоникидзе крепко пожал серую от бетона руку Мухтарова обеими своими.

— Пусть скорей растёт. Учить будем, инженером сделаем!

— О!..— засмеялись татары, польщённые словами наркома. — Хабибулла сын — инженер? Якши. Бик якши. Счастливый будет.

Поднявшись из котлована гидростанции, Молотов



и Орджоникидзе поехали на левый берег, на площадки алюминиевого завода и Запорожстали. Посреди приподнятого над Днепром простора они вышли из автомобиля... В степи пахло чабрецом, диким цикорием, разогретой на солнце полынью, дюшаном.

— Здесь предстоят большие земляные работы,— сказал седой, остриженный бобриком инженер, управлявший постройкой заводов. — Но вот беда: на покупку думпкаров валюты не дают.

— А сколько нужно валюты? — спросил Орджоникидзе.

— Около миллиона рублей.

— Для думпкаров? Золотом? Что вы! С этим можно справиться и без валюты.

— Возить землю на платформах и разгружать вручную, лопатами?

— Зачем? Закажем Сормовскому заводу. Отлично сделают. Ведь что такое думпкар? Это не телескоп, не блюминг, не фрезерный станок какой-нибудь, не сложная машина, а всего-навсего вагон. Вагон, товарищи! В конце концов мы должны сами научиться всё делать, сами, своими руками, без заграницы.

Вечером в помещении зимнего театра было общее собрание рабочих, на котором Молотов сделал доклад о международном положении. Ивась сидел во втором ряду и весь превратился во внимание, следя за развитием картины, какая рисовалась перед его умом. Везде в мире положение было тревожное, напряжённое, а во многих странах и полное затаённой враждебности к Советскому Союзу. Надо было спешить укрепить свою силу, чтобы отбить, сокрушить злые происки врагов. Выполнение встречного плана во что бы то ни стало вытекало отсюда само собой. Всеми мыслями, всеми чувствами Ивась понимал, что надо ещё больше, ещё усердней трудиться, ещё лучше и быстрей всё делать, чтобы в грозный час быть готовыми.

Молотов стоял у края трибуны. Его лицо казалось лицом труженика-профессора, неутомимо работающего дни и ночи, долгие годы. Оно достигло той просветлённости, какая бывает у людей, живущих одной великой идеей, речь его шла в гущу рабочих просто, убедительно, как-то по-братски задушевно. В звуках голоса и в том, что Молотов говорил чуть-чуть заикаясь, была особая теплота.

Каждая остановка, каждая задержка как будто была вызвана необходимостью выбирать слова из самой глубины сердца, самые ценные, самые большие, самые нужные. Это совсем по-особому трогало и сближало. Это делало Молотова родным человеком, вызывало к нему какую-то почтительную нежность. Когда он кончил, никто уже не сомневался, что пятьсот тысяч кубометров будут уложены, какие бы трудности ни встретились на пути.

В двенадцать часов ночи в управлении, в обширном конференц-зале, состоялось совещание. Там присутствовали ведущие инженеры обоих берегов и всё бюро партийного комитета. Молотов и Орджоникидзе задавали десятки вопросов. Они хотели знать обо всех узких местах и затруднениях. Говорили о пекарнях, о качестве муки, об обедах, о починочных обувных мастерских, о банях...

Утром на следующий день Молотов встал очень рано. Восток чуть золотился узкой полоской, в небе бледнела серебряная звезда. На траве лежала обильная матово-белая роса. Пели петухи. Где-то далеко на берегу трубно кричали гуси. Бесчисленные деррики посреди дымящейся реки бессонно работали. Подошла машина, и Молотов поехал вверх по Днепру, в степь, на пороги, в район будущего затопления. Он стремился всё видеть своими собственными глазами.

Орджоникидзе от поездки вынужден был отказаться: очередной приступ болезни не давал ему возможности двигаться. Он вызвал к себе инженеров, строивших корпуса алюминиевого завода и Запорожстали, заставил подробно доложить о состоянии работ, просмотрел десятки проектных синек. В нём уже пробуждался дух будущего командарма тяжёлой промышленности.

Ночью, близко к утру, севастопольским поездом Молотов и Орджоникидзе уехали в Москву.

Через день после их отъезда бетонщик Хабибулла Мухтаров пришёл в загс и попросил:

— Запиши, пожалуйста, моя сын книга. Родился тут, самый Днепрострой. Запиши ему имя Серго.

— Сергей? — переспросила молодая женщина, заполнявшая страницы рождений, сама ещё ни разу не рожавшая и не знавшая, какие чувства и мысли заключены в слове «сын».



Она обмакнула перо в чернила и привычно начала писать.

— Зачем Сергей? Нет Сергей! — испугался Мухтаров.— Запиши Серго, как наша нарком. Нарком миня котлован здравствуй сказал. Поздравляю сказал. Как самый дорогой друг-приятель, хороший слово сказал. Пусть моя сын тоже будет Серго. Большой память! Понимаешь?

## XXVI

Бетонировка с каждым днём разрасталась. Соревнование между бригадами приобретало всё больше нетерпеливой ревности и изобретательности. Оно шло с таким воодушевлением, какого ещё не было на строительстве. В газете «Пролетар Дніпробуду» из номера в номер печатались имена отличившихся бетонщиков, (рассказы об их жизни, об их прошлом. И опять впереди других были Костя Макаренко, Зина Богдашова, Пересада, Лукийка Бойчук, Хабибулла Мухтаров.

С левого берега начали бетонировать водосливные пролёты между бычками. Сначала бетонщики не знали, как надо заделывать ниспадающую изогнутую поверхность, как ей придать нужную форму. Пришёл Холл. Он настойчиво учился говорить по-русски, но. чтобы не сделать ошибки в ответственных объяснениях, всегда брал с собой переводчика. И сейчас при помощи переводчика он подробно объяснил приёмы новой кладки, затем сбросил пиджак, засучил рукава рубашки, стал на колени, взял один конец деревянного правила, другой попросил взять переводчика и начал работать сам. Комсомольцы пристально следили за каждым его движением.

— Теперь делайте по-моему,— сказал Холл, поднимать. — Завтра приду, посмотрю, что у вас получится.

Бетонщики старались изо всех сил. Костя Макаренко и Пересада, обливаясь потом, укладывали, уравнивали бетон по наклонной, волнообразно изгибающейся линии. Они чувствовали, что экзамен перед американцем надо выдержать самым отличным образом. Да и не только перед американцем.

Наутро в обычный час появился Холл. Не вынимая изо рта трубки, он тщательно осмотрел работу сначала у Кости Макаренко, потом у Пересады.

— Вэл дан! Хорошо сделано,— отрывисто проговорил он, попыхивая трубкой.— Есть хороший работа. Есть!

И одобрительно кивнув головою, полез в следующие блоки.

Комсомольцам нравился этот высокий, строгий инженер с быстрой, размашистой походкой, не брезговавший никакой чёрной работой. Приятный, весёлый человек, влюблённый в дело, как спортсмен в свой спорт, очень независимый, никому не прислуживающийся, он казался наименее консервативным из всех американцев. Ходили глухие слухи, будто из-за независимости у него создались натянутые отношения с Гаррисоном. Это вызывало невольное чувство уважения,— молодёжь явно была на стороне Холла.

На плотине не существовало таких головокружительных мест, куда бы не взбирался Холл. Переводчик испуганно останавливал его, просил не подвергать себя ненужной опасности. Холл только улыбался и поднимал вверх руку с растопыренными пальцами:

— Инженер не боится,— рабочий не боится. Понятно? А рабочий не боится,— значит, дело идёт.

## XXVII

Сигнальные огни перенесли с дерриков на бетонные заводы. Седые от цементной пыли, заводы высились над Днепром, на крутых скалах, как старинные, замшелые от времени замки. На верхушках их крыш вспыхивали по вечерам огромные зелёные и красные лампы, видные на целые километры вокруг. Когда суточный план перевыполнялся на обоих берегах, красная звезда, составленная из тридцати пяти огненно-алых ламп, загоралась над главным управлением.

— Ох и горит!— изумлённо говорил в такие ночи Микола Бойчук.— Будто с неба спустилась.

— Вот так крейсер в море идёт...— вспоминал старший подрывник Устин Денисов.— Посмотришь в темноте,— сердце хватает.

Даже жёлчный Гаррисон вынужден был признать:

— Такого дела я нигде не видел. Суточная укладка бетона представляет сейчас мировой рекорд. Он может быть превзойдён лишь при осуществлении какого-нибудь



проекта большего масштаба, чем здесь. Но ни Европа, ни Америка не создадут этого ещё целые десятилетия.

Люди выходили из бараков, из общежитий, из четырёхэтажных каменных домов на рассвете и возвращались в своё жилище только в позднюю ночную пору. В конторах производителей работ целые ночи напролёт трещали телефонные звонки. В одном месте нехватало песку, в другом не давали из депо паровозов, в третьем оказывалось несколько лишних бригад, в четвёртом по вине мастера останавливалась мелкая дробилка. Косачёв бессонно ходил с участка на участок, похудевший, с красными от недосыпания глазами. Всё надо было увязать, устроить, всюду устранить задержки.

Комсомольские бригады бетонщиков и плотников делали то, что с первого взгляда казалось невозможным. Инженеры и техники работали сверх всякой нормы. Они не в состоянии были усидеть дома, когда люди на плотине старались выполнить невыполнимое. Ни начальник строительства, ни Тихменёв не делали никакого различия между старыми и молодыми инженерами, каждого ценили только по знаниям, по умению вести порученное дело. Диплом, как фетиш, утратил своё прежнее значение. Название института, который тот или иной инженер окончил, никого не интересовало. На Днепрострой мог прийти талантливый самоучка, удачливый практик и ревностным трудом опередить всех. Вот почему выдвинулись из самой зелёной молодёжи Загоруйко, Ченцов и на монтажных работах — Тернава.

— А всё-таки Лукийка Бойчук впереди идёт! — сказал однажды Махоткин, хлопнув Ивася по плечу. — Проморгаешь ты своё счастье, парень.

— Лукийка — звезда,— согласился Ивась.

— То-то — звезда. А вот попробуй, сними её с неба. Ты ведь тоже не последний хват.

— Некогда...

— Что? Любить некогда? Не ври, друг, не поверю. Улетит она от тебя, прямо на глазах вырвется, из рук уйдёт. Вот попомни.

— И улетит, ничего не сделаешь.

— Эх, твои бы годы мне! Птицы нежные!.. Махоткин мечтательно задумался. Потом тихо, с восторгом произнёс:

— Говорят, из Москвы художник приехал картину с неё писать.

— Да не один,— целых два. А она им обоим отрезала: «Нет времени мне, товарищи, сидеть перед вами».

— Так и брякнула?

— Она и не то может брякнуть. «Пока я, — говорит,— тут красуюсь, там хлопцы меня наверняка обгонят. Вы что же, победу мою хотите отнять?..»

— Не согласилась?

— Уехали оба.

— Эх, зря! Зря погорячилась. Я бы потом сам помог ей. Ночью бы стал за неё бетон топтать. Ей-богу. Такую девку, знаешь, как вознести надо!.. Ведь всё это дело как сон пронесётся. Оглянуться не успеешь, кончим работу. Неужели картины про нас нигде не останется?.. А посмотреть бы потом, в старости...

Чем выше поднимались бычки, тем трудней и сложней становился вопрос с опалубкой блоков. Для работы на весу Гуржеев искал самых лучших плотников. По старой привычке он считал наиболее ценными плотниками тех, кто умел строить большие хорошие дома. Составилось несколько отличных пар. Записался на бычки и напористый старый плотник с курчавой чёрной бородой, бывший шахтёр, недавно приехавший из Донбасса! По висячей стремянке, как по корабельному трапу, он взобрался на бычок, глянул оттуда вниз и вдруг оробел: котлован зиял под ним, как пропасть. Плотник сделал над собой неимоверное усилие — подошёл к самому краю бычка, где надо было устанавливать щиты. У него сразу опустела грудь. Ощущение гибели головокружительной волной ударило снизу, под ложечкой пронзительно защемило.

— Нет, не пойдёт...— неожиданно для самого себя пробормотал он напарнику.— Давай обратно...

— Что ты? Нас же засмеют.

— Пусть, что хотят, делают. Не могу — и шабаш.

В котловане испытанные, не раз премированные плотники невольно ёжились, поглядывая на бычки.

— Руки, ноги отнимаются... Поглядеть — душа замирает. Вот страсть! — жаловались они друг другу.

— Да пропади они пропадом, деньги эти! Не хочу я жуть такую терпеть.



Бывший шахтёр оказался коммунистом. Он пошёл в партийный комитет и заявил:

— Сплоховал, товарищи. Сил моих нет, хоть голову снимайте. Под землёй был — не боялся, против Деникина дрался, — страху не знал, а тут откровенно говорю — не могу. Какую хотите чёрную работу согласен делать, а на бычки не полезу.

Плотники один за другим стали отказываться, уходить на постройку домов.

— Что за чертовщина, Баганча? — спросил Гуржеев Ивася.— Самые надёжные мастера попятились.

— Тут совсем другие люди нужны, Степан Андреевич.

— Но лучше, чем эти, у меня нет!

— Надо таких найти, чтобы высоты не боялись. Плотничной работе научить легче, чем смелости.

— Давайте, подбирайте, если можете угадать смельчаков.

— Три-четыре пары я знаю. А дальше надо искать.

Сам Ивась поражал Гуржеева своим бесстрашием. Работа над пропастью, казалось, только восхищала его. Он составил из молодых ребят специальные пары, которые взбирались на любую высоту.

Неожиданно для Ивася к высотникам присоединился и Махоткин.

— А ну, полезу и я к богу поближе!

— На земле тебе не сидится?— строго сказал Ивась.

— Я сны про бычки вижу. Понимаешь, будто летаю над котлованом. Машу руками и лечу. Прямо дух растворяется от снов от тех.

И, устанавливая опалубку на краю бычков, поднимавшихся над котлованом на сорок и на пятьдесят метров, Махоткин чувствовал в себе необыкновенный прилив лёгкости и молодости.

## XXVIII

Кончился сентябрь, в напряжённой спешке пролетел октябрь. Кладка бетона росла с каждым днём. За октябрьские успехи лучшие рабочие были награждены премиями. Получили премии в числе других и бригады Хабибуллы Мухтарова, Сафи Хакимова и Юсуфа Сагитова. о самый разгар вечера после Лукийки и Пересады предсе-

датель рабочкома Романчук вызвал к столу татар и под рукоплескания всего зала выдал им по месячному окладу сверх обычного заработка. Татары сбились у стола и не уходили. Они о чём-то быстро переговаривались между собой. Наконец Хабибулла Мухтаров поднял руку в знак того, что хочет сказать слово.

— Деньга хорошо, товарищ. Наша татарский люда говорит тебе спасибо. А есть другой подарка. Шибко охота карточка получить про весь наша работа. Дай, пожалуйста, альбум,- какой такой Днепрострой тут сделался. Домой придём, вся деревня смотреть прибежит. Дай альбум, товарищ рабочком, жалеть не будешь, наша ещё лучше стараться станет.

— Дадим!— крикнул Косачёв.— Уложим пятьсот тысяч кубометров, все ударники по большому альбому получат.

— Верно?

— В протокол запишем.

— Якши, Косачёв! — просиял Мухтаров.— Якши, ипдаш! Твоё слово крепкий, наше слово тоже не сломается. Теперь держись!

На строительстве часто можно было встретить революционных рабочих из Западной Европы. Ивась видел небольшие группы людей, подолгу смотревших на Днепр, на деррики, на гранитные котлованы. Безмолвное восхищение и зависть светились в их глазах.

Но были и другие гости—журналисты. Журналисты приезжали из Франции, из Англии, из Японии, из Германии, из Италии, из Венгрии, из Швеции. Это были юркие, всюду забиравшиеся молодые люди, одетые в добротные, франтовато сшитые костюмы, в шёлковые сорочки с мягкими отложными воротничками, в щёгольские жёлтые полуботинки. С блокнотами в руках, с лёгкими великолепно усовершенствованными «лейками» они шныряли по берегам, назойливо лезли всюду, с наглым видом торопливо фотографируя всё на своём пути. Из котлованов журналисты бежали на телеграф, посылали наперебой друг перед другом какие-то телеграммы, сдавали на почте толстые пакеты. О чём доносили неведомым хозяевам эти расторопные молодые люди? Одни о масштабах советской стройки, о темпах, о достижениях, о неопровержимой реальности большевистского пятилетнего плана, о том



неожиданном, что открылось им на Днепре. Другие испуганно, ошалело врали.

Косачёв поднимался в блоки на бычки. С непривычки ему трудно было преодолевать отвесную высоту, у него запрокидывалась голова, немело в груди, но он упорно лез, закрыв глаза на страшную глубину под ногами.

— Остерегись, Никита Матвеевич,— остановил его как-то Костя Макаренко.— Отсюда и сверзиться недолго.

— Надо, милый, знать, чем дело ускорить. Подумай, время летит, а работы ещё уйма.

— Я тебе скажу от всей комсомольской души. Хочешь, слушай, хочешь, нет. Пусть бетон подают без задержки, пусть ждать не заставляют. Это раз. А потом... Вот если бы начальник догадался койкогда ребятам булочек подкинуть, мы бы, знаешь, кубометров по двадцать в день лишних втаптывать стали.

Косачёв пробыл на бычках всю смену, присматриваясь и прислушиваясь, сливаясь всем своим существом с бригадами, которые топтали бетон. Он понял, что остроглазый комсомолец прав. После блоков Косачёв имел разговор с Буровым, и с тех пор хлебопекарни начали систематически выпекать для ударников по восемь, по девять тысяч французских булок в сутки. Булки в ^корзинах приносили к месту работы, в котлованы, в бетонные заводы, к дробилкам, на перемычки и с перемычек спускали на крановых тросах в блоки. Их принимали с шутками, с весёлыми выкриками, и работа усиливалась, становилась как будто легче.

Нестеров и находившиеся в его распоряжении геодезисты при помощи теодолитов и секундников непрерывно наблюдали за установкой опалубки блоков. Три инженера, три опытных мастера геодезического искусства, всегда были заняты этой работой: один на маяке, другой в конторе за вычислениями, третий на укреплении дощатых, гладко выстроганных щитов на бычках. Они должны были в любую минуту дать нужную ось. Иногда у Гуржеева менялся порядок бетонировки, он вынужден был вести работу не на том бычке, который первоначально намечался, он требовал от геодезистов, чтобы они немедленно указывали точки, от которых зависела кладка бетона.

Между тем работа становилась всё опасней. Одно неверное движение — и с высоты можно было сорваться

в бездну. Плотники чувствовали себя на бычках уверенней, чем геодезисты. В большинстве это были физкультурники, умевшие делать ласточку, стойки, мосты, крутить разные штуки на турнике. Молодое натренированное тело в работе над пропастью обнаруживало акробатическую цепкость, устойчивость, какое-то особенное чувство равновесия.

В ветреный ноябрьский день в блок, сколоченный Ивасем на высоте пятидесяти трёх метров, поднялся Нестеров.

— Ну, как тут у вас?— спросил он.

— Как будто правильно.

Нестеров начал проверять установку прибором. Он перелез через щит, повис на узком карнизике над котлованом, привинтил диск прибора с визирной трубкой к борту щита. Глубоко внизу белели камни. По опыту Нестеров знал, что вниз не надо смотреть: закружится голова. Взор должен быть устремлён только на маяк, на геометрический центр плотинной дуги. Но глаза невольно видели разверстый внизу котлован, и щемящий холодок всё время наполнял грудь. У Нестерова было такое ощущение, точно он чрезмерно надышался озоном.

— Вы не очень-то... — предупреждающе проговорил Ивась.

Нестеров припал глазом к трубке. Углы были точны, все линии ложились в мысленные оси на центр. Он невольно подивился умению Ивася угадывать размеры и направление. «Вот разве здесь, в сторону верхнего бьефа...» — подумал Нестеров и быстро стал перевинчивать прибор, чтобы перенести его на противоположный щит. И вдруг левый сапог соскользнул, нога сорвалась в пустоту.

— Ох!..— едва успел вскрикнуть Нестеров.

Ивась схватил его за спецовку. Спецовка затрещала, щит под грудью Ивася глухо стукнул, что-то больно обожгло руку. Белая кепка Нестерова, как клочок бумаги, кувыркаясь, замелькала глубоко внизу. Казалось, в следующее мгновение они оба полетят вслед за кепкой. Нестеров уцепился за руку Ивася, ноги его судорожно болтались, стараясь поймать карнизик. Подскочил напарник Ивася. Вдвоём они потащили за спецовку,— спецовка задралась к голове. Было страшно, что материя не выдержит, что тело вылущится, выскользнет из неё, как



горошина из стручка. Подтянуть бы, приподнять человека хоть на несколько сантиметров! Тогда можно будет перехватить за руки, за плечи. Не выломить бы только щита,— тогда пропали! Наконец Нестеров попал носком на карнизик, упёрся, и Ивась с напарником перекинули его через дощатый борт. На узкой площадке блока Нестеров в изнеможении сел. Лицо его было серо, глаза побелели. Он тяжело дышал.

— Разве так можно? Что вы...— проговорил Ивась. Нестеров, как бы просыпаясь от сна, провёл ладонями по лицу.

— Спасибо...— прошептал он и благодарно схватил Ивася за руку.

По руке Ивася из ссадины выше локтя текла кровь.

— Что это?

— Щитом, наверно.

Напарник оторвал подол своей серой коленкоровой рубашки и перевязал Ивасю руку.

Нестеров отдышался, встал и привинтил прибор к другому щиту. Руки его дрожали. Но надо было кончить проверку.

— Вот этот край отсадите внаружу на два миллиметра,— сказал он.— Вот отсюда.

Ивась переставил щит. Нестеров ещё раз проверил.

— Так, правильно.

Тогда Ивась свистнул на перемычку бетонщикам.

И они все вместе—Ивась, напарник и Нестеров—-друг за другом по зыбкой стремянке начали спускаться в котлован.

## XXIX

С половины ноября дикие бури обрушились на степь, на Днепр, на строительство. Тучи и неистовые ветры, швыряясь острыми секущими дождями, полетели с неистощимой силой, помрачая свет, превращая дни в серые беснующиеся сумерки.

Косачёв в прорезиненном плаще поверх ватной стёганой куртки, с поднятым капюшоном над старой сплющенной кепкой ходил по участкам. Плащ на плечах промокал, дождь промачивал куртку, просачивался сквозь пиджак, тяжёлый сырой холод пробирался по спине,-

начинало знобить. Но Косачёв продолжал ходить, подбадривая бетонщиков, плотников, бурильщиков, каменоломов, техников. В сапогах его хлюпала вода, ветер разрывал полы расстёгивающегося на разношенных петлях плаща, дождь сёк лицо.

Гуржеев по нескольку раз в день звонил на бетонный завод, требуя, чтобы бадьи с бетоном отправлялись на перемычку непременно прикрытые фанерными листами, велел натянуть над блоками брезентовые полога, чтобы дождь не мешал работать и не разжижал бетона.

Геодезисты с утра до ночи, несмотря на непогоду, были на своих наблюдательных постах. Их не спрашивали, видно ли что-нибудь с маяка, можно ли вести наводку. Гуржеев и Сухонин для установки опалубки требовали всё новых и новых отметок. Между тем бывали моменты, когда на маяк никто не в силах был подняться.

В ночь на девятнадцатое ноября ударил мороз с ветром. Утром Гуржеев, крича в телефонную трубку, напал на Нестерова:

— Нам нужны оси сорок третьего бычка. Мы их не получаем уже больше часа. Плотники мёрзнут, бетонщики зря теряют время, и те и другие ропщут. В чём дело?

— На Днепре шторм. Разве вам с плотины не видно? — обиделся Нестеров.

— Пожалуйста, не говорите пустых слов! А если шторм будет продолжаться целую неделю? Что же, по-вашему, сесть и сложа ручки сидеть?

— Мы не сидим.

— Потрудитесь дать оси, о которых я вам говорил.

— Волны бушуют с самой ночи. Мы не можем пристать к маяку. Мы не можем взобраться по лестнице. Мороз вяжет нас по рукам и по ногам. Лестница обледенела.

— Возьмите людей с кайлами, с ломами, с верхолазными крючьями. Наберите человек десять. Пусть счистят лёд во что бы то ни стало. Оси нужны немедленно. Какие тут могут быть разговоры?

— На маяк сейчас ни один человек не полезет.

— Кто вам сказал?

Нестеров вышел из конторы и увидел четырёх пикетажистов— комсомольцев, которые направлялись для обмера территории будущей гавани.



Товарищи, кто лёд скалывать на маяк поедет?— спросил он не совсем уверенно.

— А на чём?

— На моторке.

— О! Первый раз в жизни на моторке! Давайте.

Это неожиданное согласие сразу погасило раздражение, вызванное словами Гуржеева. Нестеров поспешно вооружил комсомольцев заострёнными ломами и толстыми крючковатыми баграми, напоминавшими древнерусские бердыши. Моторный катер, захлёстываемый гривами волн, гудя, пошёл к маяку. Студёные волны казались вблизи желтовато-бурыми, злыми, беспощадными. Катар нырял с водяных холмов в ухабы, с ухабов вздымался на холмы и снова падал. Узкая лестница, поднимавшаяся из бушующего Днепра, представляла собою крутую, обросшую толстыми, уродливо оплывшими сосульками глыбу льда. Река кидала катер из стороны в сторону, она качала его, как на погибельных качелях. Чтобы освободить первую ступеньку от ледяных наростов, комсомольцы ударяли в них с катера баграми и ломами, точно пиками с седла. Когда открылись первые две ступеньки, через борт выпрыгнул невысокий паренёк с широкими светлыми бровями, в чёрном собачьем треухе, завязанном под подбородком тесёмками. В тот же миг его обдало космами стремительно налетевшей волны. Выпрыгнул второй комсомолец. Новая волна ударила их обоих в спину. Мокрые с ног до головы, они с ожесточением принялись разбивать лёд ломами. Вслед за ними через несколько минут взобрался на маяк — Нестеров. Закоченевшими от стужи пальцами он установил прибор и скоро дал плотникам оси сорок третьего бычка. После этого моторка с воем понеслась к берегу: все спешили переодеваться, греться, сушиться.

Газета строительства «Пролетар Днепробуду» ежедневно писала о наступлении по всем участкам. Она говорила о передовых, ведущих бригадах, о выдающихся ударниках и вместе с тем о людях, отстающих, беззаботных, небрежных, не умеющих использовать ни машин, ни своих собственных рук. Газета стала силой, рождающей энергию. Её ценили и её страшились — за справедливость. В газету писали плотники, бетонщики, машинисты, каменоломы, дробильщики, подрывники,

бурильщики, партийные и беспартийные, её создавали люди, не щадившие самих себя в борьбе за плотину и гидростанцию. Ивась написал заметку о бесстрашии геодезистов, о Нестерове, работающем на обледенелом маяке. Он испытывал странное какое-то невыразимо счастливое чувство, описывая труд человека, которого он спас от смерти.

Заметка была напечатана на следующий же день. Тогда Ивась написал большой рассказ о двух бригадах бетонщиков — Кости Макаренко и Лукийки Бойчук. Писать было трудно, труднее, чем ставить щиты на бычках. Из многих слов надо было найти самые верные и самые глубокие по заключённому в них внутреннему свету, чтобы всякий, кто прочитает рассказ, проникся к этим бригадам тёплым братским чувством.

— Ты что, покидаешь нас? — спросила дня через два Лукийка, остановив Ивася в коридоре партийного комитета.

— Как покидаю?

— Ну, говорят, топор в брус воткнёшь и пойдёшь в газету работать.

— Не-ет!.. — засмеялся Ивась.— От топора я не отступлюсь.

— То-то. Ох, и расписал ты меня!

Лукийка с ласковым укором и благодарностью посмотрела на него.

— Плохо?

— Я прочитала, и, понимаешь, от гордости за себя слёзы так и брызнули из глаз.

Лукийка взяла Ивася под руку и на секунду порывисто прижалась к нему. Какой-то точкой выше локтя он ощутил её маленькую упругую грудь. Простые торопливые слова заставили его вспыхнуть: значит, правильно написал, удачно, хорошо. От радости летучий ошеломительный холод на мгновение пронёсся у него от головы спине.

Гаррисон регулярно, в определённые часы, появлялся на плотине. Он был строг и требователен к инспекторам, наблюдавшим за кладкой бетона. Но чистота работы восхищала даже его. Он в возбуждении закуривал сигару и молча смотрел на работу. Великолепная, чорт возьми, картина! Кто бы мог подумать, что люди, пришедшие в лаптях, в постолах, в чунях, только вчера оставившие соху, плуг,



волов, примитивнейшую конскую упряжь и воловьи ярма, научатся так уверенно владеть машинами, достигнут таких деловых темпов! После отъезда Купера в Америку Гаррисон написал в очередном докладе Высшему Совету Народного Хозяйства, что бетон, укладываемый в плотину, не только превосходен по качеству, но заслуживает всяческой похвалы и по внешнему виду, что днепровское строительство после своего завершения будет служить образцом мирового инженерного искусства.

На правом и на левом берегах стояли высокие столбы, между которыми были натянуты белые экраны. На этих экранах яркими быстрыми словами сообщалось, что до выполнения встречного плана с каждым днём остаётся всё меньше и меньше: заветное число — пятьсот тысяч кубометров — приближается. Строки влетали в экран подобно птичьим стаям, через некоторое время гасли, затем снова влетали, бесшумно, торжественно, победно. По вечерам у экранов толпились сотни землекопов, грабарей, окрестных колхозников. Они жадно прочитывали надписи, словно это были последние телеграммы о подвигах какой-то беспримерной экспедиции, за которой с нетерпеливым интересом следили везде на земном шаре.

Успех делал рядовых людей отважными, старательными. Чем трудней приходилось в блоках, на ветровой высоте, тем больше вызывалось охотников работать на опасных местах. Бетонная кладка продолжалась наперекор Дождям и осенним бурям.

Татарские бригады Хабибуллы Мухтарова, Сафи Хакимова и Юсуфа Сагитова, гордые общим вниманием к своему усердию, сложили песню. Они пели её всюду — и в бараках, и по дороге на работу, и в блоках, и в своём национальном клубе. Торжествующие молодые голоса точно костёр зажигали:

Днепринен тлшларен
Б рит итеп тумырдек,
Бишйозмен битонны
Вактынпан элек тултырдек.

Эти слова кричали степи, ветрам, облакам, человеческим сердцам, будущему: «Днепровские скалы мы пробурили, пятьсот тысяч кубометров до срока забетонировали!..»

## XXX

На рассвете первого декабря ветер гнал хмурые, лохматые тучи, день начинался сумрачным низким небом. От тугих порывов ветра трудно было итти. Свинцово-сизый взъерошенный Днепр шёл косыми мутными волнами. Серая громада здания главного управления, точно крепостной форт, темнела над рекой.

Тихменёв раньше обычного вошёл в свой обширный кабинет. Раздевшись, он поспешно снял с рычажка телефонную трубку и попросил соединить его с Сухониным.

— Пожалуйста, сводку по бетону за ночь. По всему берегу. Да, да, и по гидростанции, конечно.

Потом позвонил Гуржееву.

Новые цифры торопливыми короткими строчками легли под столбиками старых, накопившихся с лета цифр. Итог? Тихменёв не ощущал карандаша в руке. Да, так! 500 257 кубометров. Невероятное, немыслимое число исполнилось. Цифры стояли крепко, прочно, железным строем бесспорного торжества.

Тихменёв подошёл к широкому, во всю стену, окну. За окном белым снегом кружилась зима. Сквозь мельканье снежинок призрачно виднелись огромные ряжи, столбы бычков, чёрные мачты дерриков, наклонённые стрелы паровозных кранов, копошащиеся люди. Стало необыкновенно легко и хорошо, как в студенческие годы после экзаменов, когда волновали книги, мысли, планы, мечты.

Тихменёв вернулся к столу, позвонил в партийный комитет. Ему очень хотелось, чтобы там оказался Косачёв. И действительно, послышался голос Косачёва.

— Вы оказались правы, товарищи,— преодолевая смущение, сказал Тихменёв.— Пятьсот тысяч кубометров уложены.

— Добились? Здорово! Совершенно точно, кубометр в кубометр?

— Даже с маленьким превышением.

— Поздравляю вас, Евгений Сергеевич! — горячо воскликнул Косачёв.— От всего сердца поздравляю.

— Помилуйте...

— Вы работали замечательно. Сейчас вывесим флаги по всему строительству, по всем домам. Для нашего общего праздника



вы потрудились больше, чем можно требовать от человека.

Косачёв вызвал из подрывных бригад горниста Тимофея Царенко, бывшего будёновца, бесстрашного рубаку, лихого бойца Первой Конной армии.

— Музыку принёс? — нетерпеливо спросил он его, когда тот показался в дверях. — Вот спасибо! Я, так и знал парень — гвоздь! Идём со мной на плотину. Эх, чорт, труба маловата у тебя!

— Почему маловата? Труба форменная, кавалерийская. Это ты зря, Никита Матвеевич.

— Голос в трубе слаб. Вот я про что. Сегодня надо бы так поднять, чтобы кругом слышно было.

— Голос дадим. Не беспокойся.

Они взобрались на самый высокий бычок среднего протока. Внизу и на берегах работали тысячи людей.

— Играй зорю, Царенко,—сурово распорядился Косачёв.

Царенко повернулся лицом по течению и заиграл. Он понимал, что труба его должна была петь, как не пела ещё никогда. И в снежном воздухе она действительно зазвенела внезапной торжественной радостью.

— Теперь играй на правый берег.

Царенко стал грудью против правого берега и повторил зорю. Потом он проиграл её левому берегу и, повернувшись к Кичкасу, заиграл в четвёртый раз — Днепру, наплывавшему в снежном ветре злым высоким плеском со стороны порогов.

Народ в котловане и по берегам, оставив работу, вопросительно прислушивался к певучей трубе.

— Играй сбор, Царенко! Да вознеси, вознеси повыше! — сказал Косачёв.

И Царенко поднял трубу, поводя ею, как живым голосом с востока на юг, на запад и на север.

Когда народ сбежался со всего котлована, Косачёв крикнул сквозь летящий снег:

— Товарищи! Объявляю вам всеобщую нашу победу: Пятьсот тысяч кубометров втоптано!.. Есть! Есть, несмотря на страхи и препятствия, какие перед нами расписывали. Что задумали, то и сделали. Пусть всем чертям будет тошно! И дальше так будем делать. Не отступим ни в чём!..

Внизу, в пурге, густо, вразнобой вспыхнули весёлые шумные крики. Крики перекинулись на бычки, на плотину, в котлован гидростанции, на правый берег, на левый, в шлюзовые камеры. Человеческие голоса заглушили бой волн и ветра.

— А теперь играй поход! — примазал Косачёв. — Надо до вечера поработать.

И труба затрепетала быстро, крылато, боевым маршем разносясь над людьми, черневшими за летучим снегом.

День этот был исключительным торжеством для днепростроевцев. Осуществилось необычайное, героическое.

— Вот тебе и комсомольский крик! Видал такой крик, индюшачья душа? Видал? На, получай чистоганом, на совесть! Ах, громом тебя расшиби, что ляпнул!..— смеялся Зернов, вспоминая тех, кто сомневался в успехе.

Ему казалось, что дни тревог, дни тяжёлых неудач и колебаний были уже позади.

Вечером партийцы, комсомольцы, инженеры, техники, десятники, рабочие, лучшие ударники, строительства, все те, кто вынес на своих плечах огромный груз встречного плана, собрались в большом новом доме общественных организаций. Жужжанье говора наполнило многооконный зал. Пахло свежей краской, лаком, воском, извёсткой, тем будоражащим, обещающим запахом, какой бывает в новых, сухих, хорошо отделанных, ещё не обжитых домах. Принарядившиеся девушки сидели справа, у стены, рядом. с Костей Макаренко. Сбоку от них, за окнами, в синей темноте сумерек шёл снег. Зал радостно гудел, и свет в высоких люстрах, с молочно-белыми шарами абажуров, казался воздушным сиянием.

Косачёв, волнуясь, открыл собрание:

— Мы ждали этого часа — и вот он настал! Кто скажет теперь, что наша идея была неправильна?

Вихри рукоплесканий взлетели ему в ответ.

Говорили бетонщики, бетонщицы, плотники, машинисты. Они были похожи на счастливых победителей, собравшихся в своей семье после трудных походов и битв. Костя Макаренко, Пересада, Лукийка, Семён Волошко, Птициан Кавказец, Махоткин, Хабибулла Мухтаров,— все хотели высказать переполнявшие их чувства.

Вдруг попросил слова Тихменёв.- Он никогда не выступал с речами. Зал невольно притих.



— Я должен покаяться, товарищи...— начал Тихменёв, и мгновенная бледность покрыла его красивое мужественное лицо.— Я принадлежал к числу неверующих... Мне казалось невозможным уложить пятьсот тысяч кубометров. И я жил с этим неверием. Сомнения не покидали меня всё время. Ваша работа уничтожила мои колеблющиеся мысли. Сейчас я вижу, каких изумительных результатов может достигнуть строительство под руководством партии. Мы, инженеры, одни никогда не сумели бы сделать того, что сделали вместе с вами. Совесть моя заставляет меня сказать вам об этом.

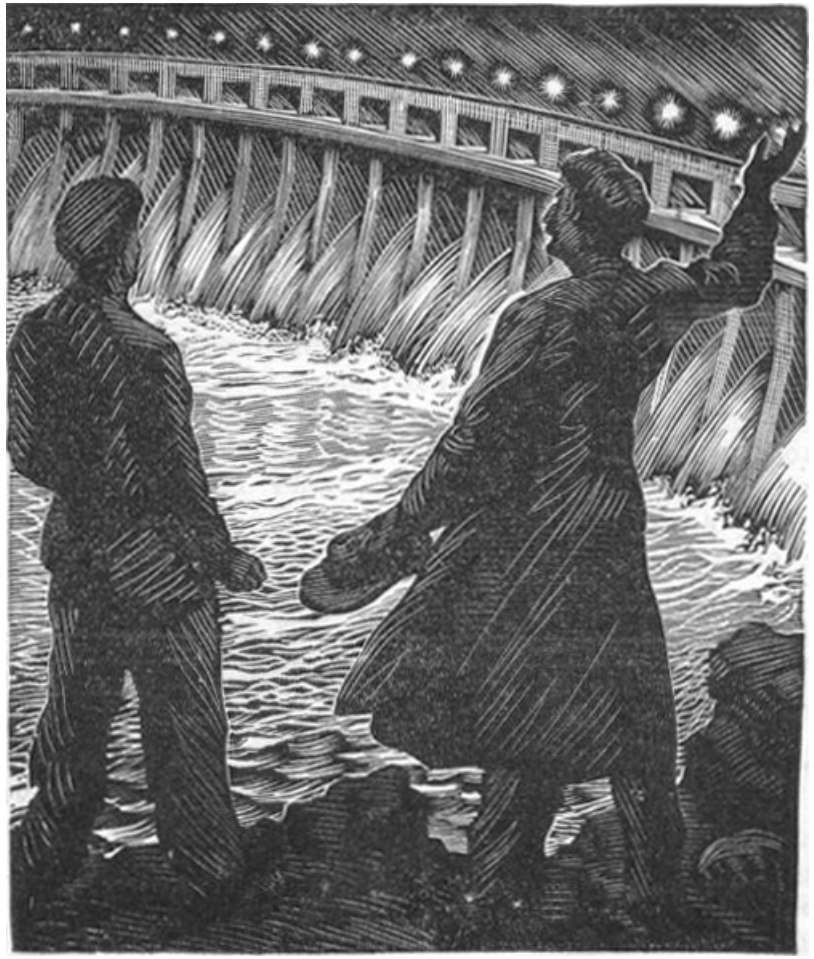
Зал, как костёр на ветру,- затрещал, зашумел внезапным гулом. Бесчисленный плеск ладоней перешёл в грохот, в гром, в бурю. Дружеские улыбки озарили лица сотен людей. Тихменёв сошёл с трибуны, взволнованный, смущённый, с пылающими щёками. К нему подбежала Лукийка и порывисто схватила его за руки.

— Евгений Сергеевич, милый! Дорогой!.. Мы будем работать ещё лучше. Вот увидите!..

Большие синие глаза Тихменёва улыбнулись. Он не сразу понял то, что ему говорила Лукийка, что кричали десятки других голосов.

К концу вечера из Нью-Йорка пришла телеграмма от Купера. Извещённый Гаррисоном, он поздравлял днепростроевцев с беспримерным успехом. Приветствие человека, ещё недавно говорившего о полной невозможности выполнить встречный план, было принято с особым удовлетворением.

Потом заиграла музыка, и все двинулись к выходу.



# ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

## 1

а зиму предполагалось закрыть шесть пролётов. Однако первые же попытки показали, насколько трудна была эта задача. Работать приходилось в ледяной воде, грудь с грудью против Днепра. Бычки, как циклопические столбы, поднимались высоко вверх. Внизу, через открытые пролёты, свободно шла вода. Надо было в каждом пролёте запереть с шандором и за его прикрытием вести кладку бетона. Сила реки, ветров и морозов опрокидывала, ломала человеческие старания.

Первый шандор устанавливали целый месяц. Он представлял собою четырёхугольную стальную раму, шириной в пролёт, и был разделён на восемь ячеек. Задача заключалась в том, чтобы в каждую ячейку вставить в воде бетонную плиту, подобную глухому, непроницаемому щиту. Вода била в руки, в грудь, в глаза. Плиту надо было вставить, закрепить и заделать самым тщательным образом, чтобы нигде не осталось ни малейшей щели. Вставлять бетонные плиты в стальной каркас на берегу или на плотине было нельзя, потому что собранный широкий шандор из-за напора воды не представлялось возможным опустить на место.

Деревянная опалубка блоков, которую делали в пролётах Ивась и Махоткин, постоянно обмерзала: на ней нарастали тяжёлые груды жёлтого льда. Ивась едва успевал скалывать, сбивать наросты. Вода сочилась отовсюду. Водолазы всеми способами старались заделать щели. Плотники им помогали. Ивась спешил; хватал доски,

брусья, паклю, мёрз — и снова хватал, что было необходимо, отдавал всего себя трудному делу. Гуржеев посылал его на самые опасные работы, и он с готовностью, не задумываясь, шёл куда угодно. Недалеко от закрываемого пролёта стояла теплушка, в которой непрерывно топилась железная печь. Плотники, водолазы и такелажники грелись и сушились около этого «неугасимого» казанка, чтобы, отогревшись, снова лезть в зимнюю воду.

В феврале начались метели. Снег летел вихрями, степь гудела и шипела, за десять шагов ничего не было видно. Десятого февраля пришла телеграмма, что за станцией Царёвоконстантиновкой застряли в снежных заносах три поезда с нефтью для тепловой электрической станции. Запасы нефти подходили к концу. Остановка электрической станции была бы для строительства бедствием — свет, компрессорная, водонапорная башня, жёсткие и вантовые деррики,— всё зависело от станции. Косачёв по поручению партийного комитета немедленно собрал для расчистки пути три бригады комсомольцев.

Комсомольцы по льду перешли на левый берег. Там им выдали дублёные кожушки, шапки, валенки, рукавицы, железные и деревянные лопаты. Все три бригады насчитывали шестьдесят семь человек. За старшего у них был Костя Макаренко. Костя попросил придать к экспедиция Пересаду с гармонью.

— Тонко придумано! Берите Пересаду,— согласился Косачёв. — С музыкой и рукам и душе легче.

Пенье и свист огласили дорогу до Шлюзовой. Пересада заиграл гопака. Удаль, задор, сила зазвенели на морозе.

Поезд, в который сели комсомольцы, состоял только из двух вагонов и паровоза. Паровоз дал гудок и пошёл в белый холмистый простор. Ехали около шести часов. Степь со всех сторон лежала в глубоком снегу. Впереди с натугой пыхтел снегоочиститель. Крепчал мороз, ветер уже утих, небо было зеленовато-голубое, как лёд.

В Царёвоконстантиновку приехали в сумерки. Оказалось, что составы застряли в восьми километрах от станции. Пришлось ехать дальше. Впереди опять пустили снегоочиститель, Он шёл с трудом, выбиваясь из сил, сипя; поминутно буксуя. Наконец колёса его глухо зарылись



в высокий сугроб и остановились. Комсомольцы выскочили из вагонов прямо в глубокие наметы. Кругом синела пустынная равнина. Над снегом возвышались продолговатые бугры, — это были цилиндрические цистерны с нефтью, занесённые двухдневной вьюгой. В каждом составе по накладным числилось по тридцати цистерн.

Первого состава не было видно совсем: его замело так, что он казался холмом. К ночи стало теплее и опять потянуло из-за горизонта ветром.

Бригады с обеих сторон начали разгребать снег. На кольях, воткнутых прямо в сугробы, мигали железнодорожные керосиновые фонари. К полночи ветер усилился и неожиданно крупными хлопьями повалил снег, залепляя шапки, рукавицы, глаза, щёки.

— Вот снег! Как из рукава!— крикнул кто-то.

— Это чорт на нас рассердился.

— Пусть сердится, не поддадимся!

— А ну, давай чертяке назло! Кто кого переборет? Костя Макаренко чувствовал себя командиром наступающей части. Пересада резал широкой лопатой снег и откидывал его с такой лёгкостью, будто это ничего ему не стоило. Но шапка его взмокла от пота. За фонарями бесновалась кромешная тьма. Комсомольцы работали, ни на минуту не останавливаясь. В час ночи со станции пришёл паровоз и увёл первые откопанные цистерны.

К двум часам ночи передний состав полностью был выведен к Царёвоконстантиновке, на расчищенный снегоочистителем путь. К рассвету отгребли и второй состав. К этому времени из окрестных сёл собрались с лопатами колхозники. Комсомольцы оставили им третий состав, а сами сели в свои вагоны, чтобы ехать домой. Со станции они принесли в жестяных чайниках кипятку. Костя роздал хлеб и по куску сахара на брата.

Более счастливого и беззаботного чаепития, чем в это утро, никто не помнил в своей жизни. Пересада заиграл вальс «Невозвратное время». Сон смыкал ему веки, всё зыбко плыло, качалось перед глазами. Минут через пять он отложил гармонь и заснул, как камень. Заснули и остальные. Костя смотрел некоторое время в окно на играющих в поле галок, потом смутно улыбнулся и тоже лёг спать. Впереди меж снегами шли два длинных могучих поезда.

На платформах тяжело плыли огромные цистерны. А за ними следовал паровоз с двумя вагонами спящих комсомольцев.

Когда все три маршрута подошли к Шлюзовой, на перроне вспыхнул звонкими трубами духовой оркестр, вышедший для встречи. Тут стояли комсомольцы и комсомолки. Рядом с ними хлопало на ветру красное знамя. Встречавшие ждали, что оба последних вагона будут полны песен и весёлого топота ног. Но вагоны приблизились безмолвными и подозрительно тихими.

— Эй, вы, соколы — сонные перья! Что вас, ветром повалило или косой скосило!..— крикнул, ворвавшись в первый вагон, Витька Савичев.— Мы вам тут марш играем, а вы спите, будто лошадей на ярмарке продали!..

— Пусть ещё поиграют немножко. Мы сейчас!— смущённо пробормотал Костя, вскакивая.— Хлопцы! Девчата за нами пришли. Живо!

Шум, суета, торопливая возня поднялись в вагонах. Скоро все высыпали на перрон и с песнями пошли к дому общественных организаций.

Зима продолжала цепко держаться. Морозам и вьюгам не было конца. Плотники и водолазы бились в пролётах с шандорами, поминутно борясь с водой, как с неодолимым врагом. Но, несмотря на все усилия, до наступления половодья им удалось закрыть только один пролёт — между тридцать девятым и сороковым бычками.

Половодье пришло грозной силой. Глубокие снега начали быстро таять, оседать, затоплять бурными ручьями балки, байраки, луга, и река поднялась до необыкновенной высоты. Бесчисленные притоки шумели по степи день и ночь. Вода катастрофически прибывала. Днепр вышел из берегов, разлился вширь на целые километры, окружил морем многие хутора и сёла, стоявшие в низинах. Подобного половодья по отметкам водомерных постов не было на протяжении восьмидесяти шести лет. Только прабабка Кости Макаренко помнила тот давний разлив, когда река взбесилась и напала на клуни и хаты, не щадя никого и ничего.

— Днипро лютый, Костику,— говорила она.— Це ж



богатырь, краса наша. У-у, скильки людей загубив вин! Може, и сам бог не знае...

Сокрушительная сила воды била в бычки, в фундамент гидростанции, в стены шлюзовых камер. Устрашающий шум стоял над Днепром. Казалось, всё будет сломано, смыто, снесено до основания. Но человеческие сооружения среди бушующей стихии стояли незыблемо. Только высокую башню геодезистов, служившую геометрическим центром плотинной дуги, сорвало напором половодья.

— Эх, подводники прошляпили! — сердились геодезисты.— А ещё хвастались! Заторопились, засуетились, сдали. А теперь хоть плачь!..

— Основание слабо выложили. Разве такое основание против Днепра годится!

— Вот и вывернуло.

— Пропал наш центр!..

Башню повалило, как сноп. Геодезисты остались без самого важного пункта для наблюдений.

## II

Едва начала спадать вода, снова построили для геодезистов башню, но уже не в реке, а на Дубовом острове. Эта боковая точка не являлась геометрическим центром плотинной дуги, она была условной. Геодезистам пришлось посредством тригонометрических вычислений составить огромные таблицы поправок, позволяющие пользоваться наводками секундников с вспомогательного центра. Геодезисты делали засечки условных осей на бычках, находили теоретические углы, после чего из сложных формул выводили истинные оси. Это была адская работа. Закрытие гребёнки началось сейчас же, как только прошло половодье. Плотина всё время разделялась на два участка: правый и левый. Бетон доставлялся по ряжевым деревянным мостам. Бычки на левом берегу были уже доведены до отметки «пятьдесят метров». На них лежал железнодорожный путь, по которому ходили поезда с бетоном и краны, с правой же стороны бычки возвышались только до отметки «тридцать с половиною метров», что создавало разрыв между берегами.

— Константин Александрович, вы нас режете без

ножа, — говорил Гуржеев Сухонину.— Поднимайте бычки скорее, догоняйте наш берег. Установим сквозное сообщение. Тогда — только давай!

— Птицы небесные! Поднажать надо, — волновался Махоткин.

Бычки вырастали всё выше. Гуржеев отдал часть своих бригад Сухонину. Днепр под бычками казался водяной бездной, клубящейся в глубине каменного ущелья. Когда бетон в блоках схватывался, начинали снимать фермы. Слесари, работавшие рядом с плотниками группами по шесть человек, успевали справиться за смену только с одной фермой. Баганча, взяв себе в напарники Махоткина, вызвался производить съёмку вдвоём.

— С пупа сдёрнешь, против шестерых бороться! — обидчиво заявили слесари.— Был у нас в мастерских один такой, умный на голову,— грыжу нажил себе.

— А мы полегоньку, не зря.

— Самого себя не жалко, ты бы хоть этого рыжебородого лешего пожалел!

— Давай спускайся, не слушай их,— сказал Ивась. Махоткин, прищурившись, рассмеялся слесарям в лицо:

— Бороде моей завидуете, ребята? Борода золотая, не потаю.

Ивась и Махоткин повели работу с таким успехом, что тратили на каждую ферму не больше четырёх часов. Ты что, слесарей на буксир взял? — спросил однажды Семён Волошко.

Баганча усмехнулся:

— Да вот потяну немножко. А то их гордость одолела.

— Вдвоём шестерых забиваешь?

— Пусть учатся.

— Ловко!

— Это у меня Махоткин орёл. Без Махоткина я против них не выстоял бы.

— Факт! — подтвердил Махоткин и загадочно усмехнулся.

Так получалось с каждой работой, за какую брался Баганча. Правда, он был силён и ловок, но многим казалось, что он знает какой-то особый секрет, который неизменно приносит ему удачу. А секрет заключался только в уверенности,



в сообразительности, в постоянной внутренней собранности, а главное в любви к работе. Баганча ничего не делал равнодушно, лишь бы сбыть с рук, с холодком. Он увлекался каждой работой.

На распалубку блоков Гуржеев посылал опытных плотников.

Были пары, которые снимали за смену по семь щитов. Баганча с Махоткиным никогда не давал меньше десяти-двенадцати — и притом неповреждённых, годных для новой опалубки.

— Поди, потягайся с ним! — завистливо удивлялись плотники.

Каждый день у Баганчи был полок волнения. Чтобы не возиться с люльками, в которых рабочих спускали над стремниной реки, он лез вниз прямо по дюймовой верёвке. Соблюдая правила, приходилось брать с собой предохранительные пояса. Но когда тут привязываться? Баганче было не до пояса, время горело, как лента на огне, — он спешил изо всех сил.

Однажды, вися внизу между бычками, он услышал над собой неистовый крик. Кто-то перепугано орал с перил на плотине. Баганча наставил ухо и по голосу узнал инспектора труда.

— Вылезай сейчас же! Вылезай сию минуту, а то в партийный комитет пожалуюсь. Сколько раз говорили: без поясов не спускаться! Если ты не слушаешься, как же другие будут слушаться? Ведь по тебе пример берут.

— Ладно, ладно, — успокоительно помахал рукой Баганча. — Не волнуйся.

Пришлось привязаться.

На головокружительной высоте в блоках ставили щиты. Кран подавал стрелой доски. Связанные проволокой, они опускались вверху, точно шли с неба. Их надо было поймать и приживить к блоку гвоздями. Для прочности щиты скреплялись железными тяжами, причём тяжи натягивались на весу, над пучиной. Эта работа была очень опасна. То, что другие плотники делали за смену вчетвером, Баганча с комсомольцем Чирковым, которого он взял в обучение, выполнял за шесть часов вдвоём. Он ставил в блоках по двадцать пять и по тридцать тяжей, тогда как другие едва успевали поставить двенадцать-тринадцать.

При бетонировке бывали случаи, когда железные тяжи от распирающей силы бетона лопались и опалубка начинала расползаться. Эймер, который вместе с Холлом следил за кладкой бетона, немедленно останавливал работу и закрывал блок.

— Вызовите Баганчу. Скорей! — приказывал Гуржеев. Ивась прибегал с Чирковым, как на пожар.

— Опять железо лопнуло, дорогой. Идите, заделайте, да поторопитесь, пока бетон не схватился.

— Исправим! Отожмём! Не беспокойтесь, Степан Андреевич.

Ловкой хваткой в течение каких-нибудь двадцати — тридцати минут Баганча стягивал, закреплял блок, геодезист проверял углы, а стоявший сбоку и заглядывавший со всех сторон Эймер только удовлетворённо покачивал головой.

— Файн джоб, мистер Баганча! Хорош. Идёт. Можно продолжать.

Один раз Ивасю пришлось откручивать на сорок шестом *бычке* щитовые болты. Против своего обыкновения он привязался к бычку верёвкой, чтобы внушить Чиркову, что именно так всегда и надо поступать при работах на весу.

Вдруг щит подался, отскочил от бетона и, переворачиваясь, как картонка, полетел вниз. Ивась остался висеть на верёвке, а щит с грохотом разбился о скалы.

— Эй! Человек повис! — закричал побелевший от страха Чирков и побежал по настилу искать десятника. — Человек упадёт.

Надо было немедленно найти свободный паровозный кран, пригнать к бычку, поднять Баганчу. Витька Савичев был ближе всех со своим краном, он подавал вниз арматуру.

— Скорей, скорей! — всполошённо кричал Чирков. Но Витька должен был довезти арматуру до блока, дождаться, пока отцепят груз, и лишь тогда поднимать стрелу и ехать на помощь.

Между тем Баганча висел над пенистыми гривами между небом и водой. Ветер раскачивал его, как маятник, верёвка крутилась то вправо, то влево. Такелажник Чирков вместе с прибежавшим десятником стали привязывать к стреле люльку.



— Да не суетитесь вы, черти! — крикнул им Ивась.

Стрела опустила люльку вниз, такелажник подвёл её под верёвку. Баганча цепко перебрался в лоток люльки, и кран вынес его на плотину.

— Ну, Витька, спасибо!— крикнул он Савичеву.

А на следующий день на сороковом бычке такелажник другого крана вместо, «майна» показал пальцами «вира» – и стрела вымахнула Баганчу верхом на щите в воздух, метров на пять выше плотины.

Некоторые испытывали слабость, растерянность, тошноту от высоты. Вятские плотники, бородачи, домоделы, глядя, как Баганча лезет на распалубку блоков, со страхом, кричали:

— Воротись, парень! Сверзишься ведь, лешачья твоя душа!..

— Вот ещё! Нема дурных, папаша,— беспечно смеялся в ответ Ивась.

— Не хвались, Костей не соберёшь. Смотреть на тебя душа замирает,

— А ты зажмурься.

На слёте ударников, когда говорили об ускорении работ, Баганча вышел на трибуну и сказал:

— Иной старается, заботится, как лучше, скорей сделать. Того клещами с плотины не отдерёшь. И таких большинство, почти вся молодёжь. Но попадаются и хитрые людишки, вы их сами хорошо видите. Отлынивают со всех участков, ловчатся от работы ускользнуть. Какие это есть граждане, я вас спрашиваю? Пойдёт воды напиться, — назад не дождёшься. Скажется в уборную,— застрянет часа на два. Возьмётся за топор,— ковыряет, жуёт, елозит, только дерево мучит. Тьфу, ты, лапша мочёная! У меня сердце переворачивается, лопнуть готово. Если не так делают, гоню! Гоню, товарищи, это я сознаюсь при всём народе. И буду гнать,— судите меня, как хотите!

— Це правда! — дружно отозвались в .зале.—Есть такие лодыри — ходять, як верблюд за горобцами.

— З них корысти, як з чорта смальцю!

Баганча был горяч, нетерпелив. Молодым плотникам, работавшим под его началом, он говорил в бараке:

— Главное — знать и чувствовать всё время, для чего строим, куда жизнь повернули. И опять скажу —

смелость! Без смелости в человеке силы нет. И ещё правило: никаких шуток между собой не допускать. Лезу не по верёвке, по смерти лезу. Пошутить можно на твёрдом месте, на берегу. А над водой напарник на напарника должен надеяться, как на самого себя. Верёвку завязал,— значит, вмёртвую завязал, скорей порвётся, а не развяжется. Доску прибил,— значит, прибил на совесть, не бойся, не пробуй, становись сразу твёрдой ногой, как на землю.

Правобережные бычки росли с каждым днём, но только к концу июля они достигли той же высоты, что и левобережные. Тогда начали строить мост через огромный водоём, расположенный перед турбинным отделением, чтобы соединить непрерывной железнодорожной линией оба берега. Водоём представлял собой защищённую со всех сторон аванкамеру, откуда вода должна была падать в улитки турбин, в грандиозные подземные стальные крылья, рождающие механическую энергию, которая при помощи генераторов должна была непрерывно превращаться в энергию электрическую. Железнодорожный путь в это время нужен был для срочной подачи бетона с правого берега на левый.

В степи на промышленных площадках возводились корпуса алюминиевого завода и Запорожстали. Бетон шёл туда в таком количестве, что один левобережный завод не в состоянии был дать столько, сколько требовали строители. Тихменёв распорядился организовать доставку бетона из правобережного бетонного завода, и Гуржеев поручил Баганче все деревянные работы по постройке моста.

Баганча весь день после разговора с Гуржеевым чувствовал себя счастливым.

Работа требовала напряжения всех душевных сил. Сооружение моста шло тяжело. Баганча снова позвал Махоткина, и вдвоём они составили несколько плотничных бригад, которые тотчас же принялись готовить всё, что необходимо было для мостовиков.

Дули жаркие, пыльные суховеи. Они начинались с раннего утра и свистели в опалубках и в арматурных тростниках до самого заката. Ветры мешали работать. Однажды сильным порывом ветра сорвало мостовую ферму. Ферма, сверкнув в воздухе, с грохотом упала на



пустое дно аванкамеры, где ещё не было воды. На дне работали бурильщики Петренко и Хачапуридзе. Они остались живы каким-то чудом: ферма разбилась в трёх-четырёх метрах от них. Петренко посерел, как холст. Он вынул кисет, трясущимися пальцами скрутил цыгарку и закурил. Хачапуридзе был сбит вихрем воздуха на камни. Поднявшись, он минуту стоял, как пьяный, потом, точно во сне, взялся за перфоратор, но долго не мог начать бурить.

Подача леса, железных балок, арматуры, бетона, гранита,— всё затруднялось и осложнялось бешеными ветрами, которые качали из стороны в сторону связки материалов и готовы были сбить в пропасть даже самых цепких рабочих.

## III

Закрытие пролётов измучило Гуржеева. Несмотря на тщательность пригонки шандоров, вода упорно находила щели. Когда в пролёт опускали металлический каркас, вниз страшно было смотреть, — с такой силой била вода. В кипучую жёлтую глубину сейчас же уходил Воронков. Подводный порог пролёта всегда оказывался затянутым слоем песка, часто до метра толщиной. Этот песок надо было немедленно удалить, чтобы шандор стал на чистый бетон. Если порог не очистить, здесь мог во время бетонировки появиться внезапный просос и наделать немало бед.

Как только нижняя поверхность пролёта очищалась и шандор вплотную примыкал к порогу, Воронков, Легейда и Аниканов по очереди начинали забивать щели. Они крутили из пакли толстые косы, так называемые «колбасы», и затыкали ими каждое замеченное отверстие.

— На этих затычках, пропади они пропадом, хуже умаешься, чем на дне, — жаловался Аниканов.

— Тут вода дуже злая, — соглашался Легейда. — Ножом режет, прямо пальцы точит. Змеиная вода. Недаром гадюк видимо-невидимо на островах водилось.

С верховой стороны, от Кичкаса, устанавливали металлические шандоры, с низовой, от Хортицы, — деревянные. И тут, на деревянных шандорах, Баганча ещё раз показал себя. В нём проявилось столько выносливости, столько упорства, что Гуржеев почувствовал

к нему нежность и заботливость, как к младшему брату. Однажды, когда все ушли в столовую обедать, Ивась остался на бычке. Он развернул газетный свёрток и принялся торопливо есть. Проходя мимо, Гуржеев невольно заглянул под загнутую бумагу. В газете лежал только чёрный хлеб. Но Ивась так вкусно, так аппетитно отрезал перочинным ножом маленькие кусочки, что Гуржеев не удержался и сказал:

— Ну и обед у вас!

— Замечательный!..— ответил Баганча и смущённо улыбнулся.

Борьба с водой шла на каждом шагу. Водолазы и плотники работали в пролётах круглые сутки. Установка каждого шандора была подобна бою. И Баганча приходил домой в крайней усталости, с шумом крови в руках, в ногах, в висках. Он засыпал моментально.

И так шли недели.

По мере закрытия пролётов вода перед плотиной неизменно прибывала. Тихменёв боялся, что, когда уровень её поднимется до крыш Кичкаса, не будут ещё готовы мосты через Новый и Старый Днепр. Железнодорожная магистраль должна была пройти от Запорожья через остров Хортицу и через оба речных рукава на Кривой Рог, чтобы связать Запорожсталь с рудниками, с богатейшими месторождениями железа. Магистраль была уже готова. Задерживали только мосты.

До повышения уровня Днепра надо было успеть разобрать старый Кичкасский мост у Волчьего Горла. Если этого не сделать, мост пришлось бы взорвать и опустить на дно озера, которое образуется после закрытия гребёнки. Но на потерю весьма ценной стали никто пойти не мог. Мост надо было во что бы то ни стало расклепать, разобрать на части, чтобы использовать потом где-нибудь в другом месте.

Сталь, для новых мостов отлили и прокатали на своих прокатных станах Витковицкие заводы в Чехословакии. Сталь получилась образцовой. Часть металла была склёпана в элементы Витковицами, часть – Днепропетровским металлургическим заводом. Сборку моста через Старый Днепр вели чехи, мост через Новый Днепр собирали русские и украинские рабочие.



Чехи прислали лучших своих мастеров. У них была старая выучка, честная добросовестность и суровая пунктуальность в труде. Между ними и советскими рабочими всё время шло соревнование. Мост против моста гордился своими успехами. Тихменёв ещё заранее, за несколько месяцев до сборки мостов, подготовил в центральных механических мастерских кадры великолепных механиков, слесарей и клепальщиков. Они старались ни в чём не уступить чехам. Даже больше: им хотелось превзойти чехов. Бригады клепальщиков состояли почти исключительно из комсомольцев. Эти комсомольцы скоро прославились на всё строительство блестящей чистотой клёпки и своим бесстрашием на высотах.

Купер в моторной лодке часто подъезжал к мостовым устоям. Он пристально следил за механиками, за слесарями, за клепальщиками. Старческие веки его собирались мелкими морщинами, жёлтые глаза остро поблёскивали, ему хотелось к чему-нибудь придраться, указать на промахи, поучить. Но всё шло так дружно, так горячо и по-деловому чётко, точно перед ним была работа пчёл в раскрытом улье. Именно эта жаркая целеустремлённость движений и эта азартная, наполненная внутренним огнём молчаливость каждого мастера действовали на него сильнее всего.

Он с завистью говорил переводчику:

— Кто получит диплом на Днепрострое, тот будет ценным и желательным работником везде. Я сам взял бы многих в Америку.

Полуарки мостов собирались на берегу и подводились потом на баржах. Белые тесовые баржи плавно переходили с места на место, как старинные многовёсельные корабли. На лайбах стояли мощные деррики. Когда подняли гигантские мостовые фермы и начали их на весу смыкать, многие со страхом думали: «А вдруг не сойдутся? А вдруг математические расчёты инженеров окажутся неверными, цифры разлетятся в прах и конструкции повиснут над рекой дикими рогами?..» Но арки сошлись с изумительной точностью и стройностью. Это была заслуга геодезистов, давших идеальную разбивку для мостовых устоев.

— По-настоящему, Леонид Николаевич, ваше имя надо бы высечь, на одном из гранитных бычков, рядом

с именем архитектора моста, — сказал Тихменёв Нестерову. — Вы можете гордиться и радоваться.

Трёхарочный мост через Новый Днепр и одноарочный через Старый величественно выросли над рекой. Приезжавшие на строительство иностранцы причисляли их к красивейшим мостам Европы. Каждый мост имел два яруса: по верхнему шёл двухколейный железнодорожный путь, по нижнему — широкая асфальтовая дорога для автомобилей и экипажей, с двумя тротуарами по бокам для пешеходов. Стальные мостовые арки по изяществу и лёгкости рисунка были подобны чёрным радугам, вставшим над синью Днепра.

Шестого ноября тысяча девятьсот тридцать первого года, накануне четырнадцатой годовщины Октябрьской революции, мосты были очищены от строительного мусора. Тихменёв приказал подать пробный поезд, гружённый камнем, с одним классным вагоном впереди. Он позвонил Гуржееву, Нестерову, Сухонину.

— Приходите немедленно. Поедем на испытание мостов. Прибыла правительственная комиссия.

К зданию управления мягко подкатили синие автомобили. В одном из них были представители Наркомата путей сообщения. Через пятнадцать минут автомобили помчались к поезду. Посёлки украшались красными флагами, электрическими лампочками, лозунгами. Огромный поезд с серо-сизым гранитом стоял под парами.

Тихменёв вошёл в вагон первый. За ним поднялись инженеры.

Кондуктор почтительно ждал сигнала.

— Давайте, — сделал знак Тихменёв.

Кондуктор с подножки пронзительно свистнул, помахал зелёным флажком. Паровоз дал гудок, поезд дрогнул и пошёл. Скоро под колёсами послышался густой, просторный гул. Сбоку мелькнула арка. Поплыл серый, выложенный из бетона парапет, ограждающий пешеходный тротуар. Поезд катился, как по звенящему, литому столу. Парапет плыл нескончаемой лентой, а за ним густым индиговым тоном синел осенний Днепр. Потом звук заглох, — началась Хортица. Через несколько минут под колёсами опять просторно загудел второй мост — трёхарочный, ещё более длинный.



— Вот это сделано! — сказал Гуржеев. — Рельсы поют, как струны контрабаса. А?..

Тихменёв смотрел на мелькающие арки.

К вечеру на новую линию было переведено всё железнодорожное сообщение, и одновременно началась разборка старого Кичкасского моста у Волчьего Горла.

## IV

Паровозы день и ночь подвозили с новой степной станции и с речной пристани оборудование, громоздкие ящики с выкрашенными яркой киноварью деталями, с заколоченными в тесовые футляры чудовищными секциями турбин и генераторов. Оборудование поступало на океанских пароходах в Николаев и в Херсон. Из Николаева оно отправлялось поездами, из Херсона плыло на гончаках и шаландах вверх по Днепру. Монтаж гидростанции шёл полным ходом, безостановочная последовательность работ была рассчитана инженерами-монтажниками по минутам, опозданий здесь никто не мог себе представить. Всякое опоздание в монтаже для его участников было бы так же страшно, как опоздание в восходе солнца.

Транспортным диспетчером на строительстве был Патрушев, человек, обладавший какой-то неутомимой, фантастической энергией. Он никому не давал покоя, если ему нужно было перевезти груз спешно.

— Раз я к этому делу приставлен, должен я ему служить, как солдат, — говорил он начальнику паровозного депо.

— Да ведь ты присяги не принимал?

— Как не принимал? Принимал.

— Когда?

— Я, может, и в партию присягну, а ты будешь спрашивать: когда? Сказано, — значит присяга есть!

Однажды среди ночи Патрушев торопливо вошёл в квартиру заведующего экспедицией — Чепиги.

— Чепига, друг, где ты тут? Вставай, надевай сапоги! — начал он будить его. — Платформы нужны, браток. Протирай глаза, Фёдор Кузьмич, паровоз давай. К утру уйму частей на гидростанцию доставить требуют.

— Нет у меня платформ, — не поднимая головы, пробурчал

Чепига и посмотрел на Патрушева, как на злейшего своего врага.

— Как нет?

—- Очень просто. Ни платформ, ни паровозов, ничего нет.

— Как же ты спишь, раз такое дело получается?

— Потому и сплю, что достать не могу.

— Здорово!

Патрушев работал раньше комендантом камнедробильного завода, под начальством Загоруйко. Преодолевать затруднения с платформами и паровозами он научился ещё там. Оглядев не совсем проснувшегося Чепигу, он решительно заявил:

— Спать тут некогда, товарищ. Давай, вставай, ищи.

— Что ты пристал ко мне? Смола!

— Смола — не смола, а поднимайся.

— Где я тебе ночью платформы возьму? Головой ты подумал? Только людей зря булгачишь. Суетун чортов...

— А если главный инженер прикажет?

Чепига рассердился.

— Какие главные инженеры в три часа ночи могут распоряжаться? Что ты, очумел?

— Ну, ладно! — угрожающе заявил Патрушев,— Спором тебя не проймёшь.

Он круто повернулся и шагнул к столу, на котором стоял телефон.

— Вот чумовой! — в изумлении пробормотал Чепига. Патрушев снял с рычажка телефонную трубку и отчётливо сказал в ночь:

— Дайте квартиру профессора Тихменёва. Да, да, главного инженера.

Была минута молчания. Потом из ночи послышался голос.

Тихменёв спросил, кто говорит и в чём дело. Патрушев объяснил. Тихменёв велел передать трубку Чепиге. Чепига в одном белье почтительно встал у телефона.

— Фёдор Кузьмич, что случилось? — спросил Тихменёв.

— Все в разгоне... в ремонте, Евгений Сергеевич… Депо пустое.

— Это вы говорите?

— Да ведь куда денешься! Виноват…



— Немедленно, без всяких отговорок, соберите платформы, слышите? Подавайте сейчас же, чтобы грузчики не ждали.

— Слушаюсь.

Когда, опустив глаза, Чепига положил трубку на рычажок, Патрушев укоризненно посмотрел на него и, тыкая пальцем в пол, сказал:

— Имей в виду, это не я, а ты человека потревожил. Если у тебя совесть есть, должен чувствовать.

Платформы и паровоз были найдены, части во-время доставлены, — и утром монтаж на гидростанции шёл, будто ночью никаких затруднений никто не знал.

## V

Профессор Николай Алексеевич Свечин, геолог, проработавший свыше пяти лет по исследованию прибрежных днепровских грунтов, тяжело заболел. В Косой балке между Сурским и Звонецким порогами его захватил холодный ливень. Ливень хлестал почти всю ночь. Свечин так промок и продрог, что, добравшись на рассвете к своей лагерной палатке весь в грязи и глине, целый день потом не мог согреться, К вечеру его уже знобило, и как-то опустошающе жарко и тупо начала болеть голова. Свечин лежал под брезентовым пологом походного куреня, иногда через силу выходил к костру, в обед пробовал есть кулеш. Но ему становилось всё хуже и хуже. Комсомольцы, работавшие с ним вместе, вызвали районного врача. Тот приехал, выслушал больного и озабоченно сказал:

— Надо вам, профессор, на строительство вернуться, в больнице полежать, отдохнуть.

— Я здесь скорее поправлюсь, — угрюмо возразил Свечин.

— Помилуйте! Какое же в палатке леченье? Нет, не спорьте, поезжайте.

Комсомольцам, ждавшим у подводы, врач тихо сказал:

— Воспаление лёгких, ребята. В шестьдесят семь лет это очень опасно. Вся грудь заложена. Сверху донизу оба лёгких, как в огне. Сейчас же отправляйте в больницу. Здесь он погибнет,

Гуржеев узнал о болезни Свечина в управлении. Тихменёв встревоженно говорил Сухонину:

— Главное, никого родных нет поблизости. А врачи признали положение очень серьёзным.

Сейчас же после работы Гуржеев пошёл в больницу. Свечина он привык ценить как бескорыстного труженика и учёного.

— Плох, очень плох, — сказал дежурный врач. — Вы не родственник? Нет? Сердце не выдержит. По-моему — никакой надежды.

Свечин лежал в отдельной палате, один среди белых стен, среди чистоты и мягкого света. Свет лился из огромного окна с забелёнными до половины стёклами.

Свечин не сразу узнал Гуржеева, не сразу понял, что его пришли навестить. Он лежал как бы придавленный неимоверной тяжестью, сквозь которую к нему не проникал мир.

— Что? Ко мне?.. С поля?.. — проговорил он слабым голосом, даже не взглянув на вошедшего.

— Это я, Николай Алексеевич, Гуржеев. Как вы себя чувствуете?

Тусклые глаза Свечина прояснились, наполнились радостью. По лицу скользнула тень улыбки.

— Ах, Степан Андреевич, как это хорошо! Как хорошо, дорогой мой, что вы пришли... — сказал он тихо и вдруг мучительно закашлялся.

Кашель был глухой, удушающий. От него судорожно билось всё тело, в груди что-то разрывалось, клокотало, шипело и снова разрывалось.

Успокоившись, вытерев суставом большого пальца выступившие на веках слёзы, Свечин продолжал:

— Вот, знаете, лежу, койку занимаю, людей беспокою, а надо бы работать. Там, на реке, у меня много недоделок. С притоками ещё не совсем кончено. Скважины бурить надо! Я ведь люблю всё сам проверить, всё своими глазами увидеть...

Дышать ему было трудно, нехватало воздуху, казалось, грудь была забита глухой горячей ватой и говорить приходилось через эту вату, напрягая все силы. Но Свечин, видимо, хотел высказаться, открыть что-то такое, чего ещё никому никогда не высказывал. Отдышавшись, он снова начал, но так медленно и вяло, будто чувства



его не участвовали в том, что заключалось и произносимых словах:

— Мысли жгут, Степан Андреевич... Слишком быстро, неуловимо проносятся. Многого не успеваю додумать до конца... И боюсь, что никогда уже не додумаю... Я очень люблю наш дом, нашу родину... Даже прошлое — и то дорого. Дорого иной раз до слёз...

Свечин тяжело, шумно вдыхал и выдыхал воздух.

— Колосс на глиняных ногах, как из сна Навухудоносора, — такой мне представлялась старая Россия, соломенная внизу и раззолоченная, сверкающая вверху. Россия была степной крестьянской империей, полной горя, бесправия и нищеты. Она лопнула, проколотая насквозь штыком солдата, который изнемог от войны... И мы растерялись... Да! Мы перестали чувствовать под ногами землю... Душа наша сжалась, как сморщенное зерно. А в это время вокруг вырастала новая страна, суровая, смелая, мужественная, какой ещё не видел мир. И вот она ждёт нас, ждёт требовательно и нетерпеливо. Ей нужен труд, нужны знания, честность, энергия...

Свечин задыхался от слов. Его замутнённый голос звучал глухо. И чем больше он говорил, тем больше возбуждался. Разгорячённые мысли сменяли одна другую, картины плыли перед ним беспорядочными потоками. Он вспомнил Святослава, убитого в этих местах печенегами, вспомнил недружных русских князей, съехавшихся семьсот лет назад на Хортице перед битвой на Калке. Вспомнил Петра Великого, пытавшегося выкорчевать пороги, десятки выдающихся людей, стремившихся сделать Днепр судоходным. Он вспомнил старика Головачёва, инженера-мечтателя, затравленного преуспевающими путейцами. И начал рассказывать, как умер Головачёв в Киеве от разрыва сердца и как страшно его хоронили. Перед гробом несли на бархатных чёрных подушках статьи и проекты Головачёва о Днепре, несли через весь Крещатик в окружении пылающих факелов, вместе с какими-то жалкими чиновничьими орденами, и ветер шелестел беззащитными страницами отвергнутых Министерством работ...

На Свечина опять навалился кашель.

— Николай Алексеевич, успокойтесь... — растерянно стал просить Гуржеев. — Нельзя так! Я уйду.

— Нет, нет... Не уходите! Не уходите... Воздуху нет! Дышать нечем.

Минуту он собирался с силами, потом заговорил снова:

— Мы сделали то, чего не сумели они. Я ходил по тем же местам, что и Джон Перри при Петре. То, чего не в состоянии был установить он, установил я. Мои комсомольцы разводили костры на тех же береговых холмах, что и беспокойный голландец Деволан. Сколько раз при свете этих костров или под шум ночного дождя я с гордостью думал о счастье строить, об исключительности нашей судьбы.

Несколько мгновений Свечин молчал, задыхаясь, ловя полураскрытым ртом воздух, затем с порывистой доверчивостью продолжал:

— А знаете, Степан Андреевич, в первые годы после революции бо-ольшая тень была у меня на сердце. Недоумение, обида ослепили меня. Железная поступь революции ошеломила мой мозг. Я многого не понимал, моё сознание не в силах было примирить происходящее с давно выношенными чувствами. Меня исцелила работа. Я с головой ушёл в геологические исследования, в практическое изучение недр по срочным, неотложным заданиям правительства. И, когда все дни и ночи заполнились горячей заботой, поисками, спешкой, я сам сделался большевиком. Да, да, теперь это можно сказать открыто! Зачем обходить молчанием то, что с нами, вернее, в нас, происходит? Быть может жить мне осталось всего несколько часов!.. Будем трезвы и мужественны. Правда есть правда. Поговорим, как строители, как люди, влюблённые в будущее. Настал день, когда я увидел неизбежность суровых мер, их жизненную закономерность. Я понял Петра Великого, его гениальную волю всех заставить трудиться, учиться, строить новую, сильную Россию. Важны лишь необычайные созидательные цели. Все раны, все боли, все прошлые страдания забываются человечеством.

Удушье оборвало голос Свечина. На лбу выступил холодный пот.

— Николай Алексеевич... — пытался остановить его Гуржеев.— Вам вредно волноваться! Пожалейте себя.



— А как же не волноваться?— упрямо перебил Свечин. Вопрос идёт о жизни, о будущем. Да, я знаю, мне не выкарабкаться. Нет! Конец. Всё, чего я не успел сделать, придётся делать другим. Мне страшно уходить в ничто, в мрак могилы. Мало, слишком мало я сделал! И уж не прибавлю, не увеличу, нет! Я не хочу исчезновения... Мне горько встречать смерть в пути, когда на строительстве столько ещё развороченного, недоконченного. Всё это валится на мою голову. Вы видите?.. Валится, валится, летит!.. Где же люди? Валится, душит, падает на грудь. Помогите!..

Свечин заметался по подушке. Он жадными, захлёбывающимися вздохами ловил, хватал воздух. Лицо его побагровело, посинело, остановившиеся глаза стали дикими.

— Доктора скорей! — умоляюще крикнул Гуржеев.

Дежурный врач поспешно вошёл в палату. Едва увидев задыхающегося Свечина, он на ходу крикнул:

— Камфору! Шприц.

Впрыснув камфору, он тут же распорядился.

— Кислород!

Сиделка в белом халате бесшумно скрылась за дверью.

Гуржеев вопросительно, со страхом посмотрел на дежурного.

— Я говорил вам: никакой надежды, — ответил тот едва слышно. — Я потому и разрешил вам проститься.

Гуржеев на цыпочках вышел из палаты. За стенами больницы был высокий осенний ветер, закатывалось солнце и, как всегда, со степи дул сухой ветер. Огненные облака над горизонтом стояли величавыми шатрами.

Ночью Свечин умер. Гроб с телом поставили на возвышении в зале летнего театра. Уже опадали листья с деревьев. Дикий виноград, посаженный вдоль стен театра, начал желтеть, розоветь, становиться багряным. Комсомольцы увили гроб красным кумачом, окружили цветами, кто-то принёс и поставил по углам гроба на полу четыре снопа высокой золотистой ржи, — стало казаться, что это поклонилась своему сыну земля.

Хоронили Свечина торжественно, на правом берегу, там, где, по словам археолога Шумейко, был некрополь неизвестного народа. Когда стали копать могилу, на глубине

двух метров наткнулись на слой белой глины, священной, по верованиям язычников. С правой стороны ямы лежал в глине, как в белом саване, длинный щирококостный скелет скифского воина. Около него валялись бронзовые наконечники истлевших очеретовых стрел, у бедра зеленел окислившийся широкий бронзовый меч.

Меч и стрелы взяли в музей, серый же костяк оставили лежать в покое там, куда его положили две или три тысячи лет назад. Рядом с костяком безвестного воина на белую чистую глину опустили Свечина. Над могилой насыпали невысокий холм и в середине его утвердили вытесанный каменоломами пятигранный обелиск из сизого крупнозернистого гранита, добытого со дна Днепра.

## VI

Закрытие гребёнки продолжалось с огромными трудностями. Вода сквозь каркасы яростно шипела, свистела, била фонтанами. Баганча заделывал щели брусьями из брёвен, — брусья для плотности прилегания плотники обматывали льняными и конопляными очёсами. Малейшее углубление между деревом и железом или между деревом и бетоном конопатили паклей, засыпали шлаком, навозом, песком. Один раз напором воды брёвна разорвало, и Ивась едва успел выкарабкаться на верхнюю раму каркаса. Он весь был мокр — с ног до головы.

— Ребята, давай другие брёвна! Эй, такелажник! Цепляй штук пять шестивершковых.

Кран поднёс брёвна. Плотники развязали тросы и, цепко держась за каркас, снова загородили щели. Но никто не был уверен, что сила реки не вышибет брёвна, как щепки, опять.

Среди этого непрерывного единоборства с водой обнаружилось новое препятствие, которого никак не ждали: задержалась цементация основания плотины.

Ход цементации был разработан Тихменёвым совместно с американцами. Цементация представляла собой пломбирование трещин в граните. Для этого по всему основанию плотины от одного конца до другого в определённом порядке бурились скважины. В скважины под высоким давлением нагнетался жидкий цемент. Цемент заполнял все поры трещин,



прочно схватывался, окаменевал, — и основание становилось монолитным. Впервые цементация была применена американцами при постройке плотин в Неваде и в Орегоне, и с тех пор она вошла в инженерные работы повсюду на земном шаре как непременное условие при возведении всех высоких плотин вообще.

Успешность цементации зависела от характера скалы. Чем мельче трещины, тем на меньшую глубину приходилось бурить скважины. До укладки бетона скважины в открытой скале делались обыкновенно перфораторами и заливались цементом. Затем, на определённом расстоянии бурились исследовательские или контрольные скважины, в которые нагнетался сжатый воздух. Если, заполнив пробурённое пространство, воздух дальше никуда не проходил, — значит, трещин внутри скалы не было. Если же приборы показывали утечку воздуха, по соседству снова бурились отверстия и снова цементировались. Работа требовала чрезвычайной тщательности и исключительного терпения.

Самыми трудными в этом отношении оказались два пролёта: между шестнадцатым и семнадцатым и между тридцать третьим и тридцать четвёртым бычками. Там обнаружились трещины, наполненные рыхлой массой испорченного гранита, подобного плывуну. Эти трещины нельзя было зацементировать в открытом котловане: боялись, что при нагнетании цемента сила сжатого воздуха может приподнять скалу. Поэтому было решено производить дальнейшую цементацию, только прижав верхний слой гранита сооружением бычков.

По фронту всей плотины шло закрытие пролётов и в то же время продолжалась цементация. Станки Сандерсона бурили глубокие скважины сквозь бетон до крепких слоёв здорового гранита. Незацементированные пролёты были объявлены аварийными. В них послали бригады бурильщиков, составленные исключительно из партийцев и самых лучших комсомольцев.

Тициан Хачапуридзе на станке Сандерсона работал ещё с большей ловкостью, чем перфоратором. Скоро цементация всюду была успешно закончена, за исключением одного пролёта между тридцать третьим и тридцать четвёртым бычками. Там при глубоком бурении Кузьма Петренко

наткнулся под толстым слоем гранита на яму, заполненную водянистой жижей. Это было обширное дупло, образовавшееся в граните тысячелетия назад. Оно похоже было на погреб или подвал, скрытый рекой в своих поддонных недрах. Яму никак не удавалось пройти буровыми штангами: долото штанги отжималось гранитной кровлей вбок и застревало. Дорогие импортные долота гибли в яме, как в капкане. Если же штангу удавалось вытащить, пробурённое отверстие сейчас же затягивалось плывуном.

Тьфу ты пропасть!— ругался Петренко. — Издырили весь пролёт, а она, язва, нора эта лешачья, как была, так и осталась. Что делать станем, Птициан?

— Думать надо.

— Я через мозги перепрыгнуть готов!

— Заставляй голова работать. Заставляй, пожалуйста!..

Петренко предложил пробить в глубину широкое отверстие, чтобы вычерпать из ямы весь плывун бадьями. Но толщина бетонной кладки и гранита над ямой была так велика, что пробивка сквозь неё колодца отняла бы слишком много времени. Петренко пробовал опускать в жижу специально сплетённые проволочные сетки в расчёте, что они помогут цементу схватиться, лил по трубам бетон особого раствора, сыпал сухой цемент,— всё было напрасно: жижа в яме не исчезала.

Тихменёв выделил специальную комиссию инженеров, которые день и ночь сидели в пролёте. После каждого нового опыта приходилось долго ждать: жидкий бетон схватывался обыкновенно не раньше, чем через три-четыре дня. Весь Днепрострой сосредоточил своё внимание на этом пролёте. Инженеры, секретари ячеек, рабкоры, газета, — все торопили, все ждали успеха, но никто не знал, как ликвидировать злополучную яму.

Между тем время шло. Надвигалась зима. Наступил ноябрь, стало довольно холодно, работы надо было форсировать,

И вдруг в этот напряжённый момент Гаррисон заявил, что, пока злополучный пролёт не будет зацементирован, вести дальнейшее закрытие гребёнки он считает невозможным.

— Что вы хотите сказать?— удивился Тихменёв.

— Закрытие пролётов надо остановить.



— Это немыслимо!

— Тем не менее совершенно необходимо. С повышением пролётов река поднимается, давление на плотину увеличивается. Может начаться фильтрация, особенно опасная, если вода пойдёт под основание, через трещину, бетонировку надо прекратить.

— Такого распоряжения я не дам.

— В таком случае американская консультация слагает с себя всякую ответственность. Возможна непоправимая катастрофа. Я представлю вам наше мнение в письменном виде, чтобы потом было ясно, кто виноват в несчастии.

— Пожалуйста, не пугайте. Остановить бетонировку — значит потерять год. Вы это учитываете? Мы не так богаты, чтобы швыряться годами. С нашей, точки зрения, можно смело поднять Днепр по крайней мере ещё на два метра, не опасаясь никакой фильтрации. Для меня это бесспорно.

Тихменёв опирался на математику, на точные гидрологические вычисления, на опыт постройки европейских высоких плотин. Он был яростным противником слепого риска, и его спокойная уверенность говорила, что за сделанный им вывод надо драться.

Начальник строительства находился в Москве, в Высшем Совете Народного Хозяйства. Купер ещё в октябре уехал в Нью-Йорк.

Тихменёв запросил по телеграфу Купера. Тот ответил, что он всецело полагается на решение своего заместителя и в цементировании поддонной ямы ничем помочь не может.

Тихменёв созвал совещание инженеров гидротехнического отдела и пригласил всё бюро партийного комитета. Гуржеев и Сухонин с полным единодушием поддержали точку зрения Тихменёва. К ним присоединились младшие инженеры. Партийцы настаивали на улучшении работ по цементации и на продолжении бетонировки пролётов. Вопрос приобретал политическое значение: плотина с максимальным успехом должна была быть закончена до осеннего половодья, поэтому никакой остановки допускать было нельзя.

Вместе с тем все отлично понимали сложность и ответственность положения и тут же на совещании решили

послать в Москву специальную делегацию, чтобы добиться санкции высших органов. В делегацию вошли Гуржеев, Сухонин и Косачёв.

В Москве они прежде всего нашли начальника строительства. Буров согласился, что дело очень серьёзное.

По-моему, Тихменёв совершенно прав, — сказал он. — Американцам наплевать на время. Время их не бьёт. А на всякий случай хотят себя застраховать. В конце концов им безразлично, будет Днепрострой закончен на год раньше или на год позже.

— Мы едем сейчас в Центральный Комитет партии,— сказал Косачёв.

— Хорошо. Позвоните потом мне.

В Центральном Комитете делегация обратилась к Кагановичу. Каганович принял её немедленно, вне всякой очереди.

— А как Буров? — спросил он озабоченно.

— Буров согласен с Тихменёвым.

— Расскажите мне подробно,— попросил Каганович. Гуржеев изложил доказательства, на которых основывался Тихменёв.

— Я за вас. Но вопрос технический и хозяйственный. Надо поговорить с Орджоникидзе. Будет его согласие, тогда доложим Иосифу Виссарионовичу.

Делегация, не теряя ни минуты, направилась в Высший Совет Народного Хозяйства. Там был уже и Буров. Но оказалось, что Орджоникидзе болен.

— Соедините меня с квартирой,— попросил Буров. Секретарь после некоторого колебания подошёл к телефону.

— Пожалуйста, — сказал он через минуту и протянул трубку.

Буров услышал знакомый мужественный голос.

Что? Разногласие с американцами? Насчёт цементации? Приезжайте ко мне. Да, на квартиру. Со всей делегацией, конечно.

Было около часу дня. Над Замоскворечьем косым караваном летели облака. Часовой у Спасских ворот проверил пропуска. Внутри Кремля, за высокой стрельчатой стеной, было тихо и торжественно.



Делегация поднялась по указанной лестнице. Гуржееву было жутковато от строгой обстановки, от глубокой тишины, царившей за древними стенами.

Орджоникидзе встал с постели. Лицо его было жёлтым от усталости, тёмные подглазицы говорили о бессонной работе, но большие карие глаза лучились тёплым светом.

— Завтракать хотите? — спросил он неожиданно. — Что? Никаких разговоров! Днепростроевцы первый раз у меня в гостях, да чтобы отказывались? Садитесь.

Орджоникидзе, несмотря на болезненную усталость, был радушен и приветлив.

— Ну, рассказывайте, рассказывайте, что там у вас случилось.

Буров доложил о работах по цементации с самого начала до столкновения с Гаррисоном, Гуржеев добавил о последнем совещании в кабинете Тихменёва, Косачёв сказал, что упрямство Гаррисона раздражающе подействовало на общественность строительства и что лучшие рабочие верят в безошибочность мнения Тихменёва,

— Молодец Тихменёв! Так и надо, — сказал Орджоникидзе. — А Купер каков! А? Умыл руки и в сторону? «Я не я, лошадь не моя, и я не извозчик! Ничем помочь не могу!..» Ладно, ладно! Посмотрим, мистер Купер, посмотрим. Правильно вы, товарищи, делаете, что настойчиво защищаете свою мысль и свой план. Подождите минуточку.

Орджоникидзе прошёл в соседнюю комнату, очевидно, в свой рабочий кабинет, и по прямому проводу соединился со Сталиным.

Было слышно, как он сообщил о приезде днепростроевцев и передал кратко о споре между американцами и советскими специалистами.

Потом наступила тишина. Гуржеев сидел, затаив дыхание. Сухонин и Косачёв боялись пошевелиться. Даже строптивый Буров замер, напряжённо вслушиваясь в каждое слово из кабинета.

Оттуда изредка доносилось:

— Да... Конечно. Хорошо. Да, да... Так и сделаем…

Скоро Орджоникидзе вернулся и сел к столу.

— Товарищ Сталин одобряет, что вы срочно обратились в Центральный Комитет партии. Вопрос очень

серьёзный. Сегодня мы рассмотрим его на Политбюро. Оставьте мне планы, синьки, расчёты.

Буров ещё раз показал по чертежу, насколько важно в данный момент закрыть очередные пролёты, чтобы поднять воду на два метра и создать таким образом новый широкий фронт бетонировки на протяжении всей плотины.

— Ваши сооружения и соображения американцев,— всё будет обсуждено сегодня. Лично для меня доводы Тихменёва совершенно убедительны, — сказал Орджоникидзе.

Принесли чай.

— А как Запорожсталь? — спросил вдруг Орджоникидзе обеспокоенным голосом, обращаясь к начальнику строительства. — Запаздываете, запаздываете, товарищи! Поймите, стране нужен металл. Необходимо, чтобы заводы были готовы принять ток немедленно, как только гидростанция будет пущена. С заводами нельзя отставать. Мы ждём запорожской высококачественной стали для самых неотложных работ. А запорожский алюминий нужен для самолётостроения, для обороны, для защиты страны от врагов. Поймите это.

Он интересовался кладкой доменных печей, установкой электролизных ванн на алюминиевом заводе, монтажом печей Миге на заводе ферросплавов, ростом электросталеплавильного, мартеновского и инструментального цехов. Он торопил, убеждал, просил с дружеским нетерпением.

— Помните всегда, каждый час,— сказал на прощанье Орджоникидзе, — на Днепрострое мы держим очень большой экзамен.

Утром на следующий день Гуржеев с волнением поднимался по лестнице Высшего Совета Народного Хозяйства. На площадке второго этажа он встретил Косачёва и Сухонина. Все трое они прошли в секретариат.

— Есть постановление Политбюро по вопросу о цементации, — сказали им.

— Именно?

— Согласиться с мнением советских специалистов. Косачёв порывисто сжал руку Гуржеева выше локтя.

— Теперь победим!



В секретариате показали телеграмму Орджоникидзе на имя Тихменёва с приказанием самым тщательным образом закончить цементацию, ни на час не приостанавливая работ по закрытию гребёнки.

И бетонировка после этого пошла с новой энергией. Когда делегация вернулась на строительство, она увидела, какое большое впечатление произвела телеграмма Орджоникидзе. Все на плотине воспрянули духом. Тихменёв с раннего утра уходил на бычки. Он указывал инженерам порядок кладки бетона, осматривал блоки, требовал быстрой подачи бадей с бетонных заводов. Партийный комитет подбирал для ответственных пролётов самые лучшие бригады комсомольцев. Напротив, Гаррисон замкнулся в себе и казался неприступным.

Началась зима. До полного закрытия гребёнки оставалось уложить бетона восемьдесят тысяч кубометров. Нужны были крайние усилия, героические меры, чтобы успеть закончить кладку до вскрытия реки. Между тем цементация трудного пролёта всё ещё не давалась.

Тихменёв каждое утро вызывал к себе Гуржеева. Однажды он сказал ему с упрёком.

— Степан Андреевич, в конце концов, пролёт этот отравляет всю жизнь. Нужно с ним покончить.

— Если б я знал, как это сделать!

— Попробуйте итти обсадными трубами.

— Хорошо.

Но и работа с обсадными трубами представляла кропотливое, медленное, не дающее видимых результатов дело. Каждый бурильщик должен был чувствовать малейшее движение механизма почти совершенно так же, как движение своего собственного тела. Особенно тонко надо было ощущать ход штанги. Здесь исключительную виртуозность проявил Хачапуридзе. Способности, которые всё раньше в нём чувствовали, развернулись теперь с настоящим блеском. Ни дождь, ни холодные ветры не останавливали его. Он был увлечён трудной задачей. Желание во что бы то ни стало добиться недостижимой цели держало Птициана у станка Сандерсона иногда целые сутки напролёт.

С ревнивой завистью следил за ним Петренко. Петренко почти каждую ночь видел во сне, что ему открывается

секрет цементации ямы, и он просыпался от торжества, которого не в силах была вместить его грудь. Днём он бурил, как глухонемой, ни с кем не разговаривая, ни на кого, кроме Птициана, не обращая внимания. Казалось, он ни о чём не в состоянии был даже думать: заколдованный плывун в яме поглощал все его мысли и чувства.

И вдруг однажды вечером, среди сумеречного ледяного дождя, сквозь который уже светились жёлтые огни электрических фонарей, Птициан крикнул:

— Есть! Есть, ребята! Петренко поднял голову. — Что такое?

— Прошёл! Пробурил! До дна. Всадил долото насквозь. Там твёрдый гранит. Смотри!

Хачапуридзе чувствовал, как у него оглушительно билось сердце. Состояние было такое, будто он открыл клад. У Петренко в первый момент подкосились ноги. Но он овладел собой. «Досталось счастье Птициану!»

— Скорей цементировать! Скорей! — едва справляясь с волнением, крикнул он Птициану.

Вызвали Гуржеева.

— Ставьте свой станок рядом,— радостно распорядился Гуржеев. Он обнял правой рукой Петренко за плечи. — Как только через всю яму затвердеет сквозной столб, так и бурите. Ох, и дело вы сделали, товарищи...

И Петренко почувствовал, что удача Птициана есть и его удача, что проклятый пролёт побеждён.

Цементация соседних скважин пошла быстро и успешно. Скоро яма была полностью зацементирована с такой строгой проверкой, какая не оставляла ни малейших сомнений в прочности получившегося окаменения. Поддонный подвал в глубине кристаллических гнейсов бесследно исчез. То место, где он был, по твёрдости и плотности не уступало граниту.

В Нью-Йорке, в оглушительном семимиллионном городе, Купер получил донесение Гаррисона, что, вопреки его категорическим возражениям, вода в Днепре поднята на два метра. Мало того, бетонировка безостановочно продолжается дальше. Виновником всему профессор Тихменёв, который утверждает, что страшного в этом ничего нет, и в доказательство приводит целую таблицу



формул. Гаррисон с откровенностью солдата, точно выполняющего приказания своего командира, сообщал, что решение о бетонировке было санкционировано высшими партийными и правительственными органами Советского Союза и что он, Гаррисон, сложил с себя всякую ответственность за последствия.

«Есть ли признаки фильтрации? Убедились ли вы в правоте своих возражений?» — запросил по телеграфу Купер, обеспокоенный тем, что вопрос о плотине рассматривался Центральным Комитетом партии.

Гаррисон ответил многословной телеграммой, из которой можно было понять, что никакой фильтрации нет, плотина плотно запирает реку, бетонировка же пролётов идёт полным ходом, несмотря на наступившую зиму.

Чувство досады против слепого упрямства Гаррисона овладело Купером. «Как можно не видеть будущего? — возмущался он.— Работы на Днепре приближаются к концу, к блестящему завершению. Зачем портить отношения с руководителями строительства, которых ценит советская власть? Большевики имеют грандиозные планы — Свирьстрой, Волгострой, Ангарстрой. А Кама, а Дон, а Лена, а Томь, а Енисей! Мало ли гидроэлектрических станций можно построить в этой поистине необъятной стране? Нельзя, подобно упрямому толстяку Гуверу, не понимать великих сил русского народа. Нельзя из-за мнимой осторожности и самолюбия попирать здравый смысл!..»

Телеграмма об удачных результатах цементации в трудном пролёте подтвердила ошибочность позиции Гаррисона. «Всё нужно делать самому. Ах, если б молодость!.. Если б на плечах было по крайней мере только пятьдесят лет, — этого никогда не случилось бы!..» Купер резким распоряжением снял Гаррисона с должности главного инженера консультации. На его место он назначил своего младшего брата Декстера Купера.

Это был запоздалый жест, говоривший о признании победы советской технической мысли.

## VII

До зимы девятьсот тридцать первого года бетон клали на Днепрострое только в течение тёплого времени, бетонирование было сезонной работой. В декабре этого

трудного года продолжали вести кладку и в стужу: при холодных ветрах, даже в метели и во время морозов.

Зимой на плотине стала выходить листовка. Она появлялась в блоках и на путях, на кранах, на дерриках и на паровозах, в обогревательных будках и в дощатых конторах производителей работ,— и каждый раз полна была горячих, подбадривающих слов. Листовка оказывала могущественное действие на рабочих и инженеров. Её требования всегда были определённы и ясны, язык точен и прост. Строители плотины чувствовали её большевистскую душу, хозяйственную зоркость, техническую строгость, уменье сплотить вокруг себя людей. В этом был секрет неслыханного успеха листовки.

Она всё видела и всё знала. Однажды утром бригада Махоткина работала по установке опалубки. Вдруг в соседний блок через щели нарощенного над шандором бревенчатого щита хлынула вода. Бетонщики, как воробьи, с криком метнулись на деревянные стены блока. Вода мечами засвистела сквозь щели.

— Птицы небесные!.. – едва успел крикнуть Махоткин. – Не поддавайся!.. – И спрыгнул вниз.

Плотники вслед за ним, не раздумывая, не колеблясь, кинулись на заделку щелей. Непрерывно окатываемые с головы до ног водой, они карабкались на высоту, тесали на весу клинья. Морозный ветер обжигал их руки, леденил мокрые плечи. Но им удалось законопатить все щели. Потом бригада спустилась в блок помогать бетонщикам откачивать воду. А часа через два рассказ об этом был уже напечатан в листовке.

В тот же день Баганча поставил три плотничных бригады для подготовки средних пролётов. Кончив смену, бригады ушли, их место заступили три новых, но Ивась остался до утра, чтобы выполнить всю подготовку, как требовалось. Он работал на ветру, в стуже, ожесточённо борясь с водой, наполовину обледенелый. Был уже широкий день, когда он направился домой, усталый и счастливый, довольный, что удалось добиться того, что нужно. Он проходил по зыбким доскам, под которыми зияла в ледяных наростах река. Ледяшки шуршали и постукивали у него на задубевшем кожухе и на ватных стёганых штанах. Голова Баганчи слегка кружилась, от бессонной ночи знобило. А вслед за ним уже шумела его слава:



листовка ставила в пример другим настойчивость и заботливость, с какими Баганча руководил бригадами.

И так было заведено, что всё выдающееся, отмеченное листовкой, перепечатывалось газетой строительства, а самое важное сообщалось по телеграфу в «Известия» и «Правду», в Москву.

Рабочие бережно хранили у себя в сундучках аккуратно сложенные номера листовок и газет, где упоминалось их имя. Эти памятные тонкие странички посылались на родину — отцу, матери, жене, любимой девушке. Они были знаками новой, никогда не испытанной раньше гордости и радости.

Между тем зима упорно замораживала блоки. На опалубках каждую ночь настывали чудовищные ледяные глыбы. Утром приходилось сбивать их топорами и кайлами и постоянно придумывать всё новые и новые способы для обогревания бетона во время работы. Сначала в блоках ставили сделанные из железных прутьев решётчатые жаровни, в которых горел кокс. Жаровни напоминали пылающие снопы, поставленные колосьями вверх. Кокс горел непрерывно, но температура вокруг повышалась мало: жар уходил вверх, в воздух, а низ блока, как был мёрзлым, так и оставался.

Махоткин придумал подвесные переносные печи. Кран поднимал горящую печь и передвигал её с места на место, чтобы не дать намёрзнуть на щитах льду и поднять температуру там, где топтали бетон.

— Шевели мозгами дальше, Махоткин! — подшучивали плотники. — Может, какое-нибудь переносное солнце изобретёшь?

Но морозы стали нестерпимыми, и Гуржеев приказал обогревать блоки горячим паром. Над блоком устанавливалась брезентовая будка, вроде шатра. Подходил паровоз, от него протягивали толстый шланг и по шлангу начинали усиленно подавать пар. При хорошо заделанном брезенте удавалось поднять температуру в блоке до пятнадцати градусов. Бетон не успевал остывать. Бетонщики топтали его в пару, как в облаках.

В ту неслыханно суровую зиму дули жестокие ветры, поднимались частые метели. Но бетон шёл непрерывно, без задержки. Главная задача Гуржеева в том именно и заключалась,

чтобы наладить быструю подачу бетона от завода к блокам.

Ночью, среди тьмы и ветра, Гуржеев приходил на плотину.

— Как дела? — спрашивал он бригадиров.

— Стужа донимает, Степан Андреевич. Кругом лёд, вода. Вода прямо ножом режет на ветру.

— Обмороженных нет?

— Я уже гусиным салом руки смазываю, — хлопая ладонь об ладонь, похвастался однажды Махоткин.

— Хорошо.

— Хорошо-то хорошо, Степан Андреевич. Одно плохо: гуси нынче кусаются. Вот бы управление нам в премию хоть по одному гуську пожаловало! Знаменитое было бы дело.

Гуржеев взглянул в хитро улыбавшиеся глаза Махоткина и невольно улыбнулся сам.

— Не наберём гусей столько, Илья Максимович. Сибиряк, выросший в челябинской ветровой степи, Гуржеев был вынослив, непоседлив и упорен. Он лез в блоки, под брезент, проверял подачу пара, состояние шлангов, температуру бетона. Плотники, бетонщики, такелажники, — все чувствовали его рядом с собой, ко всем он был внимателен и заботлив.

Чапаевец Кондратов как-то сказал Ивасю: — Степан Андреевич, как сибирская лошадь: чем дальше едем, тем лучше везёт. Инженеров бы двадцать таких! А?..

— Двадцать!.. И десять не плохо.

Однажды утром, когда в красной мгле поднималось солнце, Гуржеев вошёл в теплушку, где перед спуском в Днепр одевался Воронков.

— Что-то случилась с каркасом между двадцать третьим и двадцать четвёртым бычками, — сказал он встревоженно. — Вдруг ни с того, ни с сего начал коситься. Очень подозрительно смотрит, подлец.

— Не заметил.

— Дайте мне второй скафандр.

— А вы когда-нибудь под воду спускались?— спросил Воронков, и в голосе его прозвучало опасение.

— Спускаться не спускался, но думаю, что с вами не пропаду.



Гуржеев надел шерстяное бельё и прорезиненный скафандр. У него захватило дыхание, когда он вышел на мороз: так непривычно жгуче охватил холодный воздух. Кран поднял Гуржеева вместе с Воронцовым и понёс к пролёту. Легейда и Аниканов привинтили им круглые медные шлемы, навесили на грудь и спину грузы, надели на ноги свинцовые калоши. Из проруби шёл белый густой дым. Воронков погрузился в воду первый. Вслед за ним скрылся в глубине Гуржеев. Морозный Днепр, вырываясь из-под толстой ледяной брони, плескался вдоль пролётов острыми тёмными гребнями.

Так прошло минут двадцать. Дул ветер, слышались гудки паровозов, на левом берегу стучали топоры. Вдруг Легейда почувствовал сигнальные подёргивания. Он потянул верёвку. Из дымящейся воды показались два медных шлема. Шлемы тотчас же стали покрываться тусклым ледяным налётом. Кран унёс мокрых людей в теплушку.

— Теперь мне всё ясно, и я спокоен,— удовлетворённо сказал Гуржеев Воронкову, когда с них обоих сняли скафандры.

На плотине почти круглые сутки находился Косачёв. Никто не мог представить, когда, он спит, когда ест, когда отдыхает. Соломенно-жёлтые усы его обрастали льдом, как у возчика или лесоруба. Он знал всех лучших рабочих и инженеров, видел, кто как работает. От его приближения становилось уверенней, спокойней, он как-то угадывал, кому что надо сказать, в его вопросах, в манере говорить, в самых звуках голоса слышалось тёплое человеческое участие и понимание.

Через каждые две недели партийный комитет устраивал собрания ударников. Электрическая сирена над крышей главного управления начинала призывно петь, и по её сигналу рабочие быстро стекались отовсюду к дому общественных организаций. Собрания эти стали называться слётами. Слёты происходили празднично, в залитом светом зале, в тесном молодом многолюдстве, с русскими, украинскими, татарскими и белорусскими песнями. Это зажигало, поднимало людей. Каждый знал, что его хорошая работа непременно будет замечена.

Партийный комитет обладал, казалось, совершенно неиссякаемой энергией. Он никогда не удовлетворялся победой сегодняшнего дня. Победа принималась как должное,

как заслуженное торжество, но сейчас же выдвигались новые задачи, ещё более значительные и высокие. Каждое утро битва продолжалась снова. Строительство шло вперёд, бетонщики и бетонщицы, преодолевая невероятные трудности, наращивали между бычками пролёт за пролётом, поднимая плотину всё выше и выше. Их пронзали острые ветры, над опалубками гудели дикие степные ураганы, с неба обрушивались тучи мелкого колючего снега. Вьюги хлестали в лицо, задували дыхание, высекали из глаз слёзы, срывали стремянки. Ветер выл в дерриках, в кранах, в стальных вантах, в деревянных решётках. Но оттого, что труд получал оценку, оттого, что к человеку относились с вниманием и дружеской теплотой, каждому хотелось работать ещё больше и лучше.

Иногда Гуржеев спускался в блок, где топтала бетон бригада Лукийки. В пару, в желтоватой мгле низкого электрического света он сразу узнавал среди восьми толкущихся фигур Лукийку. Она была в толстом неуклюжем ватнике, в сером вязаном платке, закрывавшем почти всё её лицо. Выносливости этой девушки надо было изумляться. Она держала всю свою бригаду, как прирождённый командир, которого не только беспрекословно слушались, но и любили.

— Степан Андреевич, что там с бетоном спят? — возмущённо жаловалась она в случае хоть малейшей задержки.

— Разве опаздывают?

— Докричаться не могу.

— Сейчас позвоню.

— Подтяните машинистов, которые галок считают. Скажите, мы прямо за чуприну таких таскать будем.

— Ну, уж и за чуприну!

— А что, раз не хотят нам помочь? Ведь это же лошадиную совесть надо иметь, чтобы девчат на таком деле подводить!..

В январе на смену ветрам и метелям пришли лютые морозы. По ночам на обнажённых береговых буграх лопалась земля, в бараках гулко стреляли брёвна. Но работы на плотине не приостанавливались ни на час.

В боковые стороны бычков надо было вбетонировать стальные, похожие на рельсы закладные части для исполинских щитов Стонея. Щитами предстояло запирать



в пролётах воду, когда плотина будет готова. Требовалась совершенно исключительная точность и чистота деревянных установок, чтобы не сбить в сторону отливку, по которой будут скользить колоссальные глухие стены, сделанные из стали. Нельзя было ошибиться и на один миллиметр. Гуржеев поручил Баганче подобрать особо смелых плотников. Работа здесь всё время шла на весу, над водяной бездной, в непрерывной опасности. К Баганче прежде других присоединился Махоткин.

— Давай пойду,— сказал он, вскинув рыжий клинышек своей задорной бородки. — Пропасть на этом деле я не должен.

Он обмотал себя верёвкой и попросил спустить краном в зияющую пустоту между бычками.

— Птицы небесные! Прямо как на самолёте! — крикнул он, уходя в бездну.

Но с верёвки работать было нельзя. Тогда Баганча распорядился положить сверху над стремниной на бычки два бруса.

— Верно, клади два пальца, — обрадовался Махоткин. — С пальцами будет способней.

К концам этих «пальцев» подвесили деревянные стремянки на восемнадцать метров каждую, к самой пучине воды. Вниз полез сам Баганча. От стремянки до стремянки было тринадцать метров. Дул ветер, лестницы болтались, вода под Баганчой шумела, — человеческого голоса в этом гуле не было слышно.

Ивась спустился до конца, встал на последнюю планку, между небом и водой, над дикими, дымящимися от мороза волнами. Сверху ему опустили на верёвке доску. Он поймал её. Надо было завести дальний конец на другую стремянку, чтобы обе связать доской, как мостом. И после долгих усилий, после напряжённых попыток Баганче удалось закинуть доску через тринадцать метров на нижнюю, зыбко раскачивавшуюся планку. Закинув, он прибил свой конец к тетиве лестницы и махнул наверх рукой. Ему спустили вторую доску. Вторую завести на дальнюю стремянку было легче, — она сползла по первой, как по направляющей опоре. Теперь оставалось перейти к противоположному бычку. И Баганча пошёл. Чем ближе к середине, тем глубже, сильнее прогибались доски. Они становились зыбкими, неверными. Казалось, вот сейчас

раздастся под ногами треск,— и всё провалится в пучину, погибнет и он, Баганча. Но мост начал твердеть, дерево с каждым шагом делаться прочней, туже, упористей. Баганча достиг противоположной стороны. Здесь он тоже прибил доски к тетиве стремянки. Составился целый помост. Затем Баганча поднялся на три метра вверх и устроил вторую площадку, за второй третью, потом четвёртую, наконец, пятую, восходя всё выше и выше. Тогда спустились на эти площадки плотники, которых он набрал.

Зимние ветры обмораживали руки, щемили пальцы ног, выдували из глаз слёзы. В пролёте люди находились за щитом. Там, внизу, не так резало стужей. А на открытой плотине пронизывало насквозь. Когда требовалось подать что-нибудь краном вниз, Баганча заглядывал за перила бычка, в пролёт. «У-ух!..» Оттуда било ветром, точно нашатырным спиртом. Даже голову откидывал Баганча. Душа занималась, воздуху глотнуть не успевал. Ветер со свистом хлестал снизу в лицо, сёк ледяной крупой, как проволокой. Кругом выло, визжало, шипело. Тёплый бараний кожух делался пустым, как бумажная скорлупа, — он не давал никакого тепла.

Тяжёл, дик, нестерпимо лют был январь. Щемящий морозный туман окутывал строительство дни и ночи. Бычки, доски, брусья, ванты и стрелы дерриков, — всё заиндевело, покрылось мохнатыми снежными наростами. Последние перекрытия в пролётах между бычками доставались с таким трудом, с такими жестокими препятствиями, каких ещё полгода назад никто не в состоянии был и представить.

На работу и с работы приходилось лазить по лестницам. Лестницы вдоль бычков сплошь обледенели. К ним опускались на тросах коксовые жаровни, — однако никакой пользы от жаровен не получалось: если ступеньки удавалось оттаять, через полчаса они обмерзали снова. Когда ветер дул со стороны Хортицы, против течения, было немного спокойнее. Но когда несло сверху, от Волчьего Горла, водяная пыль летела через пролёты мятущимся туманом и немилосердно била в лицо. Лестницы покрывались гладким льдом, как лаком. Плотники и бетонщики снимали рукавицы, затыкали их за пояс и хватались за планку голыми руками. Так казалось верней,—



рукавицы скользили, в них легко можно было оборваться, особенно когда идёшь сверху вниз, на смену. На ноги надевали кожаные сапоги с высокими голенищами. Толстые валенки катились по обледенелым планкам, опора сквозь шерсть чувствовалась тупо, — в валенках было несравненно страшней. У Баганчи, у Махоткина и у других плотников часто через голенища заливалась вода. Пока они приходили домой, сапоги набухали так, что их трудно было стащить.

Ни одного каркаса в пролётах не могли уплотнить без помощи водолазов. Были случаи, когда Воронков, Легейда и Аниканов работали по двадцать и по двадцать четыре часа без отдыха. Они вызывали удивление своим бесстрашием перед ледяной водой. В столовых перед ними расступались все очереди.

— Водолазы пришли! Освобождай, братва, место! — поспешно говорили за столами обедавшие или ужинавшие. — Сюда, Воронков, сюда. Мы кончили.

Рабочие с почтительной предупредительностью пододвигали стулья. Водолазам подавали еду — столько, сколько они хотели, без всяких порций, — таково было распоряжение начальника строительства. И, наскоро пообедав, Воронков, Легейда и Аниканов сейчас же уходили опять на плотину, чтобы, не теряя времени, погрузиться в тёмную зыбь реки.

Многие со страхом смотрели, как водолазы в мороз и ветер вылезали из воды. Было немыслимо ставить возле каждого пролёта обогревательную будку. От выбравшегося на лёд водолаза шёл пар. Костюм его через две-три минуты обледеневал. Пока водолаза поднимали краном и перевозили в теплушку, всё на нём смерзалось. В теплушке он минут двадцать стоял столбом, пока не оттаивал весь. Только тогда с него отвинчивали шлем и снимали мокрый скафандр. Тем временем другого водолаза одевали в новый скафандр, сажали в люльку и на крановом тросе спускали к воде. На пороге пролёта на голову ему навинчивали шлем, а к спине, к груди и к ногам привязывали свинцовые грузы. Водолаз уходил в мрачную зыбь, как в преисподнюю. Смыкавшаяся над ним дымящаяся вода казалась чёрной.

Воронков чувствовал себя в постоянном, несменяемом карауле, самом важном и тревожном на строительстве.

Такое же состояние испытывали Легейда и Аниканов. У них было твёрдое правило: придёшь домой, из дому никуда не уходи. Сколько раз случалось, — только успеют прилечь вздремнуть, только сон начнёт смыкать глаза, вдруг беспокойно затрещит звонок:

— На плотину!

Всем, кто работал на плотине, было нелегко. Морозы, беспощадная вода и ветры мешали на каждом шагу. И, тем не менее, люди, стиснув зубы, сжавшись в комок, превратившись в одно сердце, упорно продвигались вперёд.

Но наступил февраль, холода пошли на убыль, закружились слепые снежные метели, а в пролёты оставалось уложить ещё около сорока тысяч кубометров.

Однажды ночью по плотине разнёсся слух:

— Молотов приехал! Председатель Совнаркома. Слышите, ребята?

— Когда? Где?..

— Сейчас только поезд из Москвы подошёл.

Ночь приближалась к утру. Над степью опускался туманный полный месяц. Морозная мгла зелёной мутью стояла вокруг. Пахло густой, уже не зимней свежестью. Три вагона из московского поезда прошли со станции Запорожье на Шлюзовую и остановились на запасных путях, вблизи от плотины. Через Днепр и по берегам в холодной темноте качались, переливались, мерцали бесчисленные электрические огни.

В вагон председателя Совнаркома вместе с Буровым пошёл Тихменёв. Молотов уже не спал. Он стоял в коридоре у окна, обращённого к плотине.

— Ну, кто кого?— спросил Молотов, здороваясь: — Большевики победят Днепр или Днепр большевиков?

— Вопрос решён. Решён жизнью и работой днепростроевцев,— ответил Буров. — Река покорена.

— Но ведь гребёнка ещё не закрыта?

— Нам осталось немного.

— Идёт весна, товарищи. Прислушайтесь: уже воздух другой.

— До половодья успеем.



А когда половодье начнётся, вам известно? Может грянуть в первых числах марта. С Днепром такие штуки бывали.

— Метеорологические станции говорят, что у нас в запасе больше месяца.

— Спешить надо, спешить. Спешить во что бы тони стало.

— Всё строительство напряжено, Вячеслав Михайлович. Все люди сосредоточены на одной-единственной цели. В метель, в снег, в морозы мы укладываем бетона больше, чем летом и осенью.

— Народ работает необыкновенно, — сказал Тихменёв. — Все от самой юной молодёжи до пожилых инженеров стараются, как никогда. В январе в плотину уложили двадцать две тысячи кубометров.

Глаза Молотова наполнились глубоким блеском.

— Двадцать две тысячи? — невольно переспросил он.

— И как уложили! Чище не надо.

Молотов посмотрел на огни за окном и, точно поздравляя, тихо и сердечно сказал:

— Хорошо. Очень хорошо.

— Надо прямо сказать, Вячеслав Михайлович, — неожиданно заявил Буров грубоватым своим голосом:— Это заслуга партийцев и комсомольцев.

— Вот видите! А вы когда-то сомневались.

— Комсомол у нас замечательный,— подтвердил Тихменёв. — Подобрались такие бригады,— ни нахвалишься. Куда угодно можно послать. Какое дело ни поручишь,— сделают.

— Что вам сейчас необходимо? — спросил Молотов. Буров и Тихменёв доложили о срочных нуждах. Они говорили, как всегда, коротко, конкретно, по пунктам. Молотов тут же подписал несколько распоряжений.

— Всё это мы вам сделаем.

Потом он пошёл на плотину. В лицо ему дул острый северный ветер. Лампочки на столбах и на тросах качались сильнее, чем это казалось из окна вагона. Под ногами хрустел затвердевший, перемёрзший снег.

Плотина в деревянных опалубках, освещённая тысячами огней, в черноте ночи имела фантастический вид. Пролёты дымились густым морозным туманом, непрерывно поднимавшимся вверх. Днепр глухо шумел подземным

клокочущим гулом. Он низвергался между бычками, обросшими чудовищными глыбами льда.

Высоко над плотиной кран пронёс в люльке водолаза в скафандре и в огромном круглом медном шлеме. В разных концах, то впереди, то сзади, то глубоко у клокочущей воды, то совсем близко перед глазами, трепетно вспыхивали голубыми и зелёными молниями автогенные аппараты. Внизу, в блоках, под брезентом, комсомольские бригады топтали бетон. Из-под брезента непрерывно шёл пар. Молотов заглянул в один из блоков. Там в мешковатых ватниках и в брезентовых шлемах поверх шапок работала бригада Лукийки, знаменитой Лукийки Бойчук, о которой писали все газеты страны. Положив друг другу руки на плечи, девушки безостановочно месили ногами зеленовато-серое бетонное тесто. Электрическая лампочка сквозь жёлтые клубы пара смутно освещала их лица.

— Сколько сегодня втоптали, товарищи? — спросил Молотов.

— За ночь сто десять, Вячеслав Михайлович, — сказала Лукийка, сразу узнав председателя Совнаркома, которого она уже видела на строительстве в прошлый его приезд.

— А надеетесь?

— Ещё кубометров двадцать до смены дадим.

— Неужели половодье прогонит вас отсюда?

— Э, нет! До половодья управимся. День и ночь топчем. Мы же от выходных, от праздников, от всего отказались!

— Желаю вам счастья, девушки! Удачи, успеха!

— Спасибо, Вячеслав Михайлович. И вам тоже.

Вверху, на путях, сипели паровозы, подававшие в блоки горячий пар. Тут люди работали на ветру. На опалубках, на брусьях, в пазах гигантских стен трещал и звенел скалываемый кайлами лёд. Плотники цепко держались на самых обрывах бычков, подпиливали, прилаживали доски, вымеряли, сколачивали всё новые и новые опалубки.

— Вот они, строители нового мира, — невольно произнёс Молотов, глядя на людей, сновавших в морозном водяном дыму, который клубящимися столбами поднимался снизу, из гудящих бездн реки. — Кто здесь плотниками управляет?



— Я, — отозвался Баганча и слегка прикоснулся толстой варежкой к своему заиндевевшему треуху.

— А оборваться они не могут?

— Таких подбираем, чтобы не обрывались,— спокойно улыбнулся Ивась. — Без смелости тут нельзя. В котором человеке страх, тот не годится, того близко не подпускаем сюда. Пусть бараки или дома строит на берегу.

Косачёв, стоявший рядом с Молотовым у края пролёта, сказал:

— Ребята на бычках хоть куда!

— Но там не только молодёжь. Я вижу плотника с седой бородой. Вон, слева.

— Она у него только от мороза седая, Вячеслав Михайлович, — опять улыбнулся Баганча. — А на самом деле рыжая. Это Махоткин. У-у! Такой плотничек, к чорту на рога полезет и чорта же за пояс заткнёт.

Молотов знал цену человеческому труду. Ночные работы на плотине волновали его. При нём комсомольцы, кончив смену, поднялись по обледенелым стремянкам из блоков. Он видел, как крановая стрела опустила инженера Гуржеева в металлическом лотке на тонком тросе в ревущую бездну, к самой воде, где надо было проверить, правильно ли стал между бычками тяжёлый, составленный из многих звеньев железный каркас. Он видел геодезистов, работавших на весу, в головокружительном положении. Перед ним прошли татарские бригады бетонщиков и бригада Пересады.

Обход строительства кончился утром. Синий рассвет раздвинул просторы степи. Месяц туманным костром погас за снегами. Наступал день.

— С такими рабочими нельзя не победить! — сказал Молотов, прощаясь с Буровым и с Тихменёвым. — Было бы непростительно не успеть закрыть плотину.

Молотов в сопровождении инженеров и Косачёва вернулся к своему вагону. Он легко поднялся по ступенькам на площадку. Часовой стрелок отдал честь.

Поезд перешёл с запасного пути на прямую линию и направился на Запорожье, чтобы сейчас же итти в Москву.

## VIII

Февраль обрушился невиданными метелями. Снежные бури, возникавшие где-то за горизонтом, бушевали и выли над плотиной по нескольку суток подряд. Снег застилал мятущейся пеленой пути, блоки, доски, перекинутые над пролётами брусья, по которым переползали с бычка на бычок плотники. От неистового ветра было трудно держаться на ногах. Стремянки скрипели и качались из стороны в сторону.

Кладка бетона начала отставать. План не выполнялся. «Беда!..» — лихорадочно думал Косачёв. «Всё сорвётся. Половодье захлестнет нас, затопит... Неужели не рассчитали?..» Он созвал совещание рабочих камнедробильных и бетонных заводов, бетонщиков, машинистов, такелажников. Совещание собралось на левом берегу, за шлюзом, в дощатой временной конторе, построенной на скалах, над самым Днепром. Табачный дым душным туманом стоял в переполненной низкой комнате. Люди в кожухах, в ватных стёганых куртках, в меховых кожанках и в брезентовых плащах, натянутых поверх пальто, теснились на узких скамейках. Озабоченность и тревога, были на лицах рабочих. Всё напоминало гражданскую войну, точно опять шло собрание перед боем и опять решался вопрос, где наступать, в каком месте ударить, как верней и сокрушительней разбить врага.

— Ребята, угореть от вашего дыму можно! — взмолилась Лукийка. — Вы бы хоть на воздух выходили курить.

— Нельзя, Лукиюшка. Сердце горит. Потерпи,— отозвался Махоткин. — Потерпи часок. Потом тебя так ветром прохватит, — весь дым сдует.

Гуржеев развесил на стене синьки, показывавшие план работ на март. Все видели, что план большой, трудный. Некоторые жаловались на паровозы, на машинистов, на бетономешалки. Горячие голоса переплетались. Машинисты обвиняли бетонные заводы и ремонтных слесарей. Дым становился гуще, синей, горче. За столом поднялся Косачёв.

— Закрытие гребёнки сейчас вопрос чести и жизни,— начал он.



Все в комнате смолкли. Только махорочный дым клубился беззвучными волнами.

— Всё в людях, в человеческой преданности делу строительства, в честном отношении к труду. Кто думает, что можно отступить и отложить работу до лета, тот малодушный трус и недостоин находиться в наших рядах. Таких трусов мы будем беспощадно гнать. Надо поднять дисциплину. Мы ведём беспримерное строительство, за которым следит весь мир. Гребёнка должна быть закрыта, пока на Днепре не тронулся лёд.

— Это будет чудо...— выдохнул кто-то в облаках сизого дыма.

— Это только наш долг!— ответил Косачёв.

— Мы Молотову слово дали,— сказала Лукийка. — Мы ему лично обещали. Неужели найдутся такие, что нас покинут?..

За дощатыми стенами конторы гудел ночной ветер. Машинисты, путевики, слесари, камнедробильщики и бетонщики не спорили. Речь шла о конкретных, реальных мерах, которые надо применить сейчас же, переступив через порог этой комнаты. Каждый старался внести самые лучшие, самые удачные предложения. Совещание кончилось, и люди торопливо направились на свои участки, как на передовые позиции, где должен был решиться исход гигантской битвы.

Бетонщики испытывали волнение от близости окончания плотины. Паровозные машинисты, подвозившие бетон, нервничали, стараясь угодить крановым машинистам, подававшим в блоки бадьи. Каркасники работали день и ночь,— от пота у них взмокали треухи. Водоотливщики, не зная устали, откачивали из блоков просачивавшуюся коду. Плотники, не щадя себя, заделывали шандоры досками, брусьями, паклей, свитыми из конопли косами, засыпали щели каменноугольной жужелицей. Крановые машинисты, такелажники и водолазы, — все бесстрашно боролись с рекой, все стремились одолеть, сбить лютую водяную силу. А Днепр непрерывно напирал, переплёскивался через шандоры, ломал и уничтожал человеческий труд.

Иногда случалось, что каркасники не успевали закрыть нужные пролёты. Тогда в ледяную воду лезли плотники

и такелажники и, лихорадочно спеша, загораживали зиявшие между бычками ворота.

Бывали моменты, когда вдруг начинали отставать бетонные заводы. Бетонщики, втоптав очередную бадью, кричали из блока:

— Эй, черти! Даёшь бетон! Бе-то-он!..

Они пронзительно свистели. Свист и крики подхватывали паровозные гудки. Металлический рёв требовательно поднимался тогда в морозном воздухе, и бетонные заводы, спеша изо всех сил, старались как можно скорее доварить и отправить свежие замесы.

Бетон выходил из завода с температурой в сорок градусов. Дойдя до блоков, он имел не более двадцати. Надо было не мешкать, потому что, остынув до семи градусов, бетон становился негодным для кладки. Самую быструю доставку горячих бадей давали паровозы под управлением Витьки Савичева и Семёна Волошко.

— Хочешь, Витька, я тебя при всех поцелую! — крикнула раз Лукийка.

Но Витька неожиданно смутился и промолчал. А потом мучился раскаянием и старался ещё больше, чтобы опять, опять услышать горячие Лукийкины слова.

Начался март. Густые бешеные ветры с рассвета до ночи оглушали строительство. Снежный дым змеями катился по берегам. Иногда начинали хлестать запоздалые метели, внезапные, дикие, с твёрдой крупой вместо снега. Казалось, холодные сизые тучи обрывались в небе и стремительно падали на Днепр. После метелей вдруг выглядывало солнце, но его тотчас забивали новые эскадрильи туч.

За первую декаду марта было уложено восемь с половиной тысяч кубометров. Смены бетонщиков, непрерывно борясь с водой, опять начали перевыполнять суточные задания. Сводки о ходе закрытия гребёнки каждую ночь передавались в Кремль Сталину. Телеграфные провода бессонно звенели в неоглядных просторах. В двенадцать часов ночи сводные данные подсчитывались и выверялись в деревянных конторах, прилепившихся на бычках плотины,— в час ночи они уже лежали на рабочем столе у Сталина. И это знали все: и бетонщики, и плотники, и машинисты.

Наступили самые ответственные, решающие дни.



Шестнадцатого марта оставалось уложить в гребёнку шесть тысяч двести семьдесят кубометров. В этот день ветер смёл облака за горизонт. По рабочим посёлкам громко запели петухи. Открылось молодое солнце, и весенняя синева засияла над степью. На горбах начало таять.

— А ведь не успеем! Провалимся,— со страхом крикнул Баганча Махоткину.

Махоткин поглядел на солнце, на Днепр — в сторону Волчьего Горла.

— Птицы небесные! Куда со стыда денемся! Дружней навалиться надо. Навалиться всей силой,— тогда возьмём.

Река в верхнем бьефе стала прибывать.

Утром восемнадцатого марта Баганча услыхал над головой смутные голоса. Он посмотрел вверх и испугался: летели дикие гуси. Гуси растянулись длинным углом и, перекликаясь, поспешно плыли в небе с юга на север.

«Половодье!..— ударила в голову острая мысль.— Теперь пойдёт. Эх, затянули, чорт возьми!»

Комсомольцы работали, как одержимые. В закрытых брезентом блоках, в белом горячем пару, они молча, упорно топтали бетон.

— Не поддавайся, хлопцы! — хрипло покрикивал Костя. — Пять тысяч осталось. Пять тысяч,— и будем песни петь!

Пересада азартно оглядывал свою бригаду.

— Ребята, каждая минута на счету. Давайте, давайте!

— Товарищи, весна на пятки наступает! — с тревогой говорил Гуржеев, опускаясь к бетонщикам.

— Слышим, Степан Андреевич. Она нам не в пятки, а прямо в сердце бьёт.

С каждым закрытым пролётом вода поднималась всё выше. По берегам зажурчали ручьи. Снег оседал и таял. Днепр непрерывно ширился. Он поднимался на такую высоту, какой никогда не достигал в естественном состоянии, без плотины.

Двадцатого марта управление получило телеграмму, что низовья Днепра у Херсона и у Алёшек вскрылись. На следующий день лёд сломался уже значительно выше — в Британах и в Каховке.

Двадцать третьего марта снова прижал мороз. Окна в бараках затянуло пышными белыми узорами. Ручьи по берегам замолкли,

снег обледенел, прибыль воды приостановилась. Двадцать четвёртого марта к полуночи остались незабетонированными только два пролёта: в них надо было уложить девятьсот семьдесят кубометров. Бетонщики спешили, будто их гнал пожар. На летучих собраниях уже обсуждался вопрос, кому будет принадлежать честь укладки последних бадей бетона. Единодушно называли четыре лучших бригады — Лукийки, Кости Макаренко, Пересады и Хабибуллы Мухтарова. Но и остальные работали до полного самозабвения.

Двадцать шестого марта пришло известие, что льды сорвало не только у Каховки, но и выше — у Горностаевки. Все семнадцать тысяч рабочих чувствовали, что половодье может начаться с неотвратимой быстротой и у Кичкаса, и на порогах, и у Киева, обрушиться, подобно лавине, уже надвигающейся из-за горизонта. Река казалась затаившейся силой, полной неожиданности и коварства. Она готова была к грозному наступлению в любой момент. Вода прибывала с каждым часом, напор её увеличивался. Подъём, несмотря на холод, шёл быстрее, чем предполагали гидрологи. Вода билась у двух последних пролётов, запертых глухими шандорами, упорно подбираясь к верхнему стальному барьеру, чтобы сокрушительно броситься в блоки. Только крепкие ночные заморозки сдерживали рост степных потоков.

Двадцать седьмого марта Днепр вышел из берегов у Никополя. Каждый час он мог прорваться и около строительства. Напряжение работ достигло небывалой остроты. Нужен был лишь один день, чтобы втоптать последние кубометры.

Ночью Баганча и Пересада пошли в степь, к Волчьему Горлу, слушать ход воды: не началось ли на порогах движение льда, не проснулись ли верховые притоки и бесчисленные балки, не разольётся ли Днепр страшной своей силой ещё до рассвета?..

В степи стоял по-молодому душистый, но непрочный, ненадёжный мороз. Зелёные мартовские звёзды мерцали над чёрными проталинами. От пастухов и лоцманов Баганча и Пересада научились следить за расположением знакомых с детства созвездий, за яркостью их света: по силе высокого блеска можно было угадать будущую погоду. Белый Чумацкий Шлях, пересекавший широкой млечной



дорогой всё небо, повернул к утру. Воз поднялся высоко вверх, к Полярной звезде, и сиял оттуда, как алмазная мажара с длинным дышлом. Всё говорило, что завтрашний день будет ясным и холодным. Но среди смутной тишины уже можно было еле различимо уловить, как вдали по реке трещал и лопался лёд.

Баганча и Пересада стояли на берегу, прислушиваясь к ночи. Морозная свежесть и крупные, бесшумно играющие над головой звёзды несли, поднимали сердце. Они вернулись домой и стали готовиться к смене. Начался трудный, лихорадочный день. Он всем казался необыкновенно высоким, ярким, просторным, полным небывалых чувств, и таким коротким, быстро улетающим, что бетонщикам становилось страшно: а вдруг не успеют втоптать?

Вся плотина была густо заполнена народом. Над двумя последними блоками собрались десятники, производители работ, машинисты, такелажники, плотники, приехавшие из Москвы и Харькова газетные корреспонденты, фотографы, кинооператоры. Голубой морозный туман стоял над рекой и над степью. С высоты мелкими искрами сеялись еле заметные снежинки. В свете оранжевого солнца они сверкали радужным блеском. Солнце опускалось к мглистому горизонту над чёрной, оттаявшей Хортицей. У самого барьера плотины теснились рабочие и инженеры. Тут были лучшие ударники, начальник строительства Буров, Тихменёв, Гуржеев, Махоткин, Баганча. Нетерпение, гордость и торжество светились в глазах у каждого. Колонны рабочих со старыми знамёнами, полученными ещё в момент закладки плотины, стояли по обе стороны от блоков — через всю реку.

Осталось втоптать два завершающих кубометра. И вдруг на обоих берегах, точно по знаку с какой-то невидимой вышки, ударили духовые оркестры. С крылатой лёгкостью полетели в морозном воздухе поющие звуки. Это был момент, когда из бетонных заводов вышли паровозы с последними бадьями. Одна новая, свежая, только что выкрашенная в чёрную, отливающую лаком краску, стояла на платформе левобережного поезда, другая такая же — на платформе правобережного. Платформы алели радостными кумачёвыми полотнищами. Красными легкокрылыми

флажками были украшены паровозы. Оркестры медными голосами звенели над степью.

Оба поезда торжественно въехали с двух сторон на плотину. На берегах, собранные в ряды, толпились десятки паровозов и паровозных кранов с синими экскаваторами на флангах. Они открыли свои гудки. Гудки металлически запели, взвились вверх. Артиллерийской пальбой грянули динамитные взрывы на скале Дурной, над шлюзовым ходом. Это салютовали подрывники. Гудки, сирены, оркестры, взрывы, — всё гремело величием и счастьем человеческого труда.

Лучшие крановые машинисты при лучших такелажниках подняли стрелами бадьи с платформ и опустили в блоки. Там их моментально раскрыли. Бетон выплюхнул тёплым тестом на порог полузаделанных пролётов. Бригады Лукийки и Кости, Пересады и Хабибуллы Мухтарова, обнявшись, начали топтать. В их горячих движениях было волнение победителей, чувствующих на себе тысячи восхищённых взглядов. Оркестры, не умолкая, гремели над Днепром и над бетонщиками. Казалось, весенняя степь ликовала и пела с севера и с юга, с востока и с запада. Закатные облака сияли и, медленно плывя, тоже звучали, как музыка.

Вот комсомольцы в пролётах загладили деревянными правилами водосливные пороги. Костя, держась за опалубку, звонко, с упоением крикнул снизу вверх народу:

— Товарищи! Гребёнка закрыта!

На плотине навстречу этому голосу поднялась буря человеческого торжества. Крики взлетели густой бесчисленной стаей и поплыли, точно волны прибоя, к берегам. С берегов они покатились назад, к закрытым пролётам. И через мгновение вслед за этими волнами грозно и радостно вспыхнул «Интернационал». Пели тысячи людей, покоривших реку. Снова металлическими голосами взвились в небо гудки и сирены. Подрывники в каменных карьерах опять открыли громоподобную пальбу.

В мглистом огне облаков садилось солнце. В степи была весна. Весна была в синей дымке над балками, в проталинах прибрежных холмов, над которыми уже играли цокающие галки, в безбрежности старой запорожской степи.



Тихменёв стоял в толпе рабочих, высокий, красивый, серебристыми висками, побледневший. Из больших синих глаз его текли слёзы. И рабочие готовы были обнимать его, нести на руках — за те труды, какие он вложил в сооружение плотины.

Начался митинг. Волей и радостью семнадцати тысяч человек была послана в Кремль Сталину и Молотову телеграмма. В телеграмме сообщалось, что в пять часов двадцать минут вечера двадцать восьмого марта тридцать второго года в гребёнку Днепровской плотины уложен последний кубометр бетона. Радио, телеграфное агентство и корреспонденты центральных газет распространили эту весть по всей стране.

Ночью вода в Днепре поднялась до сорока четырёх метров над уровнем моря — на четыре метра выше самых высоких порогов. Пороги, причинившие за тысячелетия своего существования несметное множество бед и зла, навсегда ушли под воду.

В эту ночь в строительных посёлках долго не ложились спать. В домах, в коттеджах, бараках, общежитиях люди говорили о комсомольцах-бетонщиках, об ударниках плотниках и машинистах, о тех, кто начал плотину почти пять лет тому назад и дошёл до закрытия последних пролётов.

Тут были бойцы, сражавшиеся с гетманской вартой, с Петлюрой, были повстанцы, изгонявшие интервентов с Украины, из Архангельска, из Сибири, были будёновцы, рубившиеся с Деникиным, с Махно, с бело-поляками, с Врангелем. Тяжесть походов, дни битв, морозы, вьюги, гололёдица, дожди, стук пулемётов и блеск сабель, — всё воскресло в их сердцах. Они с гордостью чувствовали себя строителями плотины, победителями Днепра, тружениками нового, социалистического мира и, волнуясь, мечтали вслух о предстоящем пуске гидростанции, о гигантских заводах, ждущих тока.

Через день холода снялись и ушли, отступили на север. Солнце сразу стало тёплым, в улицах засверкала грязь, в степи забулькали, зашумели ручьи, и всюду, как невидимые хрустальные подвески, зазвенели жаворонки, Днепр вскрылся весь до самого Киева и дальше до Смоленска. Тяжёлые крутящиеся льдины поплыли караванами. Река, точно море, ударялась в плотину. Мощными

желтогривыми водопадами она гремела с высоты тридцати семи с половиной метров через широкие пролёты в нижний бьеф.

Костя Макаренко снова выпросил в доме общественных организаций автомобиль и повёз свою древнюю прабабку к плотине. Днепр был мутен и огромен. Прабабка со страхом и изумлением смотрела на бешеные буруны водопадов, на водяной дым, поднимавшийся из клокочущей глубины, на яркую огнистую радугу, сиявшую в этом дыме. Она слушала оглушительный гул и рёв Днепра, падающего в бездну, и, оглядываясь на солнце, крестилась высохшими коричневыми пальцами. Когда автомобиль отъехал от плотины, прабабка схватилась обеими руками за рукав Костиного пальто и с детской доверчивостью зашептала:

— Костику, як умру, я там, на неби, може, сичовикив зустрину. Я им всё про ваши чудеса расскажу. Всё чисто. Бо сама ж бачила!

Костя рассмеялся:

— Расскажи, расскажи, бабусю! Хай позаздрять.

## IX

Началась широкая степная весна. Небо стало синим, звонким, высоким. Серебряное журчанье жаворонков наполнило его, как неисчислимые ручьи. Трава на глазах у Ивася лезла из земли — зелёная, яркая. Чёрные пашни, принявшие зерно, протянулись направо и налево от Днепра до самого горизонта. От простора, от света и воздуха захватывало дыхание.

Предпраздничная приподнятость чувствовалась на плотине, на площадке гидростанции, в гигантских шлюзовых камерах. В домах и бараках белились стены, мылись полы, красились двери и окна.

Первого мая утром во время парада прилетели из Севастополя гидросамолёты. Они летели так низко и так необыкновенно, точно снились во сне: в них совершенно явственно видны были люди, особенно впереди, на носу. На флагманском самолёте стоял человек в чёрном шлеме и в чёрном кожаном пальто. Этот чудесный человек приветственно махал рукой. Он махал рабочим, школьникам, девушкам, знамёнам. Люди кричали ему в ответ, вскидывали



руки, кепки, косынки. Шумно пролетев над многотысячными толпами, гидропланы сели на Днепр в верхнем бьефе, на просторную водную гладь. Они сели торжественно и шумно, как лебеди.

Лукийка в восхищении схватила Баганчу за руку.

— Видал?

— Замечательно!

— Вот бы нам так летать!.. Из одного города в другой... А под тобой степь, роки, леса. Полжизни бы отдала!

— А ты попроси. Обратно полетят, — они тебя до Севастополя живо донесут.

Глаза Лукийки остановились, расширились, посветлели.

— И попрошу! Ты думаешь что? Сробею?..

Вечером, когда начало смеркаться, тысячи народа собрались на обоих берегах против плотины. Ждали чуда, обещанного пять лет назад, того необыкновенного, о чём говорили по баракам в метельные ночи.

Буров, Тихменёв, Гуржеев, Сухонин, Загоруйко, Тернава, — все инженеры были в глубоких недрах гидростанции, у таинственных могучих турбин. Тернава в синем комбинезоне, потный от напряжения, с ввалившимися, лихорадочно горящими глазами, в сотый раз проверял соединения, кабели, чёрные узлы и сети проводки. Тихменёв озабоченно осматривал щиты управления. Буров, строгий и нелюдимый больше, чем всегда, короткими шагами ходил по залу перед пультом. Именно отсюда, от пульта, должна была вспыхнуть гигантская, таящаяся в подземных чертогах сила.

Наконец Тернава приблизился к чёрному рубильнику. Инженеры столпились около него. Они как будто перестали дышать. Буров дал знак, и рука Тернавы быстро включила рубильник. На щите управления звездой зажглась крошечная лампочка. С потолка, со стен брызнуло солнце. Сверху, с берегов донёсся гул, рёв, буря. Там загрохотал невероятный ураган человеческих криков и рукоплесканий. Сотни фонарей, тысячи ламп на плотине, на шлюзе, в домах, в улицах, на дорогах вспыхнули в мгновение ока, точно в вечернюю синь слетела откуда-то Жар-птица. Первый ток первой днепровской турбины озарил запорожскую землю.

Вечером на следующий день в Доме печати на левом берегу был устроен праздник для лучших ударников строительства. В длинном бараке расставили десятки столов, накрытых белыми скатертями. На празднике была гости — московские, харьковские, киевские писатели и севастопольские лётчики.

На столике, за которым сидел Махоткин, стояло вино — мадера, токай, шато-икем, цинандали. Тёмные бутылки манили загадочными этикетками. Махоткин выпил по стопке из каждой бутылки, чтобы знать вкус этих, никогда раньше не пробованных, вин. И горячая мгла овладела его воображением.

К Махоткину незаметно подсел журналист из большой московской газеты, специальный корреспондент, присланный на стройку, высокий, плечистый, бритоголовый человек с тонкими, немного выдвинутыми вперёд губами. Серые умные глаза его улыбнулись, и он сказал приветливым приятельским баском:

— Я много слышал о вас, Илья Максимович, и от партийных руководителей, и от инженеров, и от молодых ребят-комсомольцев. Хочу написать про вас в газету большую статью. Очерк, как у нас называется. Расскажите мне о трудностях, через какие вы прошли, о всех тяжёлых моментах.

— О каких моментах? — удивился Махоткин, выведенный из мечтаний, только что волновавших его.

Кровь густо шумела у прославленного плотника в висках. Кровь жаром, ветром, просторной лёгкостью переполняла грудь. Махоткин чувствовал себя сильным, крепким, молодым, — богатырём, охмелённым удалью.

— О каких трудностях? — удивился он ещё больше, увидев записную книжку в руках журналиста.

— Но ведь были же в работе такие? Мало ли вы тут дел переделали!

— Никаких трудностей, дорогой товарищ. Это ты брось, не выдумывай! — горячо воскликнул Махоткин и порывисто выставил руку, словно отодвигая возможные возражения. — Раз взялись, надо исполнить, до конца довесть. А как, по-твоему? Лучше плотницкого дела ничего на свете нет, — запомни. От него радость. Люблю дерево, топор, мастерство, работу, — это мне сердце веселит. А от щепы дух, знаешь, какой? Кажется, всего тебя на крыльях



поднимает, — хочешь, записывай, хочешь, нет, — всё равно не поймёшь. Было трудно, когда с материалом нехватка получалась, лесу, досок, брусьев не успевали доставлять. Это действительно. А других трудностей не видал, не помню. Нет, не было! Здорово поработали. Работёнка знаменитая получилась, что и говорить!..

Журналист пробовал напомнить Махоткину некоторые эпизоды, о которых кратко говорили ему другие. Но Махоткин только снисходительно улыбался в рыжие, прокуренные усы и победно спрашивал:

— Ну-к что ж? Ну и что тут такого? Хо!.. Птицы небесные! Да разве это трудность?..

В конце концов журналист разочарованно сунул записную книжку в карман и пересел к столику, где шумно и весело говорила Лукийка. Там читали по листочку стихи. Оказалось, что московский поэт перевёл на русский язык песню, которую любил Хачапуридзе.

— Птициан! Иди сюда. Споём по-русски. Иди скорей! — позвала Лукийка.

И она сейчас же начала Сулико. К ней присоединились все, кто умел петь. Хачапуридзе пел с гордостью, всей силой своего голоса. Ему нравилось, что русские и украинцы с таким увлечением поют его родную, грузинскую песню.

— Спасибо за перевод! — от избытка чувств крикнула Лукийка к столику, где сидели писатели.

Поэт встал с сияющими глазами и несколько церемонно поклонился Лукийке. Лукийка вскочила, подбежала ь нему и поцеловала. Поэт от неожиданности растерялся.

— Браво! Браво!.. — закричали со всех сторон. Раздались шумные рукоплескания. Оглушённая этим плеском, Лукийка вернулась к своему столу.

— Пью за здоровье таких смелых девушек, как вы,— сказал один из севастопольских лётчиков и протянул бокал.

Лукийка порывисто чокнулась с ним скользящим, воздушным движением снизу вверх.

— А я за ваше счастье! Я видела, как вы летели.

— Когда?

— Вчера на параде.

И, опьянённая успехом выполненной работы, молодостью и весной, она, не отдавая себе отчёта, поцеловала

и лётчика. Тогда поднялся такой шум, такие крики и хлопки, что отдельные голоса потонули в общей буре.

— Ай да Лукийка! Золотая девка. За всех нас наши чувства выразила!..

— Чорт знает, что за девчонка! Отдай всё — и не жалко!

— А чего моргать? Целуй, пока другая не поцеловала, — иронически протянула Зина Богдашова.

— Зина, не завидуй! — остановил её Ивась.

Лётчик переставил свой стул к столу Гуржеева.

— Ничего бы я так не хотела, как научиться летать!— пылко сказала ему Лукийка.

— В чём же дело? Учитесь.

— Где?

— Приезжайте к нам в Севастополь, в лётную школу, вот и всё.

— А примут?

— Вас? Днепростроевскую ударницу? Все двери откроются!

— Степан Андреевич, отпустите? — спросила Лукийка.

— Подождите, кончим работу. Тогда — пожалуйста. Выбирайте, что хотите. А сейчас ни под каким видом. Вы сами отлично знаете и сами не уедете.

— А если я её на самолёте умчу? — пошутил лётчик.

— Это будет умыкание. Вы же не половец и не печенег!

Большой низкий зал во все стороны жужжал говором, как улей, из которого готов вылететь рой.

Разошлись поздно ночью, уже перед утром. Лил крупный тёплый дождь, сыпкий, шумный, густой. По улице, по канавам, по тротуарам текла вода. Дождь сыпался широким шумом, частый, неистощимый, прошивающий землю миллионами прямых нитей. Ивась скинул свой плащ, укрыл Лукийку, и они побежали к домам, где жили.

Гуржеев ушёл с праздника, ещё когда было сухо. Но недалеко от реки, на подъездных путях, его захватил внезапный ливень. Гуржеев вскочил в деревянную будку, стоявшую около путей к каменоломным карьерам. Будка оказалась двухсторонней. Скоро по другую сторону вбежало двое рабочих. Они продолжали где-то в другом месте начатый разговор. Сквозь тонкую дощатую стену



совсем близко от себя, Гуржеев слышал негромкие голоса. Один из них говорил:

— Как подумаешь, как вспомнишь, ну, разве не горько, Тимофей Фомич? Несчастная, ограбленная, запущенная была наша Россия. Отъедешь, бывало, вёрст сорок от Москвы, кончатся дачи, и сразу дичь начинается, какой-то Кащеев пустырь, заброшенные погосты с гнилыми, покосившимися крестами. И на могилах коровы пасутся. Деревни нищие, с взъерошенными соломенными крышами, кругом грязь, бедность, слепые избушки на курьих ножках, босые старики и старухи. А глушь и страх — как в дикие времена. Глушь эту надо было взбудить, оживить — поставить людей на ноги, на работу, направить на большие дела. Кто это сделал?

— Что и говорить!

— Я всю жизнь на коленях стоял, нужда мне душу точила. Каждый день хозяин, надо мной, как чёрный бог, возвышался. Советская власть с колен меня подняла. Вот в чём дело!..

Дождь шумел вокруг будки. Мягкая, тесная темнота стояла у Гуржеева перед глазами. И опять первый голос заговорил:

— Ты посмотри, как люди переменились, прямо на глазах у всех. Говорят, Гуржеев на Волховстрое совсем другим человеком был...

Гуржеев замер, как будто вдруг у него остановилось сердце.

— А здесь вон каким инженером сделался! — продолжал голос. — Общественник, по всем линиям передовик, с нашим братом заодно. Он ночи не спит от заботы, если у него что-нибудь не ладится на плотине. Если кран не работает, он бегом бежит к нему: «В чём дело? Что за простой? По какой причине?..» Я такого человека уважаю, он мне дорог. Я его прямо любить начинаю. Мы с ним вместе идём в самые трудные места, на самую опасную высоту, — и мне не страшно!

Никогда в жизни Гуржеев не испытывал такого состояния, такой головокружительной лёгкости в сердце, как от этой нечаянно подслушанной похвалы. Он стоял сам не свой, затаив дыхание.

Дождь начал стихать. Взволнованный разговор за стеной продолжался. Гуржеев поднял воротник пальто, перешагнул

через порог будки и быстро пошёл в мокрую темноту. В свежей, только что вымытой ночи сияли огни плотины и гидростанции. Со стороны второго посёлка пахло распускающимися тополями и клёнами. Гуржеев размашисто шёл, перескакивая через лужи, и всем существом чувствовал в себе необыкновенную гордость.

Где-то вдали невнятно цокали сквозь сон галки. Они громозились на молодых некрепких деревьях, приглушённо спорили между собой и ворчали.

## X

Перед вечером Гуржеев и Нестеров поехали на Хортицу. Там шла установка стальных мачт для электрических проводов сверхмощного напряжения. Крайняя мачта у реки имела высоту в семьдесят пять метров. Такая же гигантская должна была вырасти и на левом берегу. Склёпанную мачту поднимали на острове сразу, всю целиком, вопреки протестам американских инженеров, которые утверждали, что подъём столь высоких мачт в собранном виде технически невозможен, — поднимать надо отдельными секциями и наращивать вверх постепенно, на весу.

Зрелище было тревожное и величественное. Днепростроевцы собирались положить на обе лопатки американцев. Когда Гуржеев и Нестеров подъехали к краю огромного острова, голубая мачта ещё лежала в траве, длинная, безжизненная, похожая на скелет допотопного чудовища. Десятки лебёдок, как чёрные жуки, полукругом стояли против неё. От лебёдок к голубевшему из травы мачтовому костяку тянулись витые струны толстых стальных оттяжек. Гуржеев привязал лошадь к столбу сторожевой будки и пошёл к полю действия. Как раз в этот момент лебёдки заурчали, заскрежетали, зажужжали. Чёрные тросовые струны натянулись, напружинились. Мачта некоторое время лежала неподвижно, но вдруг вздрогнула, шевельнулась и приподнялась над травой. Лебёдки жужжали неистово. Мачта медленно пошла верх. Рабочие с замиранием в груди следили за её трудным восхождением. Один из мастеров, красный от напряжения, управлял лебёдками, как дирижёр сложнейшими музыкальными инструментами в симфоническом оркестре.



Скоро стало темнеть. В нескольких местах разложили огромные костры. Около лебёдок на шестах зажгли смолевые факелы. И в дымно-оранжевом свете поднимающаяся мачта выглядела ещё величественней и необыкновенней. Американцы покачивали головами,

— Это дьявольский риск, мистер Гуржеев!— сказал Декстер Купер.

— И, тем не менее, кажется, выйдет.

— Очень смело. Очень!

Прошло ещё около часа, и мачта встала вертикально. Тугие тросовые оттяжки, поддерживавшие её равновесие, дрожали. Внизу стальные ноги мачты вошли в бетонный башмак. Башмак начали наглухо заделывать. Днепростроевские мастера торжествовали.

Гуржеев и Нестеров сели в тачанку и поехали домой. Над Хортицей взошёл месяц. Колёса тачанки шуршали в песке. Под месяцем смутно покачивалось, переливалось из стороны в сторону море спелого жита, за житом простирались арбузные и дынные бахчи. В центре острова отсвечивали стёклами обширнейшие парники и теплицы, приготовленные к выращиванию овощей и ягод при помощи электрической энергии даже в зимних условиях.

Прямо перед глазами Днепр мерцал жидким переливчатым золотом, а по бокам голубел призрачным светом. Величественно приближался новый трёхарочный мост. Выбравшаяся на гудронное шоссе лошадь звонко цокала подкованными копытами. Колёса гулко катились, как по рельсам. Направо под месяцем простиралась древняя степь, налево в вереницах электрических огней открывался новый, волшебный, невероятный мир. Круглый месяц по соседству с тысячами ярких белых шаров, сиявших вдоль плотины, казался вытаращенным совиным глазом, тусклым и очень старым, неизвестно откуда залетевшим в небо.

Гуржеев задумчиво сказал:

— Если бы могли встать из могил те, кто жил здесь триста и четыреста лет назад, кто бежал за пороги от панов, от иезуитских ксёндзов, от бед, от барщины, кто бился вот на этих берегах против турок, против ногайцев, против крымских ханов! Сколько смелых и несчастных голов положено у Днепра! Сколько крови пролито тут, в степи, вплоть до моря, сколько человеческих

костей, растащенных вороньём и волками, истлело в запорожских травах!.. Если б все те люди увидели, что мы сделали. Если б глаза их ожили и озарились днепровскими огнями!..

— Да, они сложили свои головы недаром!..— тихо произнёс Нестеров.

## XI

Монтаж гидростанции шёл непрерывно в течение двадцати месяцев. Гигантские подъёмные краны поднимали неимоверные по размерам стальные детали. Они поставили на место такие тяжести, как роторы генераторов, каждый из которых весил четыреста пятьдесят тонн — двадцать семь тысяч пудов. Люди не досыпали ночей, ели на ходу, довольствовались самой скудной, бедной пищей, отказывались от выходных, не хотели слышать об отдыхе.

Баганча похудел, почернел, глаза его ввалились, стали огромными. В них зажёгся глубокий лихорадочный блеск, в теле появилась небывалая лёгкость, какая-то отрешённость от многих ощущений, а неустанная забота всё несла и несла вперёд — от дня к дню, от вечера к утру, от одного выполненного дела к другому. Минутами ему казалось, что если бы встали на пути у него отвесные каменные горы, он прошёл бы и через горы.

Наконец наступил день, которого с нетерпением ждали пять лет, ждали всеми силами воображения и мысли. Десятого октября тысяча девятьсот тридцать второго года, солнечным прохладным утром, среди осенней степной синевы, гидростанция загудела неслыханной силой. Промышленный ток пошёл, кроме первой, ещё от трёх турбин, равных по мощности трём Волховстроям. В сущности, ток пошёл не утром, а на насколько часов раньше. Уже в ночь накануне торжества цехи Запорожстали начали выплавлять на энергии Днепра высококачественную сталь. Делегации спали в бараках, в гостиницах, в коттеджах, а рабочие и инженеры, бессонные строители, монтажники и электрики пустили Днепр в подземные улитки турбин. Турбины заработали. Генераторы по-шмелиному зазвенели. Ток вспыхнул ослепительной зарёй, морем радостного света и чудесными потоками хлынул по проводам на завод. Завод ожил мгновенно. Это было зрелище удивительное.



Гуржеев всю ночь провёл с металлургами в высоких огненных цехах. Электроды, опущенные в плавильные печи, источали невероятный жар. Железный лом и чугун растоплялись, как воск, превращаясь постепенно в сталь. Сталь кипела, бурлила, клокотала, точно вода в казане над жарким костром. Днепр работал с божественным великолепием. К рассвету сталь была готова, и её, как белоогненное молоко, розлили по изложницам. Гуржеев, счастливый, навсегда связанный с новой жизнью, уехал домой.

Утром на празднестве пуска присутствовали представители Центрального Комитета партии и правительства. Через степи ток устремился к промышленным гигантам на все четыре стороны — к Никополю и Днепропетровску, к Запорожстали и Криворожью. Это был день невыразимой гордости и радости. Работники Днепростроя испытывали состояние, какое редко выпадает на долю человека.

День начался солнцем и ветром. Берега цвели знамёнами, на целые километры гремели духовыми оркестрами. Через плотину к трибунам, построенным амфитеатром за гидростанцией, шли бесконечные колонны рабочих.

Делегации, приехавшие со всех концов Советского Союза, изумлялись сооружениям. Плотина, как крепость, перегораживала Днепр. Перед плотиной река казалась неоглядным лилово-синим морским заливом. За плотиной, низвергаясь между бычками к Хортице, она гудела и ревела водяной бурей. Гидростанция, облицованная армянским вулканическим туфом с горы Алагёз, величественно розовела в лучах солнца. Военные духовые оркестры, проходя по плотине с левого берега на правый, к амфитеатру трибун, построенных глубоко внизу, у самой воды, играли лёгкие, крылатые, широкие марши. Они шли высоко по временному деревянному настилу, уложенному над бычками. С площадки, от сверкающей реки, из глубины тридцати семи с половиною метров, где заполнялись народом трибуны, казалось, что оркестры идут где-то в небе. Пенье медных труб и шум водопадов сливались в одну покоряющую и возносящую музыку.

Председатель Всесоюзного Центрального Исполнительного Комитета Михаил Иванович Калинин и нарком тяжёлой промышленности Орджоникидзе сквозь ряды

десятков тысяч людей поднялись на правительственную трибуну. Их встретил гремящий плеск бесчисленных приветствий. Михаил Иванович снял каракулевую шапку, взволнованно поправил очки. Осенний ветер взвеял его мягкие русые волосы. Он поздравил днепростроевцев с завершением огромного, необыкновенного труда. Радиоусилитель разнёс его голос по берегам. Голос прерывался. Многие чувства бились в нём. Михаил Иванович прочитал список лучших рабочих и инженеров, которых правительство награждало орденом Ленина, орденом Красной Звезды или орденом Трудового Красного Знамени.

Ивась вздрогнул, когда после начальника строительства, после Тихменёва, Гуржеева и Косачёва вдруг услышал своё имя. А голос Михаила Ивановича уже называл Воронкова, Лукийку, Дину Малееву, Хачапуридзе, Прокопа Зернова, Костю Макаренко, Витьку Савичева, Семёна Волошко, Магомета Гарифова. В числе других и Купер, знаменитый заморский спец Купер, принёсший на днепровские берега добротную американскую опытность, был награждён орденом Трудового Красного Знамени. Народ стоял над трибунами по всему склону справа от гидростанции. Русские, украинцы, татары, евреи, белорусы, грузины, армяне,— всё неоглядное море строителей испытывало в эти минуты небывалые чувства. Крики ликования заглушали гул сорока шести водопадов, летевших через пролёты плотины.

Вслед за Калининым подошёл к барьеру трибуны Орджоникидзе. Широкоплечий, крепкий, весёлый, он быстро поднял руку, и рука его оставалась поднятой с минуту, пока не установилась тишина.

— Дывись, дюзись, який могутний! Наче Тарас Бульба...— вырвался из человеческой гущи девичий шопот. — А вуса, вуса!.. Ну, справди, Тарас Бульба. Бачишь?

Орджоникидзе, должно быть, услышал и улыбнулся радостной, ослепительной улыбкой, какой только он один, кажется, умел улыбаться. В ответ на его приветствие опять гремело и ликовало многоцветное человеческое море. Говорил с суровым торжеством Буров. Помолодевшим голосом говорил Купер. Он жалел, что не знает русского языка, чтобы передать собравшимся людям то, что испытывает его старое американское сердце.



После Купера перед микрофоном внезапно выросла стремительная фигура французского писателя Анри Барбюса. Высокий, худой, вдохновенный, с лицом подвижника и пророка, он произнёс страстную, пылкую, звенящую, как музыка, речь. Осеннее солнце светило из холодной утренней синевы, за гидростанцией в голубой дымке шумели водопады, незнакомые французские слова казались всем понятными, — они звучали радостью, славословием, гимном.

В конце этой речи перед амфитеатром трибун, на жёлтом песке площадки, показалась яркая группа узбеков. Они шли вереницей в праздничных пёстрых халатах из полосатого бухарского шёлка, в четыреугольных белых тюбетейках, вышитых чёрным тюркским узором. Дехкане шли к правительственной трибуне с необыкновенными подарками: в руках у них были удивительные букеты — на засохших жёлтых стеблях коричневые коробочки с чистым, снежно-белым хлопком. С далёких полей знойного Узбекистана они принесли Днепрострою гордость своего труда, чтобы почтить здесь новый, никогда не виданный раньше труд. Лёгкие, торжественные, сильные, узбеки шли с хлопковыми дарами, трогательными и мудрыми в своей простоте.

На трибуне прессы сидели корреспонденты газет Германии, Англии, Америки, Франции, Швеции, Японии.

— Они идут, как волхвы! — сказал кто-то, поражённый, не в силах сдержать своего волнения.

Журналисты щёлкали маленькими фотографическими аппаратами, спеша снять небывалое шествие. Узбеки взошли на трибуну и с восточным достоинством поклонились Михаилу Ивановичу. Они протянули ему бережно привезённые за тысячи километров ветви с большими коробочками белого хлопка. Оркестры вспыхнули вихрями ликующих звуков, рукоплескания волнами покатились по многотысячным человеческим толпам. Когда музыка смолкла, дехкане подошли к барьеру. Они встали перед микрофоном, и старший из них начал говорить. Он, в сущности, не говорил, а громко пел свою речь, как степную гортанную песню. Голос его шёл, точно с высоты гор, озарённых утренним солнцем.

Потом над трибунами и над берегами загремел могучий «Интернационал». Будто стая большекрылых птиц,

музыка взвилась вверх, полетела над степью, над рекой. После пения народ всколыхнулся, двинулся, стал подниматься снова к плотине. Иностранные журналисты в тонких фетровых шляпах, в синих суконных беретиках, в бесподобных, фисташкового цвета, замшевых перчатках потерялись в трудовом человеческом муравейнике.

— Торжество было в состоянии всех рабочих. Каждый с восхищением думал: «Достигли, добились, чорт возьми! Ох, и поработали...» Успешное завершение строительства, долгожданный пуск гидростанции, — всё это было личной удачей и личным счастьем.

Было уже далеко за полночь, когда Воронков, взволнованный всем пережитым за день, ещё раз пошёл к плотине. Клокочущий гул, вырывавшийся из поддонной тьмы, манил и звал, как увлекательное зрелище. Воронков свернул влево, к скалам между шлюзовым ходом и Днепром. Отсюда плотина была видна лучше всего. Среди густой темноты ночи в тысячах необычайных по яркости и силе праздничных огней она казалась сооружением сказочным. Её мощь и красота захватывали дух. Водяная пыль облаками клубилась над грохочущим нижним бьефом. Установленные на скалах прожекторы — огромные головастые жуки — били ослепительным светом в низлетающие водопады. Внизу — горы пенистых бурунов кипели и ревели, будто это было не на земле, а на другой, никем ещё не выданной планете. За бурунами, в сторону Хортицы, стоял чёрный мрак. Четыре других прожектора, привезённые с приморских наблюдательных постов из Севастополя, голубыми мечами беззвучно рассекали небо. Они вздымались над гидростанцией и рубили тёмную твердь мгновенными взмахами. Гулкий грохот титанически бесновался в чёрном ночном Днепре. Брызги воды дождём летели на скалы. Хотелось забыть о времени и стоять не шелохнувшись, неотрывно смотреть и слушать.

Перед пуском Воронков подсчитал по вахтенному журналу, сколько времени проработал он с товарищами в дикой реке. Оказалось, что один он пробыл под водой, в текущих беспросветных глубинах, шестьдесят семь суток и двадцать три часа, Легейда — пятьдесят пять суток и восемнадцати часов, Аниканов — сорок девять суток и



одиннадцать часов. Не верилось, что всё это было в действительности, именно с ним, с Воронковым, с Легейдой, с Аникановым, что не в книге о неведомых бесстрашных моряках вычитаны удивительные цифры. Как хороша жизнь, как сладок самозабвенный труд!..

Вдруг влево от себя, ближе к реке, на мокром выступе скалы Воронков увидел высокую, сухощавую фигуру человека в мягкой фетровой шляпе с широкими полями. Человек стоял неподвижно, не отрывая глаз от бушующих водяных бездн. Это был Анри Барбюс, один, без спутников, очарованный странник на незнакомой реке, весь захваченный неистовой бурей сшибающихся волн, феерическими огнями, музыкой грохота. Воронков узнал его и в безотчётном порыве снял свою белую капитанку. Обрадованный неожиданным поклоном, Барбюс просиял, по-молодому взмахнул шляпой и пошёл навстречу.

— О, камарад, камарад!..— певуче произнёс он, трогательно картавя, и вскинул руку к плотине.

Потом он протянул обе руки Воронкову. Руки были большие, мужественные, холодные от волнения и от свежести осенней ночи, с необычайно длинными пальцами. Барбюс долго держал руку Воронкова в своей, затем снова юношески лёгким, летучим жестом показал на плотину, на гидростанцию и восторженно сказал:

— Сталин?

— Сталин!.. — счастливым голосом ответил Воронков.

Они не знали языка друг друга. Они не могли высказать своих чувств и мыслей. Разъединявшая их преграда ещё секунду назад казалась непреодолимой. Но произнесённое слово, имя, вырвавшееся из груди среди ночи, сломало призрачную стену. Оно заключало в себе всё. В нём были и годы труда, и суровые дни борьбы, и радость успеха, и сложная жизнь стройки, и жизнь страны, и её будущее.

# ПОСЛЕСЛОВИЕ

Чёрная ночь гудела над степью. Дождь, туман, мрак хлестали в лицо. Ветер неистово свистел в жёстких травах. Осенями холод пронизывал тело. В мареве мглы то тут, то там вспыхивали зелёные немецкие ракеты. Свет их зловеще поднимался к небу, и ветер был не в силах его погасить. Среди стука пулемётов и автоматов свет возникал беззвучно, как чародейное заклятие. Немецкая орда невидимо вкопалась в правый берег Днепра. Казалось, там снова появились из тьмы времён поганые половецкие полчища.

Немцы лихорадочно укреплялись. Они словно ослепли и обезумели от своих поражений. Их листовки, сбрасываемые по ночам с самолётов, самонадеянно заявляли: «Эластичное сокращение фронта закончилось. Отступления больше не будет. Германские вооружённые силы готовы к великим победам. Широкая река всей своей неприступностью обращена против русских. Русским никогда не взять Днепра. Отныне Днепр — немецкая река. Это грозный рубеж славы новой германской империи».

— Ах, собаки!.. Ах, псы шелудивые!..— кипел Баганча и рвал листовки в клочья. Он пытался рассмотреть в бинокль правый берег.— Наш Днипро да чтобы стал немецкой рекой?..

Баганча прислушивался: мрак за Днепром непрерывно гудел. Там поездные составы и колонны грузовиков по всем дорогам подвозили несметное вооружение смерти. Моторы были голосами несытых стервятников. Пойманный в сумерки «язык» показал на допросе, что германское командование стянуло тысячи артиллерийских и миномётных батарей,

приказало день и ночь, без передышки, строить железобетонные доты с амбразурами на восток.

Баганча готовился к переправе. Ночь выла ветром. Шинель отяжелела от дождя. Из-за реки в высоте летели снаряды. Они шелестели, прорезали тучи хищным свистом. Зелёные колдовские зарницы то поднимались, то меркли. Осенний Днепр был страшен. Чёрная вода широко шумела. Слева клокотал, как в преисподней, буйный Кайдакский порог, справа шипели каменные перепады. За перепадами горел подожжённый немцами Днепропетровск. Холод шёл от плеска невидимых волн.

После полуночи Баганча велел столкнуть заготовленные плоты и лодки. Лодки растаяли в темноте: может, они плыли, может, бесследно потонули. Зелёный зияющий свет взлетал от земли в черноту ветрового неба. Свет с феерической яркостью обнажал таинственные очертания далёкого берега. Немецкие орудия стреляли с правильностью часового механизма. Они хотели помешать советским войскам накапливаться на левом берегу. Мрак впереди угрожающе давил. Мрак стоял высоким враждебным заслоном, — чужая, насторожившаяся сила зловеще ждала. Но, как всегда в минуты острой опасности, на душе у Баганчи было приподнято и торжественно. Он утратил ощущение своего тела. Только полученное приказание владело им, только трудная, почти сверхъестественная задача наполняла его. «А вдруг смерть?.. Вдруг мгновенная, невообразимо жгучая боль — и сейчас же вслед за ней гибель, вечное ничто?..— проносилось в мозгу. — Нет! Не будет, не будет смерти!..» — подбадривал он себя.

Баганча знал на противоположной стороне каждую тропинку, каждую впадину, каждый холм, знал все балки, перелески, ручьи, посёлки. Вот тут, немного левее, должны быть развалины старинной часовни Николая-чудотворца, покровителя плавающих, а справа, на степных пригорках — казацкая Лоцманская Каменка, столица рыбаков и перевозчиков.

Вдруг зелёно-белое, пронзительно яркое зарево ослепило глаза. Фосфорический свет взметнулся к лохматым тучам. Свет ещё трепетал, угасая, как немцы открыли частый огонь из миномётов. Через минуту, точно сорвавшись



с цепи, загремели пулемёты и автоматы. «Что они? Заметили наши лодки? Неужели слишком скученно мы плывём?..» Нет. Это был обычный немецкий ночной огонь, когда, отгоняя страх, немцы внезапно начинали стрелять без прицела в угрожающий мрак, как в призрак смерти. Гром и вспышки сосредоточенной стрельбы, очевидно, ободряли их на чужой земле: им, должно быть, казалось, что они побеждают свою судьбу, выставляя навстречу опасностям бдительность, как спасительный щит против гибели... В ночной темноте автоматы били с сумасшедшей лютостью. Было похоже, что сонмы кнутов остервенело хлещут сырой мрак. Водная ширь громко отражала стрельбу, умножая её, как в каком-то чудовищно звонком, огромном котле...

Баганча с группой отчаянных храбрецов приблизился к правому берегу. Люди из первой лодки поползли по песку. Они исчезли в тумане. Через мгновение ухо едва различимо уловило вязкие штыковые удары. Береговой немецкий патруль осел в глухой мокрый песок. Никто не вскрикнул, никто не успел подать сигнала.

Память открывала Баганче путь. Он шёл наощупь, полз по знакомым лощинам. Ветер сёк щёки, задувал дыхание. Вдруг в пяти шагах проступили из мрака тёмные силуэты — один, другой. «Ещё патруль?..» Передний немец насторожился, снял с плеча карабин.

— Kennwort? — крикнул он приказательно.

Баганча быстро пополз вбок, чтобы подкрасться против ветра.

— Parole? — встревоженно повторил немец.

Баганча вскочил. Стремительный бросок подкинул его над землёй. Штык вонзился в тело, как в мешок ржи. Немец всхлипнул и повалился.

— Ганс? — недоумевающим голосом окликнул второй патрульный.

Баганча в тумане различил его фигуру. Штык снова сделал своё дело. Баганча слышал только, как треснуло сукно немецкой шинели.

Снаряды с левого берега пошли метко. Они ложились верно в цель, разрываясь с опустошающей силой. Снаряды сметали немецкие орудийные расчёты, опрокидывали батареи: в багровом пламени разрывов видно было, как летели лафеты, колёса, чёрные стволы. Немцы яростно

открывали огонь с других пунктов. Отряд советских пехотинцев распространялся по берегу всё шире и шире. Немцы падали под советскими автоматами и пулемётами, Ракеты, которые они пускали в небо, служили им только во вред: свет открывал советским стрелкам немецкие цели. Немцы хотели во что бы то ни стало отогнать, уничтожить русских, скинуть их в Днепр. Бой шёл с отчаянным ожесточением. Обе стороны дошли до наивысшего напряжения. Затаившиеся за хатами Лоцманской Каменки миномёты били с всё возрастающей яростью.

Очереди из-за реки участились. Они раз за разом ложились на немецкие батареи. Попадание было убийственным. Маскировочные крыши разлетелись. Они пылали, как раскиданные разбойничьи костры. Земля вскидывалась багровыми смерчами, словно зажигались гигантские дымные свечи. Тяжёлые пушки замолкли. Некоторые из них потеряли стволы, некоторые осунулись к земле, — казалось, что они стали на колени.

А советский огонь рос, гремел, ширился. Он шёл вулканически грозной стеной. От него звенела и выла ночная высь. Немцы лезли в безумные контратаки. Злоба душила их, остервенение помрачало рассудок. Немецкие пулемёты вырастали из-под земли, как привидения. Баганча ползком приблизился к одному из них сбоку. По огненным пулям ему было видно, откуда они вылетали. Автомат его застрочил с гневной внезапностью. Немецкий пулемёт захлебнулся. Но показались танки. Они двигались густым, чудовищным стадом, точно сухопутная армада. Пламенные разрывы вихрем влетели в танковую колонну. Снаряды молотили по машинам, точно цепы по снопам. Колонна застопорилась, сломалась, пришла в смятение. Передние танки запылали.

— Ага!..— торжествующе выдохнул Баганча. — Глотнули нашей стали?..

Некоторые танки замерли, как вкопанные, потеряли ход. Уцелевшие повернули в стороны, кинулись назад. Багровое пламя разрывов освещало сумятицу немецкой армады.

Из-за Днепра на плотах уже переплывали пушки и миномёты. Сапёры перекинули с левого берега канаты. Началась паромная переправа пехоты, танков, самоходной артиллерии. Плацдарм на западном берегу Днепра с каждой



минутой увеличивался. Советские войска опрокинули, погасили немецкий огневой заслон и напролом, волнами покатились вслед за убегающим врагом. Днепр был взят.

— Наш Днипро! Наш!.. Что взяли, сатанинские выродки?..— кричал в упоении боя Баганча.

Пот струился по его лицу. Расширенные глаза пылали. На бронетранспортёре, с автоматом в руках, он мчался за отступавшими немцами.

Но только зимой, в декабре месяце, за день до нового сорок четвёртого года были взяты места заветных сооружений, которым отдал Баганча пять лет своей юности. Ужас охватил его, ноги оцепенели от волнения,— сердце труженика готово было задохнуться от боли и гнева, когда он увидел, что сделали немцы с гидростанцией. Взорванные, искалеченные бычки плотины чудовищными призраками выступали из воды. Рваные края их зияли, как раны. На месте гидростанции чернели задымлённые развалины. Город Большое Запорожье, росший одновременно со всем строительством и уже насчитывавший около ста тысяч жителей, был превращён в груды щебня. В городе осталось в живых только четыре человека. Они выползли из глубоких сырых подвалов, измученные голодом, горем и страхом, точно из пыточных погребов инквизиции.

Плотина была взорвана так, что Баганча не хотел верить своим глазам: ему казалось, что этот злой кошмар обрушился на его мозг! Скрюченные стальные балки, спутанные узлами и кольцами рельсы, разорванная арматура, срезанные чудовищными взрывами бычки, — всё представляло безумный хаос разрушения. Подобная морскому заливу, акватория на шестьдесят пять километров в длину, созданная когда-то перед плотиной, исчезла: пороги снова обнажились и дико заревели под степным небом, как и тысячи лет назад. Грандиозный машинный зал, в котором работало девять гигантских генераторов и десятый малый, был разворочен, исковеркан и пуст: немцы с дьявольской пунктуальностью выдрали, выломали, увезли все турбинные установки. То, чему дивился мир, как гениальному достижению советского народа, немцы уничтожили с тупостью первобытных дикарей. Не осталось не только турбин и генераторов, но ни одной метлахской плитки на полу, который когда-то сиял чистотой,

подобно дворцовому паркету. В сказочно огромном окне протяжением в двести метров, выходившем, в сторону плотинных водопадов, не уцелело ни одного стекла.

Едва фронт отодвинулся от Днепра, советское правительство отдало распоряжение приступить к восстановительным работам – на развалинах великой гидростанции. Баганча получил приказ немедленно выехать в Большое Запорожье. Там он встретил Гуржеева, Нестерова, Загоруйко, Ченцова и много новых, незнакомых специалистов. Там же он узнал, что Витька Савичев и Семён Волошко прославились в танковых войсках: они совершили подвиги, за которые получили звание Героев Советского Союза. Гуржеев рассказал, что Лукийка Бойчук сделалась лётчицей, как мечтала во время работ на Днепрострое, и разбомбила не один вражеский эшелон. Инженера Тернаву, захваченного в партизанских частях, собственноручно расстрелял Драхенфельс, оказавшийся в германской армии в чине полковника. Кучугура и Махоткин погибли во время боёв за Киев, изумив своим бесстрашием полк, в котором служили. Смерть этих людей щемящей болью обожгла Баганчу. Ему вдруг показалось, что он мало сделал на войне.

И вот снова озабоченно задвигались на днепровских берегах тысячи рабочих, снова зазвенели прокладываемые рельсы, снова задымили каменной пылью бетонные заводы, снова деловито засновали паровозные подъёмные краны,— началась тщательнейшая расчистка руин и бетонная кладка. Новый опыт, новое оборудование, новые машины, ещё более совершенные и мощные, чем прежде, пришли на Днепр. Советский человек горячо взялся за тяжкий, самоотверженный труд, чтобы всё поднять из тьмы разрушения, чтобы всё возродить, воскресить, одухотворить,— дать свет и энергию, — чтобы опять расцвела здесь радостная жизнь, чтобы опять вернулось к людям счастье.



## ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть первая ..... 5
Часть вторая ..... 139
Часть третья ..... 283
Послесловие ..... 349

Редактор *М. Гус*
Рисунки *В. Ростовцева*
Переплёт и титул художника
*И. Николаевцева*
Технич. редактор *С. Симонов*

*
* *

А18986 Сдана в набор 21/III 1945. г. Подписана к печати 19/X 1945 г.
Печ. л. 22 1/4 Автор л. 20,0 Уч. изд. 20,61.
Формат бум. 84×108 1/32 Кол. зн. в п. л. 36464. Заказ 4717.
Тираж 20 000. Цена 12 р. 50 к.

Полиграфкомбинат им В. М. Молотова